

**Михаил Шайбер-Сокольский**  
*Роковое было время*  
*Мемуары*  
**Часть первая (1926-1941)**



Роковые двадцатые и тридцатые годы истекшего столетия, увиденные глазами ребенка, а затем подрастающего юноши в самой гуще событий, в Берлине и Москве, а 60-70 лет спустя вновь оживленные в памяти, со всеми поразительными подробностями вихревого времени, вновь в воображении пержитые умудренным уже человеком, на своем веку много размышлявшим над прошлым, часто возвращавшимся к годам юности и в книгах своих, и в мучительных сокровенных думах. Автор, описывая тот судьбоносный период, основывается исключительно на личном своем опыте, но при этом приходит к обобщениям, достойным внимания историков. И он сам, впоследствии ставший в многочисленных самиздатовских работах одним из главных глашатаев идей русского европеизма и общероссийского регионализма, и окружавшие его в юные годы политически ангажированные взрослые и сверстники, из которых кое-кто в дальнейшем приобрел всемирную известность, и встреченные им типичные представители разных общественных сил и идеологических направлений — бесчисленные эти мировоззренческие портреты составляют, вместе с тем, пеструю, многоликую галерею живых людей — людей тревожной, переломной, трагической эпохи. А вся книга в целом заставляет задуматься не только над прошлым, но главное, и над будущим — над судьбами поколений, вступающих в новое тысячелетие с огромным грузом ответственности за историческое и культурное наследие всех народов и за дальнейший путь человечества.

Михаил  
Шайбер-Сокольский  
Роковое было время  
Мемуары

Часть первая (1926-1941)

Weimar (Lahn) 2001/2021

All rights reserved  
© Bernd E. Scholz  
Germany 2001/2021 (  
1. Auflage Marburg 2001

D-35096 Weimar (Lahn)  
Bahnhofstr. 1a  
Tel.: +49 1525 352 11 75  
Fax: +49 3212 258 34 67  
E-mail: qancebi@web.de  
www.bernd-von-der-walge.de

**This PDF file  
soko\_rok\_mem\_25821.pdf  
may only be used for private purposes.  
Any commercial use requires permission  
from the copyright holder.**

ISBN 3-926385-14-6 (Bernd E. Scholz)

## Предисловие

*Есть несколько жанров мемуаров: воспоминания как таковые; автобиографии ради изложения, объяснения, оправдания собственного пути; рассказы о встречах с знаменитыми современниками; самоаналитические жизнеописания и психологические автопортреты; изображения исторических событий, выявление исторических процессов с точки зрения отдельного участника или свидетеля их. Разумеется, существуют мемуарные записки, в которых различные жанры в той или иной степени слиты.*

*Мне кажется, что я, выступая здесь прежде всего свидетелем и толкователем бурных событий времени, аналитиком и критиком объективных исторических процессов, вместе с тем достаточно подробно — и, хочу подчеркнуть, по возможности беспристрастно — прослеживаю и сузубо личное становление свое, как невольного, а затем сознательного участника важнейших процессов века — процессов духовных. Но не только духовных.*

*Как читатель увидит, жизнь моя была чрезвычайно пестрой.*

*В данной книге эти особенности выступают в своеобразном ракурсе, так как отпечатана здесь — в первую очередь, по чисто техническим причинам — пока лишь половина общего объема мемуаров моих — половина, охватывающая довоенное время. Ибо, когда пришлось разделить слишком обширный текст на две равные части, то неожиданно оказалось, что в моей рукописи первые 18 лет жизни занимают точно столько же места, сколько и последующие 55! А ведь при работе я неизменно стремился объять все разноликие факты — как общие, так и касавшиеся непосредственно меня, но вместе с тем, отражавшие важнейшие общественные, политические и культурные тенденции эпохи, да одновременно старался оживить в памяти и со всей откровенностью передать собственные свои душевные реакции на них. По-видимому, становление*

*личности в годы надвигающихся катастроф давало — по самой сути своей — куда больше материала для размышления, для непредвзятых, вникающих в детали интерпретаций и самоинтерпретаций, чем более зрелые, уже чисто логичные суждения и действия человека с жизненным опытом...*

*А это, в свою очередь, заставляет предположить, что как раз данная первая часть представляет для вдумчивого читателя особый интерес — тем более, что именно детство и юность автора были весьма необычными, и по внешним обстоятельствам, и по внутренним переживаниям ...*

*Хочу подчеркнуть, что мемуары эти написаны в 1992-94 гг., и никакие поправки или дополнения в первоначальный текст не внесены, хотя в жизненных судьбах некоторых персонажей, да и самого автора, с тех пор произошли существенные сдвиги, а то и крупные повороты. Однако, неизменным осталось главное — восприятие и осмысление автором эпохи, ее трагедий, ее загадок, ее знамений.*

*Что же касается второй части моих мемуаров, то краткое изложение наиболее существенных, общезначимых моментов дается в послесловии к этой книге.*

*Михаил Сокольский (Шайбер) Марбург, в конце 1999 г.*

# Роковое было время



Это парадокс: в такие дни, когда все кругом бурлит, когда миллионы людей захвачены вихрем неизвестной судьбы, нависшей над ними, над их близкими, над страной, над цивилизацией, я вот сажусь — а сегодня 12 августа 1992 года — за труд, который требует прежде всего спокойствия и ясной мысли, который, казалось бы, должен был бы подытоживать, а не заполнять собой такое лихорадочное время, как нынешнее.

Но мной ни в коем случае не движет желание уйти от грозной современности в некую тихую гавань утешительных воспоминаний, забиться в какую-то свою нишу, мимо которой пролетали бы треволения дня. Побуждения мои иные.

Есть множество людей, не являющихся своими собственными современниками, в глубоком смысле этого слова. С одной стороны, десятки миллионов живут исключительно в пространстве удовлетворения бытовых, социально-физиологических потребностей, а это пространство не имеет временного измерения, отчетливых исторических координат. С другой же стороны, всегда существовал, существует и будет существовать тоненький элитарный слой, секта духа, где стержнем жизни, средоточием трудов и тревог неизменно останутся самые общие, высшие, надвременные вопросы человеческого мира («Нет, никогда, ничей я не был современник...!» считал себя вправе воскликнуть Мандельштам). Честно говоря, на протяжении всей жизни я надеялся, жаждал быть именно таким сектантом, но осуществлялась эта мечта лишь в редкие, относительно короткие периоды. Вновь и вновь я поддавался, подчинялся власти времени. Это снижает мою самооценку, как личности, но только и придает смысл и какой-то, думаю, общий интерес мемуарам моим. Ибо пишу я эти мемуары не только для себя, но, надеюсь, и для будущих, труднопредвидимых читателей.

Разные бывают мотивы, заставляющие мемуаристов предположить, что их жизнеописание кого-то увлечет, кого-то чему-либо научит, кого-то потрясет, кому-то



послужит путеводной звездой или жизненным стимулом, кому-то предупреждением, а главное, удовлетворит любознательность да различного рода любопытство многих. В моем же случае подавляющее большинство этих мотивов заранее отпадает: не было в моей жизни из ряда вон выходящих происшествий, не участвовал я непосредственно и активно в крупнейших событиях века, не встречался, а если встречался, то бегло и бесцветно, с знаменитостями и историческими личностями моего времени, да и мое собственное воздействие на развитие дел в стране и мире было в лучшем случае косвенным, оно было крайне неопределенным, неконкретным и трудноустановимым даже в чисто духовной сфере.

Узловым моментом, который, по моему мнению, все же привлечет к моей биографии внимание пытливых читателей, является как раз то, что я чрезвычайно интенсивно переживал свое странное, переломное, судьбоносное, полное загадок и предзнаменований, мечтаний и несказанных ужасов время. Я вопреки собственной воле формировался им и по мере сил стремился его формировать. Но прежде всего — я постоянно, неустанно, напряженно размышлял над ним. Этим и интересен, смею думать.

На какой отрезок жизни ни оглядываюсь, в какой угол собственной души ни вникаю, какое из сочинений своих, будь то опубликованное или самиздатовское, ни просматриваю, всюду нахожу какие-то, пусть скорее воображаемые, пусть метафизические, отпечатки преследовавшей меня навязчивой загадки – психологической загадки моего отца.

Я этой загадки так до сих пор и не сумел разгадать.

Каким образом и по какой причине еще за несколько лет до моего рождения с моим отцом, человеком во всем остальном вполне нормальным, произошло чудовищное превращение, сделавшее его слепым политическим, идеологическим фанатиком? Какие влияния, какие обстоятельства, какие события могли настолько основательно подорвать и трансформировать всю его человеческую сущность, что перестали действовать и биологические, и социальные гены? Вопросы эти чрезвычайно сложны, многомерны и многовалентны, общезначимость же их такова, что переходит все исторические, географические, национальные рамки, более того, возрастает из года в год. Судьба моего отца – лишь индивидуальный пример непостигнутого до сих пор феномена, сыгравшего в истории нашего века какую-то поистине кошмарную, роковую роль. До конца объяснить феномен этот никогда не удастся, это невозможно по самой сути дела, но хотя бы вдуматься в его характер и его корни необычайно важно.

Мой отец был еврей. Но он тем не менее стал коммунистом.

Он родился в Польше. Но он тем не менее стал непоколебимым – не поколебленным даже в самый черный час – «советским патриотом».

Несколько лет тому назад я написал эссе «Конфронтация сущностей», посвященное доказательству несовместимости, взаимоотталкивания, природной антитечности еврейского склада ума и большевистского менталитета. К сожалению, к тому времени самиздат уже

лишился широкого читательского круга, никем мое сочинение не было замечено, а публикация сокращенного немецкого перевода, которая предстоит в четвертом, последнем номере журнала «Континент Ост-Вест-форум» в этом году, тем более останется без осязаемого отзвука. Квинт-эссенция моих тогдашних размышлений была в сжатом виде изложена в одном из абзацев: «Существо еврейское и существо большевистское не могли – и не могут – совмещаться в одном человеке. Еврей и большевик не могут быть двумя ипостасями одной личности. А еврейство и большевизм не только никак не могут быть порождением одной общности – они в принципе не могут сосуществовать в одном мысленном мире.»

Я старался обосновать этот тезис противопоставлением различных элементов, аспектов и факторов большевистского мироотношения соответствующим моментам еврейской психологии, что, на мой взгляд, в достаточной мере мотивировало идейное, политическое, духовное и боевое сопротивление, оказанное большевистскому перевороту и большевистской диктатуре еврейским народом России, Советского Союза.

Но куда менее подробно я писал о другой грани вопроса, ставшей темой неисчислимых мифов, умопостроений, пропагандистских клише во всем мире, не говоря уже о нашей стране. Вот как я вскользь коснулся этого предмета: «А те мечтательные головы, которые еще в годы надвигающейся революции или затем, во время гражданской войны, поверили в лучезарное будущее человечества, возведенное большевизмом, всегда с предельной решимостью подчеркивали: «Я не еврей, я коммунист». И это не было просто неким прямолинейным выражением безоглядной и безраздельной преданности политической идее, наподобие тому, как миллионы и миллионы людей во всех странах заявляли о фанатической своей приверженности тому или иному идеологическому кредо, не отрекаясь вместе с тем от самих себя. Нет, это было констатацией глубочайшего, сущностного, человеческого перерождения.» Вот и все, что я решился здесь высказать относительно

болезненной материи, занимавшей меня буквально с детских лет. В немецком варианте к тому же указано, что такие самохарактеристики засвидетельствованы были у Троцкого и Мехлиса. Но ни слова нет о том, что все-таки могло стать импульсом, движущей силой зловещего этого превращения.

Все дело в том, что перед моими глазами стояли отнюдь не Троцкий с Мехлисом, я думал исключительно об отце своем, столь близком по частым воспоминаниям о тех далеких годах и вместе с тем столь чуждом, непонятном, неразгаданном. И я не хотел выдвигать объяснений, основанных лишь на частном случае и на догадках, пусть рожденных в многолетних мучительных раздумьях, но все же догадках.

Теперь же попытаюсь коротко изложить свои предположения и соображения.

Были, не могли не быть люди, которые на том переломе, когда русское еврейство огромным историческим усилием, огромным взрывом духовной энергии вырвалось идейно и психологически из мира гетто, не сумели найти осуществления своим потенциям, приложения своим действительным или воображаемым силам и дарам в новой жизни, в интеллектуальной, экономической, нормальной политической сфере общества, веками отторгавшего предков. Каковы бы ни были причины этой фрустрации, она вполне естественно приписывалась коренной несправедливости традиционного жизнеустройства, в первую же очередь социальной и национальной дискриминации. Но если сильные личности и выдающиеся дарования пробивали себе дорогу вопреки всем препонам, а люди массы проявляли национальное начало, народный характер в индивидуальной, повседневной, негромкой деятельности, к какой бы сфере общественной жизни она ни относилась, или искали возможности самореализации, личной и народной, в Европе, Америке, Палестине, то люди промежуточные — большей частью достаточно образованные и небесталанные, но не обладавшие подлинными личностными качествами — отделялись от народной

общности, но не могли и реализоваться как индивиды в конкурентном социуме; если они находили пристанище в каком-то ином, замкнутом, сектантском сообществе, то это для них было освобождением и от собственного, потерпевшего фиаско Я, и от собственного, отвергнутого национального Мы. Такое присоединение к чему-то новоявленному, воплотившему однако в себе все черты духовного гетто, ощущалось поэтому как преодоление фрустрации, как некое, пусть на деле суррогатное, самоосуществление. Большевизм в этом смысле был приютом идеальным. Ленинская «партия нового типа», дававшая своим членам счастье полного обезличивания при сохранении полного и даже гипертрофированного самоуважения, только и была рассчитана на людей, не находивших себе места в обычной, органичной «мирской» человеческой жизни и нуждавшихся в самообмане особых идеалистических устремлений — она представляла собой некий монашеский орден, который не только в дореволюционные и ранне-революционные годы, но вплоть до августа 1991 года, да что там, и по сей день сохранял и сохраняет многие свойства и атрибуты организации заговорщицкой. Обет послушания и «молчания» сочетался с обетом бессовестности, приверженности корпоративному аморализму. Когда Сталин назвал большевистскую партию «орденом меченосцев», он просто имел в виду реальное представление людей этой категории о самих себе (превосходное описание типа было задолго до сталинского изречения дано Иваном Майским).

Таким я вижу и путь моего отца к большевизму. Так я объясняю и многократно слышанные от него внушения и, пожалуй, самовнушения: «Мы не евреи, сынок, мы коммунисты». Так я объясняю и странные для человека, как никак не лишенного и некоторых духовных интересов, методы «коммунистического воспитания» при помощи чистой лжи, сопоставление которой с очевидностью уже очень рано, еще до ареста отца, сделало меня решительным антикоммунистом, пусть сначала лишь в тайных помыслах.

Отец с матерью встретились за два года до моего рождения, на какой-то вечеринке художников, ранней весной 1921 года в одном из снесенных ныне арбатских переулков.

Жизнь привела их в Москву разными путями.

Родившись, как он рассказывал, в семье ремесленников, отец в возрасте не то 14, не то 16 лет отправился из родной Лодзи на заработки в Одессу. Но его жизнь там, по видимому, не очень задалась, и вскоре он нанялся матросом на торговое судно, курсировавшее в Средиземном и прилегающих морях. И вот тут, как это ни удивительно, он довольно близко сошелся с владельцем (или всего лишь капитаном?) судна, оказавшимся странным образом большим любителем и знатоком живописи, и тот брал отца с собой в галереи Венеции, Генуи, Неаполя и даже отнюдь не портового города Рима. Каким невероятным ни кажется подобный случай в жизни ничем не приметного юноши, рассказ подтверждался как-никак двумя реалиями. Отец, общая образованность которого оставляла, мягко выражаясь, желать лучшего и в смысле глубины, и в отношении многогранности, действительно прекрасно знал и понимал искусство итальянского Возрождения, в особенности как раз живопись; хотя его познания в области искусства других эпох и стран были не столь подробны, энтузиазм его, поклонение его, жадный интерес его к творчеству художников разных школ и направлений были подлинны, беспредельны, в этом невозможно было сомневаться. Он очень рано заразил этой любовью и меня. Когда он меня, несмышлениша, водил по берлинским музеям и сияющими глазами показывал заветные шедевры (слово «шедевр» запомнилось с характерной удивленно-восхищенной интонацией отца, наряду с другим излюбленным им словом «мастерство», в которое он вкладывал весь пиетет выходца из ремесленной среды; эти оставшиеся в памяти звуки его голоса свидетельствуют о примечательном обстоятельстве — что в берлинских музеях мы с ним

говорили по-русски; а примечательно это потому, что в этом видится знак какой-то необыденности, какого-то особого смысла, какого-то необычного, связанного с родной значения, которое он придавал этим посещениям) — когда он водил меня по торжественным этим залам, забывая на считанные часы, что он коммунист, он зарождал во мне чувства, мысли и устремления, противоположные всему, на что нацелены были его методы идеологического воспитания. Прекрасное по существу и действию своему антиидеологично. Оно духотворно. Оно воспитывает антикоммунизм, если ты родился в России советской эпохи...

Но главное для меня, разумеется: если бы не интерес отца к искусству и художникам, меня бы вообще на свете не было. А произошло все вот как.

Во время одной из зимних стоянок в Одессе за год или два до первой мировой войны отец — помогавший, по его словам, еще в 1906-м, двенадцатилетним, «лодзинскому пролетариату» на баррикадах — попал под влияние агитаторши-большевички, регулярно ходившей в порт «будить классовое сознание эксплуатируемых», и под влиянием этим не то действительно стал членом партии, не то отныне счел себя таковым. Война же застала его в какой-то далекой гавани, и вскоре он оказался одним из тех миллионов, кого она не втянула в свои губительные вихри, а наоборот, разбросала по свету словно пыль. Он побывал в Египте и Адене, а затем его погнало на самый край Земли, в Австралию. И вот, когда до тех широт дошло известие о «русской» революции (скорее всего, он в неоднократных повествованиях своих имел в виду вторую, большевистскую), его мощно потянуло на родину, и чтобы «встать в ряды борцов», он преодолел огромные расстояния, трудности, препятствия и, наконец, добрался-таки до Москвы, чтобы получить здесь какое-то третьестепенное поручение при организации Коминтерна. Так, именно так оно было: не столь человеческое чувство тоски по родине им двигало, а то самое магическое, мистическое, нечеловечнейшее «классовое сознание», в основе которого лежал инстинкт секты, инстинкт причастности к «священному» акту всеоб-

щего перерождения, всеобщего освобождения от самих себя, от собственной человеческой сущности, сущности индивидуальной и этнической. Этот архетипный инстинкт отец искренне и добросовестно воспринимал как «сознательность».

Мать же моя, также уроженка Польши, кажется, города Кельцы, попала в Москву совершенно иным путем, с совершенно иной целью. В разгар первой мировой войны она приехала, как ни в чем не бывало, учиться «на художницу». Хочу сразу же сказать: подлинным человеком искусства она никогда не стала, иначе вряд ли удовлетворилась бы одной ролью домашней хозяйки в течение шести с половиной лет нашего пребывания в Берлине (ведь даже мое эстетическое воспитание брал на себя отец!), а после возвращения в Москву не ограничивалась бы вспомогательными декорационными работами для филиала Большого театра, хотя ее призвание несомненно лежало в области того, что ныне называют дизайном — лишь после ареста отца в ноябре 1937-го она, перед лицом надвигающейся нужды, вспомнила о профессии молодых лет и стала постоянно выполнять эскизы для некоей живой артели в подмосковном городке Кротово, изготавливавшей квартирное убранство в стиле нарочитого китча.

А тогда, в 1921-м, она с головой окунулась в московскую художественную жизнь, главным элементом которой являлось не столько творчество, сколько богемный быт — а этот быт с мастерскими-коммунами, дискуссионными клубами-обществами, столовыми-выставками и т. д. вполне серьезно — и радостно — воспринимался как прообраз и зародыш грядущего коммунистического уклада жизни. В этой среде прорастал и русский авангардизм двадцатых годов, который широко признавался искусством истинно революционным, а то и единственно революционным — а у матери моей как раз к этому направлению была несомненно какая-то природная склонность. Вероятно, именно то причудливое сочетание художественной и политической революционности и привлекло к такой странной, по-своему романтической компании моего отца, и на какое-то



время он даже стал почитателем нового, рвущего со всеми традициями, в том числе с любезной его сердцу возрожденческой классикой, эпатажно-модернистского стиля (впрочем, не он один — когда я во время войны сошелся с человеком несравненно более мощного интеллекта, глубоких знаний и страстной одержимости, Николаем Николаевичем Пуниным, тот рассказал мне о собственных своих чудачествах-увлечениях тех лет, и набросанная им яркими красками картина дала мне для понимания молодости моих родителей куда больше, чем их воспоминания, довольно случайные, или книги, всегда чуть-чуть идеологизированные). В такой атмосфере они познакомились...

Во многом же мать заметно отличалась от отца — что отнюдь не мешало вполне гармоничной супружеской жизни, не омраченной, насколько я помню, ни одной ссорой. Ей был чужд какой-либо политический или идеологический фанатизм (хотя под влиянием и отца, и эпохи она считала, конечно, что коммунизм — это хорошо), да и в повседневной жизни она была мягкой и толерантной; особыми познаниями она не блистала, но вот языками владела гораздо лучше отца — и русским, и немецким, и, как я убедился в 1936 году в Варшаве, польским. Еще маленьким мальчиком я со смехом исправлял и немецкую, и русскую речь отца (он очень «любил родительного падежа», как я острил уже в школьные годы), зато у матери имелось, как это нередко бывает у женщин, какое-то интуитивное чувство языковой стихии, какое-то чутье на естественные, точные языковые формы. При всем том она, в этом никогда не было сомнений, с самого первого дня ни на минуту не оспаривала, не ограничивала, не умаляла главенствующей роли отца в семье.

Но хотя она, безусловно, не была сильной индивидуальностью, в одном сказывалась именно ее индивидуальность: каков бы ни был климат в доме, в окружении, в стране, в мире, она все же всегда оставалась самой собой, в ее поведении и настроении никогда не брезжило это сектантско-заговорщицкое сознание приобщенности, прикосновенности к «великому делу» — но не потому, что ее

целиком поглощали бытовые заботы, а потому как раз, что при всем политическом конформизме ее все эти претензии оставались глубоко чужды самому ее существу. Это не было от безразличия, а наоборот, от «различия»: она спонтанно умела различать между собственно человеком и общественным человеком, причем в самой себе бережно, хотя, пожалуй, чисто инстинктивно, сохраняла именно качества собственно человека. Безотносительно к случайностям внешней судьбы.

Мне трудно судить о своих же личностных свойствах, о заложенных во мне наследственных началах, но мне во всяком случае всегда казалось, что в этом-то отношении я больше похож на мать, чем на отца...

### 3.

Ничего не помню из четырех ранних детских лет, московских.

В первых своих воспоминаниях я — в Берлине.

В самом начале 1927 года, когда мне только что исполнилось четыре, отца направили в германскую столицу. До сих пор не могу с точностью сказать, в какой должности, но зато отлично понимаю, в каком качестве. Вероятно, он был прикомандирован к торгпредству, но основное его занятие, думается, составляло нечто иное — он являлся агентом Коминтерна. И о том, и о другом свидетельствуют многие факты, которые и сегодня ярко стоят перед глазами — да что там, об этом свидетельствует весь наш тогдашний образ жизни.

Каждую неделю, а то и чаще, мы всей семьей отправлялись в торгпредство, находившееся далеко, очень далеко от нашего дома, чтобы посмотреть новейшие советские фильмы. Фильмы эти тогда гремели, о советском кино писали и немецкие газеты, но в обычных кинотеатрах они никогда не шли — видно, не были кассовыми, хотя Берлин и считался «красным» и в нем действительно было полно коммунистов. На этих просмотрах отца встречали, как

коллегу или хорошего знакомого, он здоровался со множеством людей, да и участвовал всегда в дружеских, вроде бы непринужденных обсуждениях только что увиденного, в которых, однако, все старались перещегоолять друг друга в изъявлениях преданности «великому делу» и восторгах по поводу того, что происходит на родине — но при этом казались абсолютно искренними. Я же внимательно прислушивался, ибо интересно, диковинно было слышать живую русскую речь — каждое посещение торгпредства именно поэтому было праздником. Нередко мы ходили в гости и к богатым немцам, которые в своих просторных апартаментах, выдержанных то в напыщенном «вильгельмовском» стиле, то в неизъяснимо изящном тоне «югендштиля», принимали отца как будто и не в качестве официального представителя, но говорили с ним преимущественно о ценах на предметы искусства — да и дома неоднократно говорилось о том, что отец получил премию за продажу какой-то картины; сегодня мне совершенно ясно, что он участвовал, пусть как третьестепенная фигура, в той распродаже музейных ценностей, масштабы которой лишь в недавние годы открылись нашей общественности, прежде всего благодаря публикациям в «Огоньке», и вызвали столь бурное и справедливое, хотя, увы, запоздалое возмущение — но хочу подчеркнуть, что отец действовал субъективно «с чистой совестью», ибо был убежден, что после недалекой уже «мировой пролетарской революции» все ценности вновь станут достоянием народа — народа «всемирной республики Советов», а самые выдающиеся, естественно, попросту вернуться в Эрмитаж. Иногда нас навещали приветливые, но весьма серьезные русские люди, с широкой, но не до конца искренней, не совсем натуральной улыбкой гладили меня по головке, а затем садились напротив отца за стол, покрытый тяжелой, ковробразной, красной с крупными пестрыми цветами скатертью, и начиналась напряженная, длившаяся иной раз часами, малопонятная мне беседа о каких-то фирмах, деньгах, аукционах и тому подобном.

Однако, куда более частыми гостями нашего дома бы-

ли совсем другие люди. Немецкие коммунисты. Они приходили «дискутировать», как они это называли. Характер этих визитов менялся с течением лет. Вначале, помню, какой-нибудь солидный, прилично одетый товарищ придет, уверенным движением холеной руки снимет и повесит шляпу и сразу же, не оглядываясь по сторонам, подойдет к столу, сядет, а затем, отказавшись, как правило, от предложенной сигары (отец в то время постоянно курил сигары), а иногда закурив трубку, примется за изложение каких-то своих позиций по внутрипартийным вопросам. Я, конечно, ничего не соображал в самом предмете разговора, но зато скоро разъяснил для себя, что некоторые посетители — поклонники некоего Пика и с подозрением относятся к некоему Реммеле, а другие наоборот. На всю жизнь запомнились мелькавшие то и дело имена — Брандлер, Рут Фишер, Маслов, Тельман («не фигура», говорил отец матери) и русские фамилии с умилительно-неправильным произношением — «Шталин», «Зиновьев» с ударением на первом слоге и «Ленин» с ударением на втором. Изредка гости эти приходили с женами, и тогда домработница накрывала другой, меньший и куда менее торжественный стол, стоявший в эркере. Самого частого и, по-видимому, близкого отцу посетителя я даже запомнил — звали его Георг Касслер и был он депутатом рейхстага. А вот приблизительно с начала тридцатых годов пошел гость совершенно другого типа: это были люди попроще, говорили они не на чистом немецком, а на берлинском диалекте, одевались во что попало и как попало, курили, если вообще, то дешевые сигареты, были вечно чем-то возбуждены и взвинчены, а при этом все-таки много смеялись, охотно рассказывали анекдоты, иной раз садились играть с отцом в шахматы или карты, но главное — говорили они не о внутрипартийных делах, а исключительно о политическом положении в стране, и в их речах мелькали совсем другие имена — Брюнинг, Зеверинг, очень часто Гитлер и еще чаще Геббельс. Их беспокойство мне нетрудно было осмыслить — к тому времени я уже регулярно читал немецкие газеты, да и весь город был

захлестнут политической борьбой, стены домов, заборы, ограды парков, тротуары так и пестрели политическими лозунгами и символами, нанесенными краской, белилами, а то и просто мелом, даже для детей во дворе политика была наряду с футболом темой номер один всех разговоров.

Поэтому я в то время совершенно не удивлялся, что отец брал меня с собой на демонстрации и митинги коммунистов, а по воскресеньям сплошь и рядом на загородные пикники и прогулки небольших групп «революционеров», как он их называл. Это и действительно, по-видимому, были люди, потерявшие во время великого кризиса работу по специальности и решившие себя целиком, профессионально посвятить «делу» (такие немцы никогда не говорили высокопарно «дело революции», «дело рабочего класса», «великое дело», к чему был приучен мой русский слух, а просто «ди захе» — «дело»; насколько отец вошел во всю эту атмосферу, ярче всего показывала как раз фразеологическая имитация, которой он поддавался невольно — он также, хорошо помню, то и дело употреблял этот таинственный термин «ди захе»).

Но если все это мне тогда казалось естественным, более того, если я сам, как ни в чем не бывало, охотно выходил с детьми коммунистов на ночную «предвыборную агитацию», при которой выполнял роль караульщика, свистом оповещающего остальных, занятых малеванием лозунгов, о приближении полицейской или фашистской опасности, то впоследствии, сколько я ни думал о тех годах, я не находил объяснений невероятной слабости, безответности, прямо-таки мазохистскому непротивлению веймарского государства. Уже много сказано о том, что та первая германская республика не устояла перед натиском гитлеровцев потому, что внутренне была разъедена националистической психологией, генной потребностью среднего немца в поклонении начальству, неугасшими имперскими мечтаниями. Конечно, все это так. Однако, из собственной живой памяти я почерпнул то, что утверждал полстолетия спустя во многих самиздатовских сочинениях: никогда не прийти бы к власти Гитлеру, если бы Веймарская респу-

блика проявила хоть чуть больше твердости перед лицом нависающей коммунистической опасности. Если вдуматься: мой отец, гражданин чужого государства, возможно даже аккредитованный его представитель, с великолепной непринужденностью и естественностью, ничуть не таясь, «вносил свою лепту» в заранее назначенное разрушение этого государства, этого общественного строя, этой цивилизации, а таких, как он, были сотни, и оружием их было отнюдь не только слово, ибо все — и сторонники, и противники, и охваченное страхом большинство населения — в любую минуту сознавали, какая военная сила, какая современная промышленность вооружений строится на «родине всех трудящихся», а ведь сама советская пропаганда, да и местная коммунистическая пропаганда как ее эхо, ежедневно, ежечасно, ежесекундно трубила о том, что объединенными ударами «снизу» и с востока будет сокрушена цитадель «старого мира», «мира капитала» — как же эта угроза могла не загнать нацию крупных, средних, мелких и мельчайших собственников в объятия дьявола, обещавшего не только вооружить ее против наступления варварских орд из глубин Азии, но и уберечь от экспроприаций и коллективизаций, от красного террора, наконец?

Об этом, повторяю, я писал уже много раз. Но я всегда подчеркивал лишь вину Сталина, всей своей политикой возродившего, вооружившего и воодушевившего гитлеровское движение, самое гитлеровскую идею, приведшего гитлеризм к власти, к идеологической и территориальной экспансии, к агрессии и войне. Но наряду со Сталиным и в пользу Сталина ведь действовали сотни, многие сотни людей, вовсе не разделявших его безудержного стремления к господству, к прямому и косвенному расширению сферы власти, более того, противоположных ему полярно по душевному и духовному складу, по самой человеческой природе. Ими двигали разные самовнушения, идеологические клише, архетипные схемы, к которым добавлялись вошедшая в плоть и кровь верность секте и некий особый, извращенный патриотизм — а все это вместе создавало особый тип человека, для которого была характерна даже не столь-

ко настоящая слепота (хотя ее тоже нельзя отрицать), сколько упрямое, маниакальное, постоянно подпитываемое из каких-то глубочайших глубин души, роковое нежелание считаться с реальной логикой фактов. Могу с уверенностью сказать: не только мой отец, но и подавляющее большинство агентов Коминтерна в Германии — как и подавляющее большинство немецких коммунистов — ни в коем случае не хотели прихода Гитлера к власти, возможность нацистской диктатуры внушала им тревожные опасения и тайный страх, а хитроумное сталинское построение, по которому нацистскому фюреру выпала функция, согласно безошибочным законам марксистского исторического промысла, покончить с буржуазно-либеральной государственностью, чтобы после неизбежного скорого провала фашизма власть, как зрелый плод, досталась верным слугам Сталина — это построение действовало лишь как самоутешение и самооправдание, оно поддерживалось внешне, но оно не снимало глубинной озабоченности.

Тем удивительнее ослепление, заставлявшее этих людей день за днем словом и делом, наставлением и наушением подрывать сопротивляемость республики крайним влияниям, крайним силам — да ведь прежде всего фашистским. К тому же, наверняка было много среди них таких, которые, подобно моему отцу, действовали с вызывающей открытостью, а это не могло не оказаться наглядным примером, желанным, весьма эффективным, будоражащим материалом нацистской пропаганды, тем более, что добрую четверть их составляли (по нынешним немецким данным) отрекшиеся от своей нации евреи.

Но при всей вредоносности тогдашней деятельности отца, при всей непостижимости его парадоксально-одержимой веры в спасительную силу партии, в неизбежное осуществление завещанной утопии, в автоматическое исполнение марксистских исторических постулатов, наконец, в добрую волю Сталина, при всем нежелании его трезво оценить реальную обстановку в чужой стране и реальную умонастроенность чужого народа, ему никак не было присуще то расчетливое стремление большинства

советских заграникомандировочных извлечь побольше пользы для себя и своего московского начальства — корыстное стремление, которое тогда уже зарождалось, хотя лишь впоследствии расцвело пышным цветом. Он воспринимал свое пребывание в Германии не как привилегию, а исключительно как миссию, не как службу, а исключительно как служение. В бесчестной игре он субъективно оставался честен.

Все это не могло не отразиться на моем воспитании.

Тем или иным образом. В ту или иную сторону.

#### 4.

Как это ни странно, у меня осталось чисто эмоциональное, но достаточно ясное и определенное воспоминание: я в Германии всегда ощущал себя чужим. Это было какое-то шестое чувство, не доходившее в то время до уровня сознания, нечто интуитивное, подкорковое.

Странным это должно казаться потому хотя бы, что у меня никогда и нигде не было недостатка в друзьях-сверстниках, ни во дворе нашего дома, ни в начальной («народной») школе, ни в парках, куда я ходил гулять, ни на футбольном стадионе Экзер, ни на даче под Луккенвальде, не говоря уже о тех же юных коммунистах. Все они считали меня своим, своим во всех отношениях.

Очевидно, мать еще в Москве, в самые первые годы жизни учила меня немецкому языку, и у меня никогда — ни в детстве, ни во время восьми путешествий по Германии, которые мне удалось-таки совершить за последние 22 года — не было ни единого случая, чтобы кто-нибудь принял меня за иностранца. А тогда я к тому же очень быстро, с той бесхитростной легкостью, которая свойственна только детям, перенял берлинский диалект со всеми его фонетическими и лексическими чудесами. Да и дома, насколько помню, я слышал почти исключительно немецкий. Меня, очевидно, задолго до школы — а там в школу ходили с шести лет — научили обоим алфавитам, и я умудрился, если верить умиленным рассказам родителей, в пятилет-



нем где-то в возрасте достать из шкафа и прочесть «Героя нашего времени» и томик Гейне, кажется, «Путешествие по Гарцу». Во всяком случае, приблизительно в те же годы я начал сочинять «стихи», конечно, тоже на немецком. Но не это главное: родители подписывались на массу немецких газет и журналов, притом не только коммунистических, и по крайней мере два раздела — политику и футбол — я во всем этом ворохе изучал с невероятным увлечением, да и многие другие рубрики просматривал, так что как будто чувствовал себя в делах Германии не только «подкованным», но поистине в своей стихии — в куда большей мере, чем подавляющее большинство местных моих сверстников!

Но могло то подспудное чувство отчужденности зародиться и в результате угнетающего впечатления, которое на меня производили напыщенность, претенциозность, холодный пафос Берлина, как города. Должен признаться: очень люблю наши большие города, Москву, Петербург, Киев, Ригу, Вильнюс, очень люблю замечательные небольшие города Германии — Марбург, Тюбинген, Ландсхут, Шверин, Веймар, Эрфурт, немецкий в сущности Карлсбад, но вот крупные германские центры, Мюнхен, Кельн, Лейпциг, чем-то даже Франкфурт и Дрезден, а особенно Берлин всегда разочаровывали, раздражали, отталкивали меня — каким-то внутренним несоответствием моим сокровенным представлениям о европеизме, о душе старозападной цивилизации. Но ведь в то время я фактически не знал другого города, кроме Берлина, я не мог чувствовать его неуютности, а уж тем более проникаться антипатией к нему, из-за явной невозможности какого-либо сравнения.

Берлин был моим домом. Пусть не родным, но единственным.

Нет, отчужденность та внушена была, думаю, своеобразной патриотической — не только советско-патриотической, но и русско-патриотической — риторикой, наполнявшей как направленно-«воспоминательные», так и случайные высказывания, проповеди и реплики отца, которые он

адресовал мне, и как любящий родитель, и как убежденный глашатай идеологии, буквально на каждом шагу. Не то, чтобы он когда-либо, хоть намеком, хоть в нечаянно оброненной фразе порицал или принижал немцев! Совсем наоборот. Часто он с неподдельным благоговением, с какой-то вдохновенной дрожью в голосе перечислял мне великих немецких философов, поэтов, ученых — и если он о них кроме имен мало что знал, то уж о художниках, от средневековых и до самых что ни на есть современных, он мог с немалым знанием дела рассказывать и рассуждать часами, да к тому же он в те годы стал страстным поклонником немецкого театра, точнее, театра Рейнхардта, так что я с малых лет знал наизусть все святцы немецкой культуры, а уж такие фамилии, как Дюрер, Грюневальд, Кранх, Гольбейн, Рунге, Швинд, Менцель, Либерман, Беклин, Марэ, Коринт, Бекман или Дикс действительно перестали быть пустым звуком для меня, а об исполнении классических ролей артистами Моисси, Бассерманом, Винтерштейном или Элизабет Бергнер я по его красочным рассказам получил полноценное, мне кажется, впечатление на всю жизнь. Но вместе с тем его постоянные внушения, что мы, дескать, не здешние, что у нас на родине жизнь гораздо лучше, светлее, чище, что истинное наше место там, и как только мы поможем немецкому пролетариату совершить революцию и избавиться от своих эксплуататоров, мы непременно вернемся к себе домой, в страну, к которой мы принадлежим, в жизнь, которой мы принадлежим до последнего вздоха — все это вселяло в меня какое-то почти религиозное чувство, какой-то внутренний, подспудный, чисто эмоциональный культ родины. Культ, сохранившийся в подсознании на протяжении стольких десятилетий... Какие ситуации ни складывались в моей жизни, в окружении моем, в нашем обществе, в какие переплеты я ни попадал, какие возможности ни открывались, это чувство во многом определяло мои выборы и решения. Так, оно, думаю, сыграло известную роль — хотя имелись и другие субъективные причины и объективные обстоятельства — в том, что я в эти двадцать лет, когда сотни тысяч,

миллионы покидали страну, когда небывало массовой стала еврейская эмиграция, все-таки остался здесь, все-таки не был вовлечен в великий исход не только физически, но и психологически.

Однако, другая сторона отцовского политико-воспитательного воздействия меня удивляет до сих пор. За все шесть лет мы с матерью ни разу не выезжали из Германии, но отец-то в Москву ездил — если не ошибаюсь, по меньшей мере раз в год. Не мог он не видеть, что происходило в стране, не мог не ощущать, какие страдания выпадали самым различным слоям народа, в том числе и интеллигенции. Тем не менее, он нас всегда уверял, что дома все обстоит наилучшим образом, что люди там счастливы, не в пример Германии; он обрисовывал свои поездки в таких тонах, что родина мне представлялась раем с вечнозелеными садами на фоне вечноглубого неба, залитыми ярким солнцем — обобщением фотографий с кавказских курортов, которые постоянно лежали на столе в эркере, очевидно, с пропагандистской целью. Но ведь простейшая логика должна была ему подсказать, что тем сокрушительнее будет разочарование при неизбежном столкновении с действительностью (как оно и случилось!). Но вот таково было идеологизированное мышление его, и не только его...

Пока же до разочарования моего оставалось еще несколько лет, и я жил более или менее нормальной детской жизнью в неродной мне Германии.

## 5.

Первым человеческим потрясением, подлинной трагедией в моем мирке, катастрофой всех моих детских представлений стало расставание с Марией.

Жили мы на одной из шумных, даже в те времена кишевших машинами, гроыхавших надземкой, сиявших световыми рекламами магистралей городского севера — а северными в Берлине были, как любил подчеркивать отец, «пролетарские» районы. Называлась улица Шенхаузер-

Аллее и тянулась она чуть ли не от центра города до самых окраин, и впадало в нее огромное число прямых и косых, широких и узких переулков. Дом наш, построенный в середине или конце прошлого века, пятиэтажный, по-берлински помпезный, внешне выглядел богатым, но среди своих соседей никак не выделялся. Когда я спустя сорок лет приехал в Берлин и отправился на поиски мест детства, я обнаружил стройный ряд почти-двойников; лишь определив месторасположение бывших наших окон по отношению к четко-прямоугольному кинотеатру «Колизей», что на противоположной стороне улицы, я понял, что как раз наш дом оказался единственным из «двойников», разрушенным в войну и замещенным скромным серым зданием более современного стиля. Под стать представительному виду дома была и планировка квартир, и, насколько мне случалось видеть, их обстановка. Но вот туалеты находились отнюдь не в квартирах, а на лестничных площадках между этажами, и стены их были облицованы отнюдь не кафельными плитками, а довольно грубыми, кое-где недоструганными даже, деревянными досками. Но не надо думать, будто здесь обнажалась «нецивилизованная суть тевтонов».

Дело в том, что в эти туалеты никто не ходил. Сюда выносились горшки. И выносили их, естественно, не хозяева квартир. У каждой семьи — «мелкобуржуазной», как говаривал отец — имелась прислуга, которую в обычной речи называли просто «девушкой».

У нас «девушкой» служила Мария. Ей было лет двадцать, и происходила она из небольшого славянского народца, селившегося в местности Лаузиц близ Берлина, но славянским наречием, насколько помню, не владела. Между матерью и Марией с первых же дней нашего пребывания в Берлине установилась удивительная, ничем не замутненная, непритворная человеческая близость. И причиной тому было в первую очередь общее для обеих чувство — любовь ко мне. То, что любовь Марии шла из самых глубин души и наполняла ее всю, я, четырехлетний, ощущал с той безотчетной, непогрешимой чуткостью,

которая этому возрасту свойственна, и отвечал я на нее с беззаветной детской страстностью. Мария и ее нежность стали в моем существовании, в моем мире некой безусловной и неизменной данностью, какой-то частью моего собственного существа.

И вдруг — мне было, наверное, уже шесть или почти шесть лет — меня разлучили с Марией. Ей пришлось уйти.

С тех пор прошло более шестидесяти лет, но в памяти моей еще живо тогдашнее отчаяние. Мария плакала несколько дней безостановочно, а я бесновался так, что родители просто не знали, что делать, и дали мне, опасаясь за мое физическое и психическое здоровье, сильное снотворное.

Этот эпизод, не сомневаюсь, наложил свою печать на многие аспекты моего мироощущения, моих позднейших жизненных установок и интересов. В большей мере, чем всякие фрейдовы комплексы.

Тогда я не понимал, что это чудовищное бедствие, обрушившееся на меня, исходило, собственно говоря, от матери моей. Лишь годы спустя мать, глубоко сожалевшая о несчастном своем решении и казнившаяся угрызениями совести, рассказала мне, как до этого дошло.

Самой близкой ее подругой была Ида, жена другого, более высокого полета агента советского, носившего редкую, странно звучащую в Германии фамилию Гелибтер. О ней мне еще много придется писать (воспоминания об Иде прерываются лишь августом 1944 года), здесь же скажу только, что тогда она была исключительно яркой и красивой, армянского типа женщиной (хотя кроме армянской в ней была, кажется, и польская кровь), а я эту красоту всегда чувствовал, не понимая еще, что это такое, какая сила в этом заключена и какое значение это имеет в человеческой жизни...

И вот однажды Ида пришла к нам в гости — это отнюдь не было редкостью, но обычно она приезжала на такси, а тут погода выдалась чудесная и она решила пройти через роскошный парк Экзер, расположенный недалеко от нашего дома. А там она наткнулась — среди бе-

ла дня, как она возмущенно повторяла! — на обнявшуюся парочку и к ужасу своему узнала в девушке нашу Марию, прильнувшую к рослому, привлекательного вида парню.

Когда мать открыла ей дверь, Ида сразу же, не переступая порога, с несвойственным ей пафосом воскликнула:

— Вон выгони Машку свою, сегодня же, чтоб духа ее здесь больше не было!

Матери пришлось специально, и с нажимом, попросить ее сначала зайти в квартиру, «а то соседи криков не любят». Когда Ида описала, чуть успокоившись, всю эту «вопиющую сцену» во всех «кошмарных подробностях» и увидела, что ее негодование не производит на мать должного впечатления, она стала более ровным и сдержанным голосом приводить разные аргументы, почему «скандальное поведение» нашей прислуги нетерпимо вообще, а при нашем-то положении особенно — и тут один ее довод сразил мать: открытое поправление буржуазной морали именно нашей домашней работницей, дескать, может взбесить жителей дома, а это неминуемо повлечет за собой неприятнейшие последствия для особой, деликатной политической работы отца.

Содрогнувшись от этой мысли, мать поставила Марию перед выбором: или она прекратит всякие встречи с другом своим, или ей будет отказано от места. Сколько девушка ее ни убеждала, что это несправедливо, что с молодым человеком, выросшим рядом с ней в той же деревне, она давно помолвлена, что он специально приезжает в Берлин лишь для свиданий с ней, а им негде встречаться, кроме парка, перепуганная моя мать осталась непоколебимой.

Впоследствии я в разное время и по разным мотивам задумывался над загадкой, почему Ида взяла на себя вдруг роль стража нравственности и приличий, к которой уж кто-кто, а она менее всего была предназначена — ни природой, ни воспитанием, ни общественными обстоятельствами. Конечно, я не один раз читал в романах, да изредка наблюдал и в жизни, что очень красивым, точнее, эффектным

женщинам противно, когда им приходится видеть любовное счастье «менее достойных» — это совершенно особый вид ревности, прикрывающийся презрением. Но внутреннее чувство говорит мне, что здесь дело было в чем-то ином.

В новом господствующем классе нашей страны, который тогда еще никто не называл «номенклатурой», все сильнее становилось затаенное, никем пока не осознанное стремление не только во всем походить на цивилизованную, даже рафинированную буржуазию Запада, но и исторически, пусть в претворенном, видоизмененном облике, замещать собой традиционные высшие классы России, замещать их полновесно и всесторонне. Поэтому члены той праноменклатуры не хотели ограничиваться корпоративной властью над обществом, им внутренне, чисто психологически нужна была личная власть над членами низших, подавляемых сословий, будь это плебеи или «бывшие». Идеалом их по сути дела были феодальные отношения. Разумеется, такие отношения в быту легче всего устанавливались между хозяйками и домработницами. Но дело не только в легкости: здесь они оказывались наиболее прозрачными, откровенными, однозначными, в то время, как в других сферах общественной жизни феодальные по сути отношения неизбежно должны были камуфлироваться и опосредоваться какими-то правилами, условиями и формальностями, а то и идеологемами типа слова «социализм». В моей жизни взаимоотношения хозяек и служанок неоднократно влияли на собственные решения и поступки самым непосредственным и определяющим образом — об этом я еще много буду писать — неудивительно поэтому, что они меня всегда остро интересовали, и мне кажется, что при этом неизменно присутствовала Ида, неизменно какую-то роль играло воспоминание о том раннем острейшем переживании, о том разрушении детской любви.

Ведь я уверен, что Ида действовала тогда не из моральных принципов, не из ревности и чувства женского превосходства, не из искренних опасений за судьбу политической деятельности отца — ею двигала исключительно

классовая, номенклатурная психология, убежденность, что прислуга существует для прислуживания и ни в коем случае не должна иметь своей собственной, частной жизни...

## 6.

Зато во искупление греха своего Ида стала относиться ко мне с удвоенной внимательностью и даже нежностью. Впрочем, грех, вероятно, был тут и не при чем. Они с матерью действительно дружили, дружили издавна, не знаю, с каких времен. Если дружба отца с Гелибтером — это понимал и я, маленький мальчик — вся была замешана на каких-то общих стремлениях, на какой-то совместной деятельности, то отношения двух женщин были куда интимнее, личностнее. А со мной Ида находила интересным и всерьез «пообщаться», как она уверяла годы спустя, когда разговор заходил о берлинском времени — в шутку же они с матерью предназначали меня в женихи дочери Иды, Руфи, которая года на два или три была моложе.

Как ни близки были наши семьи тогда и позже, какое сходство семейных судеб ни ожидало нас — образ жизни, стиль жизни Гелибтеров резко отличался от нашего. В иерархии советского общества мой тезка, Михаил Гелибтер, стоял явно намного выше отца моего, и это сказывалось прямо-таки ошеломляющим образом на разнице нашего заграничного быта. В то время, как наша квартира — сколь роскошной она ни показалась бы мне, советскому старожилу, случись мне снова сейчас очутиться в ней — по немецким меркам той эпохи выглядела достаточно скромной, мелкобуржуазной, заурядной, Гелибтеры жили в каких-то поистине княжеских апартаментах. Ведь не один раз я бывал в домах у немцев солидных, состоятельных, претендовавших на положение в обществе, но их стильная атмосфера, торжественность высоких потолков и свободных объемов, подчеркнутое или нарочито-небрежное изящество обстановки не производили на меня такого впечатления, как сходный же, но чуть более



восточный тон, сходный, но чуть более демонстративный простор, сходное, но чуть более живописное богатство этого жилища советского человека. Я любил ездить в гости к Гелибтерам, хотя путь был неблизок и сообщение не очень удобно. Как ни странно, я чувствовал себя там и на самом деле «как дома», и броское убранство комнат не стесняло и не подавляло меня. Мы с Руфью — которую все звали по-немецки, Рут — бегали по сменявшим друг друга коврам как ошалелые, возились под столами, кричали, пищали, смеялись под одобрительную улыбку Иды, и все же я все время ощущал окружающее великолепие как нечто исключительное, неприкосновенно-завидное. Комнат было не менее шести, а может быть, восемь, и каждая была выдержана в определенной цветовой гамме, расположение же их было таково, что пробежав их все подряд, мы неизменно возвращались в обширную переднюю, только каждый раз с другой стороны.

У себя дома Ида одевалась значительно элегантнее, чем при визитах к нам. Это и понятно: здесь у нее в разное время дня бывали гости, здесь, на западе Берлина, вообще было принято выставлять напоказ богатство, да к тому же в нашем северном районе слишком разодетая женщина наверняка обращала бы на себя внимание прохожих, и не всегда дружелюбное. Но мне казалось, казалось чисто интуитивно, что иначе и быть не могло, что этого требовала природа вещей, гармония вещей. Одежда была как бы связующим звеном между художественной формой мебели и красотой женщины.

Подружка моя Рут по внешности своей резко отличалась от родителей — это бросалось в глаза уже тогда, а со временем контраст стал таким, как будто природа намеренно задумала продемонстрировать некое стопроцентное противопоставление типов. У Иды были роскошные черные волосы, большие черные, самоуверенные с нагледой глаза, блестящий и живой оттенок чистой белой кожи, средней полноты и среднего роста, но упругая и строгая фигура. Муж же ее представлял тот чрезвычайно редкий среди евреев случай, когда оправдывалась смехотворная

рекомендация наших антисемитов по распознаванию сыновей израилевых: надо, дескать, вообразить негра с белой кожей, и если похоже, то это и будет еврей. Но вот у Рут волосы еще в детстве были светло-русые, а перед войной да в 1944 году, в Ленинабаде, я ее помню уже яркой блондинкой, глаза ее, голубые с сероватым отливом, большей частью имели выражение опасливо-скрытное или задумчиво-мечтательное, овал ее лица был продолговатый, а рост невысокий, даже в девятнадцатилетнем возрасте. Конечно, подобное несходство легко объяснялось смешанным, наполовину (или на четверть?) польским происхождением самой Иды, да и у евреев ведь достаточно часто встречаются люди с прямо-таки образцово-арийской внешностью.

Однако, причину такой причудливой игры природы можно было, разумеется, искать и не в закономерностях генетики, и я уверен, что большинство знакомых действительно толковало это явление несколько иначе. Ибо...

Ида любила жизнь. А в те годы особенно!

В гостях у Гелибтеров бывали отнюдь не только деловые люди и партийцы, как у нас. К ним захаживала та культурная, литературная, художественная полубогема, которая считала себя «левой». Не сторонились их и кое-какие знаменитости, будь то берлинские или заезжие. Так, хорошо помню, как Ида не без хвастовства упоминала имена Эриха Кестнера, Вальтера Хазенклевера, Бориса Пильняка, а однажды я в ее «салоне» наткнулся на очень оживленного, по-мальчишески разговорчивого, с искрящимися глазами и трубкой в руке, окруженного всеобщим вниманием взрослых человека, о котором мне кто-то шепотом сообщил, что это, мол, некий Илья Эренбург (смешное ударение на первом слоге звучало для меня тогда столь же нормальным, как и для того носителя почтительного немецкого голоса, который мне это шепнул). Но светская жизнь Иды вовсе не ограничивалась ее собственным домом. Сколько раз я слышал, как она исповедовалась матери в новейших своих приключениях! Эти исповеди доставляли ей самой видимое удовольствие:

восторженные описания банкетов, вечеринок с танцами, премьер в театрах, варьете, кино, зрелищ типа шестидневных велогонок во дворце спорта, приемов и гуляний сменялись живыми изображениями разнообразных встреч с «очень культурными», «очень интересными», «очень приятными» и даже «очень состоятельными» поклонниками, причем моему пониманию, надо думать, оставались недоступны многие детали и намеки. То, что Михаил Гелибтер не страдал, очевидно, излишней ревностью, было матери моей, судя по всему, давно известно, и она сопровождала рассказы подруги лишь отдельными удивленно-восхищенно-осуждающими возгласами. Но в каком-то закоулке сознания такой барский быт, такой более чем свободный образ жизни озадачивали меня уже тогда, пусть по чистой наивности.

Впоследствии же я, вспоминая все это, не мог не задаваться недоуменным вопросом: откуда у Гелибтеров брались средства? Правда, во время разразившегося великого кризиса, бесчисленных банкротств и всеобщего оскудения опустели многие виллы, роскошные да и не столь роскошные квартиры, а это привело к значительному снижению платы за них — об этом постоянно писали газеты, об этом говорили и взрослые. И все же очень уж дешевой квартира Гелибтеров быть не могла! А деньги, расходовавшиеся на званые ужины и «пестрые вечера»? Источник мог быть только один: «особые» фонды советского государства. Ради чего, однако?

Лет двадцать пять тому назад, когда у нас в большой моде были «легендарные советские разведчики» и о них в газетах и книгах, кинофильмах и телевизионных передачах пелись такие дифирамбы, что и серьезным людям их роль во второй мировой, а затем в холодной войне стала казаться уникальной, если не решающей — мне как-то пришла мысль, на первый взгляд вполне логичная, что Ида вела, скрывая это даже от моей матери, совершенно определенную деятельность в пользу советских «специальных» служб. Но подумав, я эту мысль отверг. Версии некой советской Мата Хари противоречат некоторые

упрямые факты: всем известно, что в 1937-38 годах бывшие разведчики, попавшие под «подозрение», сплошь уничтожались или, в самом лучшем случае, отправлялись в лагеря, Ида же после ареста мужа была, правда, выселена из квартиры, но не из Москвы, она и Рут обитали в каланчевских трущобах до октября 1941 года, а тогда нормальным путем эвакуировались в далекий Таджикистан, в 1945-м же она, по-видимому, беспрепятственно вышла замуж за немца-коммуниста, и последнюю весточку я получил от нее в конце 1945 или начале 1946 года из Германии; в ее поведении тогда и в течение всех предвоенных да военных лет не было ничего от той осторожности, которая как-никак должна стать второй натурой тайного агента, более того, очень мало встречал я в тогдашней советской жизни людей, которые в своем кругу настолько прямо и откровенно говорили о самом что ни на есть немислимом, безумном, запретном; к тому же в пору наибольшей, чуть ли не интимной, прощальной нашей взаимной доверительности и близости, в последние недели перед моим отъездом из Ленинабада, она раскрывала перед мной не только свою душу, но и многие темные моменты своей жизни, однако, о таких своих похождениях, о таких заслугах перед ненавистным ей сталинским режимом она и намеком не обмолвилась.

Нет, не была она разведчицей. Щедрость советской казны к Гелибтерам объяснялась, видно, другими расчетами, другими тактическими установками властителей московских. Им нужна была поддержка не одних коммунистов на Западе, особенно ценным им виделось как раз сочувствие и содействие «прекраснодушных», «левой» и леволиберальной интеллигенции, людей с именем и влиянием; а для «вербовки» таких — как их стали сегодня называть с легкой руки шефа КГБ Крючкова — «агентов влияния» подходили наилучшим образом именно люди, привлекательные то ли умом, то ли — если это женщины — красотой, и конечно же, знанием языков. Для подобной задачи Ида представляла собой исполнительницу идеальную, тем более, что до своей достопамятной, сыгравшей

некоторую роль и в моем развитии, психологически ошеломляющей поездки в Москву в 1932 году она, по всей видимости, вполне искренне верила в святое «дело пролетариата». Щедро оплачивались не столько прямые услуги инженера-толкача — коммерсанта Гелибтера, сколько косвенное воздействие, аура его жены.

Нет сомнения, такие «салоны», содержащиеся кремлевской идеологической империей в большом числе по всему миру, обходились народу в немалую копеечку. И все же их стоимость не шла ни в какое сравнение с расходами на непосредственную подрывную работу коммунистических партий, на разжигание «мирового пожара». Салонная пропаганда была, если сопоставить ее с пропагандой митинговой, уличной, листовочной, делом безобидным и даже респектабельным, в каком-то смысле. И если были обмануты многочисленные «мастера культуры», составившие своеобразный живописный фон мрачной драмы, выдаваемой за солнечную идиллию и тем временем перераставшей во все более кровавую трагедию, то это объяснялось не в последнюю очередь естественной антикапиталистичностью западной интеллигенции, как буржуазной, так, тем более, и богемной. Без такой врожденной склонности интеллектуальных мечтателей клюнуть на любые, пусть самые демагогические, мирообновительные идеи и лозунги, все умственные и физические флюиды и чары Иды — здесь говорю о ней собирательно, как о типе — оказались бы потраченными впустую.

Однако, столь неоднозначная фигура Иды занимает в воспоминаниях моих о детстве не только потому такое видное место, что с нею связаны некоторые сложные переживания той поры. Она являлась единственным встреченным мной живым, конкретным воплощением особой категории людей, характерной для нашего правящего класса, нашей социальной элиты двадцатых и начала тридцатых годов — элиты, давшей начало «номенклатуре», но именно «номенклатурой» затем и вытесненной. А над сущностью и судьбами этого слоя я немало размышлял в самые разные периоды жизни, да не я один, конечно.

Странные это были люди. Они были глубоко убеждены, что в мире нет ничего благороднее дела, которому они посвятили жизнь свою и требовали жизни всех — дела устранения эксплуатации человека человеком. И если они непосредственно служили этому делу, то все остальные должны были служить ему опосредованно — служба им. Известна острота: при капитализме — эксплуатация человека человеком, при социализме же — наоборот. Но острота эта, насколько мне известно, появилась лишь в эпоху «номенклатуры», когда цинизм новой идеологической касты стал притчей во языцех.

Иде же надо отдать должное: она прозрела очень, очень рано. Точнее, сумела здраво и трезво оценить очевидное. Не в пример отцу моему, да и матери.

Нет, в зрелую «номенклатуру» Ида не вписывалась бы.

## 7.

Когда мне исполнилось шесть, я пошел, как в Германии полагалось, в начальную школу.

Наряду с соображениями транспортными, именно столь раннее начало обучения побудило родителей отдать меня не в посольскую, а в немецкую «народную» школу. Они всегда сомневались в мудрости действовавшего тогда у нас установления, по которому школьный возраст был определен в восемь лет, да велено было придерживаться сего строго — чтобы не позже, но и не раньше! Что же касается меня, то к шести годам я не только довольно свободно читал на двух языках, не только сочинял немецкие стишки, но и более или менее прилично знал географию, так как не расставался с карманным атласом-справочником издательства Моссе (который у меня сохранился вплоть до самой войны), и был по крайней мере поверхностно, чисто словесно знаком с общими понятиями истории и с некоторыми культурными эпохами, пусть в отцовском марксиствующем освещении.

Конечно, в то пасмурное весеннее утро, когда я, такой же неуверенный и сконфуженный, как и все дети рядом со

мной, вступил в огромную, мрачную, с серыми стенами и черными рядами парт классную комнату, я оказался умственно куда развитее большинства из них. Они даже были, или казались мне, более неотесанными, тусклыми, безликими, чем те, с кем я встречался, а иногда и играл во дворе нашего дома. Впечатление это, правда, быстро улетучилось — точнее, я быстро привык к ним. Но вот классный учитель наш, высокий, грузный, коротко остриженный седой человек с широким, почти квадратным лицом и пенсне на приплюснутом носу, сразу же с каким-то поистине непогрешимым «классовым инстинктом» стал распределять нас по рангам — меня он усадил за первую парту, рядом с бледным, худеньким мальчиком, одетым забавно-шикарно и разглядывавшим всех веселыми, хитренькими глазами, который оказался сыном преподавателя гимназии по фамилии Цельвиц; справа от нас, у двери, с первого же дня сидели малыш Бернштейн и толстощекий, весь розовый парнишка с аккуратным пробором в удивительно блестящих, ухоженных русых волосах; а вдоль окон сидели девочки, и в первом ряду — я их фамилии до сих пор помню — Эльснер и Шен.

Странное правило, что лучшие ученики должны сидеть впереди, было для немецких школ, видно, традиционным. А на то, кто будет лучшим учеником, у нашего учителя был наметанный глаз. Частично он это определял, разумеется, по чисто внешнему виду, по одежде: в народной школе обязаны были учиться все дети без исключения, лишь после четвертого класса более достаточные могли перейти в гимназию; а в нашем районе преобладало как-никак население «задних дворов», то есть серых корпусов, возвышавшихся позади каждого парадного дома и образовавших с ним двор-колодец, а там жила беднота, и трудно было предположить, что первоклашки из мира «задних дворов» будут так же, как отпрыски обеспеченных семей, уже заранее знать и уметь многое из того, что преподается на первых порах в школе. Наряду же со «встречей по одежке» учитель полагался, надо думать, на физиогномический опыт, на выработанное годами чутье — оно и на этот раз,

надо сказать, не подвело его, ибо мы, четверо «первоскамеечников», так-таки явно оказались лучшими учениками.

Но и среди нас выделялся какой-то интеллигентной, взрослой непосредственностью, особой, деловитой непринужденностью, с которой он тут же подробно и уверенно отвечал на любой вопрос учителя, симпатичный коротыш Бернштейн, который был ниже меня минимум на полголовы, да и вообще, кажется, самый маленький в классе. Он внушал мне самое настоящее уважение, притом, как я ни был вообще-то тщеславен, без малейшей тени обычной ребяческой зависти, и я, естественно, использовал первый же удобный случай, чтобы попытаться завязать дружбу с ним. А тут он не только, к моему восторгу, охотно пошел мне навстречу, но даже, казалось, и сам обрадовался этому!

С тех пор я часто стал бывать у него и дома. Его отец был владельцем бакалейного магазина, на вывеске которого красовалась ностальгическая надпись «Колониальные товары». Хотя Германия в первой войне мировой потеряла все свои колонии, сохранение такого названия считалось, очевидно, не то доказательством непреклонного патриотизма, не то признаком приверженности традициям, а может быть, и просто служило привычной приманкой для покупателей — в Берлине почти все бакалейщики оставались верны старому наименованию. Позади магазина, за массивной дверью, находилась уютная, с тяжеловатой резной мебелью комната, предназначенная для отдыха хозяина и его жены, если не было клиентов. Новый приятель мой приводил меня сначала именно сюда, здесь нас угощали чем-нибудь вкусеньким, а когда заходил папа Бернштейн, он снисходительно, но довольно остроумно шутил с нами.

Однако, вскоре меня стали приглашать и вечерами — квартира Бернштейнов находилась в соседнем с магазином доме, на втором или третьем этаже. Фрау Бернштейн и ее миниатюрная, быстроногая горничная-кухарка явно гордились своим поварским искусством, и они угощали меня с такой внимательностью, как будто я авторитет-



гурман, от признания которого зависит их кулинарная репутация.

Но особенно мне импонировало, что Бернштейн играл со своим отцом в шахматы. Это казалось мне прямо-таки непостижимым. Я нередко до этого с любопытством и некоторой завистью наблюдал, как мой отец расставлял загадочные фигурки и садился напротив гостя, и они часами, наклонившись над клетчатой доской, передвигали эти фигурки таинственным образом с одного поля на другое, но при этом и мысль у меня не появлялась, что я и сам мог бы научиться так колдовать. А вот Бернштейн счел дружеским своим долгом показать мне ходы мистических фигур и терпеливо растолковать основные правила игры. Правда, я и после этого отнюдь не смел думать, что готов сразиться с кем бы то ни было, но похвастаться перед отцом своими новыми познаниями мне показалось очень уж заманчивым, а его несколько снисходительная и слишком благожелательная улыбка задела меня за живое. Она задела тщеславие мое. Пробудившаяся жажда самоутверждения, стремление показать, что я не такой уж несмышлениш, подстегнули меня до такой степени, что я стал грезить этой игрой, напряженно следил за партиями и в доме Бернштейна, и у нас — хотя скоро понял, что отец отнюдь не сильный игрок, и как-то незаметно я из простого зрителя превратился в критика многих его ходов, начал вслух высказывать свои суждения и как-то довел его до того, что он в присутствии гостей предложил мне сыграть с ним — а потом не скрывал своей радости, что выиграл у меня, но вместе с тем и удивления, что выиграл-то с трудом. И его гордость моей сообразительностью, и моя убежденность в случайности поражения, и добродушное подзадоривание смеющихся гостей — все это в сущности было несерьезно... И ничуть не предвещало того значения, которое шахматы приобретут в моей жизни!

Однако, в один прекрасный день господин Бернштейн — мы, помню, сидели за столом и что-то ели — с необычно серьезным выражением лица обратился ко мне и сказал, что его очень радует наша дружба с сыном его, мы

обязательно должны всегда держаться вместе, ведь мы единственные евреи в нашем классе. Я был озадачен. Разумеется, мне не раз приходилось слышать и от матери, и от разных знакомых, что мы, мол, семья еврейская, но что это, собственно, означало, мне никто толком не говорил. А в школе я был освобожден от уроков религии как «свободомыслящий (так это называлось официально — слова «атеистический» или «неверующий» совершенно не были в ходу!) иностранец» — об этом отец, конечно же, своевременно позаботился. И вот в смятении своем я глупейшим образом брякнул:

– А вы разве тоже евреи? —, хотя безусловно знал, что друг мой ходит на отдельный урок религии, «для учеников моисеевой веры», да понимал, что здесь слово «моисеев» означает именно «еврейский», уж настолько я был наслышан в религиозных делах! Господин Бернштейн, естественно, был крайне поражен:

– Разве ты не заметил сразу же?

Я оказался в поистине нелепом положении. А тут вдруг вспомнил фразу, как-то с наставническим видом произнесенную при мне отцом:

– Да, но ведь в наше время, я думал, это не имеет никакого значения.

Господин Бернштейн нахмурил лоб и сказал с особым напором, сосредоточенный и грустный:

– Да еще какое! Тебе еще часто придется с этим сталкиваться, увидишь. Это называется антисемитизм. Вражда к евреям. Как раз в наше время возвращается самое худшее, что когда-либо было в истории, у вас там и здесь, в Европе.

При этих словах мне стало немного не по себе, и впервые в душу закралось что-то вроде зловещего предчувствия. Вечером я спросил отца, что это такое, антисемитизм, и как мне к этому относиться. Он посадил меня рядом с собой и стал внушать, что это-де особое средство, которым буржуазия пытается отвлечь рабочий класс и других трудящихся от классовой борьбы, средство гнусное, но ведь все средства, применяемые буржуазией, гнусны,

мне же не стоит ломать над этим голову, ибо когда я вырасту, буржуазии уже не будет, а значит, не будет и антисемитизма — а впрочем, мы вовсе и не настоящие евреи, мы коммунисты.

Когда я пересказал господину Бернштейну, в общих чертах, «мысли» отца, он лишь печально-удивленно покачал головой, а затем улыбнулся какой-то безнадежной и вместе с тем ироничной улыбкой.

Еще одно яркое воспоминание, связанное с первым моим школьным товарищем, относится уже к концу учебного года, а может быть, к пребыванию нашему в «седьмом» уже (втором по русскому счету) классе — хотя мне кажется, что учитель был тот же, самый первый, а классные руководители ведь каждый год менялись...

У самого окна в первом ряду сидела девочка по фамилии Эльснер, выделявшаяся и внешним видом, и поведением своим. У нее были очень густые каштановые волосы в крупный локон, слегка смугловатый цвет кожи и правильные черты лица, живые, нахальные, серые (или голубые) глаза, носила она обычно пестро расшитые в южногерманском, кажется, народном стиле кофты и пуловеры; вообще же она, как я теперь понимаю, была броско-смазлива в духе тех, двадцатых годов. Она часто улыбалась мне, а иногда подходила и откровенно, чуть ли не по-взрослому заигрывала со мной, а однажды даже сказала, глядя мне прямо в глаза, что я красивый мальчик — но до меня совершенно не доходил смысл всего этого. И вот эта Эльснер наметила себе трех или четырех девочек с задних парт в качестве своего рода штатных жертв — в перемену она обязательно подходила к той из них, что случайно первой попадалась на глаза, подходила или нарочито медленно, точно кошка перед прыжком, как бы растягивая секунды напряжения и ожидания, или же наоборот, очень решительно, внезапно и быстро, удивительно ловко, можно сказать, натренированно поднимала то правую, то левую ногу и давала жертве пинок за пинком, а как только учитель после звонка появлялся в классе, она поднимала руку и с злорадным торжеством

завзятой ябеды заявляла, что такая-то нарочно наступила ей на ногу, или толкнула ее, или что-нибудь подобное. И вот тут начиналось самое странное, поразительное: на первый же вопрос учителя жертва неизменно с потупленным взглядом признавалась в своем проступке, а бывало, и просила прощения! Гротескность этих признаний была настолько очевидна, что учитель, сам смущенный, лишь изредка, и то с видимой неохотой, ставил «провинившуюся» в угол. Естественным объяснением такого невероятного, но регулярно повторявшегося зрелища было у всего класса одно: страх — птички просто смертельно боялись чертовки Эльснер; ну а трусость ни у кого не вызывала сочувствия. Правда, отец мой, услышав мой рассказ об этих чудесах, тут же выдвинул совершенно другую версию: родители бедных девочек, по-видимому, экономически зависимы от богатых родителей Эльснер и, не обладая должной пролетарской сознательностью, запретили своим детям сопротивляться дочке хозяев.

Как бы ни было сильно отвращение, с которым я стал со временем относиться к идеологии отца, мне и сегодня объяснение это не кажется уж совсем неправдоподобным. Но вместе с тем все же думаю, что психологически точнее будет менее прямолинейное, менее нарочито-поверхностное толкование. Тот менталитет, те общественно-психологические гены, которые тогдашние немцы впитывали с молоком матери, предрасполагали уже в малолетстве к чисто инстинктивному преклонению перед любой властью, к безотказному подчинению силе в любой ее ипостаси. А Эльснер была очень сильна — и дерзостью, и вызывающей уверенностью в себе, и богатством родителей, и красивой одеждой, и красивым лицом, и лучшей успеваемостью, а главное, наполнявшим ее всю чувством «хозяйки жизни». Это явственно ощущал даже я, чьи общественные гены как никак резко отличались от характерной психологической наследственности одноклассников. Но вот однажды...

Рядом с Эльснер за первой партией сидела ее подружка, беловолосая и белокожая девочка с кукольным личиком,

не очень бойкая, малозаметная в классе, по фамилии Шен. Она-то в один прекрасный день пожаловалась учителю, что из ее кошелька, лежавшего на парте, исчезла марка (в то время это для нас, детей, была приличная сумма — например, вафля шоколадного мороженого стоила, если мне не изменяет память, 15 пфеннигов). Тут мгновенно поднялась Эльснер и самым искренним как будто голосом сказала, что видела, как Хофман — это была «заднескамеечница», не входившая, однако, в число вечных жертв Эльснер — подобралась к кошельку, открыла его и убежала. Тогда вскочил Бернштейн. Его трудно было узнать. Всегда такой ровный и мирный, он вдруг весь побагровел. Он дрожал и дергался всем телом, и из него бурным потоком не то что полились, а захлестали, заклокотали слова:

— Ты врешь, врешь! Хофман сидела там, она и не двигалась, а ты сама взяла портмоне, и Шен это видела и ничего не сказала! А ты лгунья, лгунья, лгунья! Ты мучаешь других девочек, все время мучаешь их, и лжешь учителю, и думаешь, что ты самая умная, а ты совсем не умная, и ты издеваешься над ними, потому что они бедные, ты бесстыдная, подлая, наглая...

Учитель прилагал все старания, чтобы успокоить, охладить его, и даже ласково погладил его волосы, чего он никогда еще не делал. Но в этот момент Шен, невозмутимо следившая за всей сценой, не моргнув глазом медленно открыла кошелек и с удивлением, показавшимся мне наигранным, вскрикнула:

— Ой, да марка же здесь! Она просто скользнула вот под эту бумажку!

Учитель, не проронив больше ни слова, тотчас же ударил линейкой по столу и поспешно объявил, что мы пишем диктант. Когда же прозвенел звонок, Эльснер к полнейшему моему изумлению как ни в чем не бывало подошла ко мне и с кокетливой улыбкой, даже как-то игриво сказала:

— Ну, ты ведь не такой, как этот дуралей Бернштейн, а?

Где-то в конце 1930 года или чуть позже берлинскую детвору захватил тот вихрь всеобщей, всепронизывающей политизации, о котором я уже говорил.

Это было нечто иное, чем ранняя зараженность политическими страстями, характерная для детей в семьях идеологически фанатизированных и партийно-активных родителей. С такими-то детьми я встречался часто, и не только при «пропагандистских акциях», когда они расклеивали листовки, писали лозунги, рисовали на стенах домов и парков серп с молотом или виселицу с повешенным да броской подписью «Крупп» или «Брюнинг» (фамилия тогдашнего канцлера), а я стоял в дозоре. Куда ближе я их узнавал при воскресных поездках за город, когда мы отдалялись от взрослых, погруженных в вечные занудные «дискуссии», как они называли столь милую их сердцу взаимную агитацию, взаимное утверждение в истинах, давно среди них утвержденных. Мальчики и девочки, одноклассники мои или чуть старше, действительно жили представлениями, внушенными им сызмала, буквально со дня, когда они стали произносить первые слова — о том, что они должны стать «классовыми борцами пролетариата», и надо сказать, они относились к этой своей миссии чрезвычайно серьезно, не только с детским рвением, но и с настоящим, внутренним уже горением. При этом головы их были наполнены всякими социологическими и историологическими понятиями, о подлинном значении которых даже воспитавшие их взрослые имели лишь самое общее, самое схематическое, самое мистифицированное и манипулированное представление. Тем не менее дети эти повторяли их, как будто это самые однозначные и общепонятные слова на свете.

Знаю, судьбы их сложились по-разному. Многие впоследствии сделались такими же яркими приверженцами Гитлера — заложенный в них заряд фанатизма не мог не искать выхода, невзирая на предполагаемую противополо-

ложность направлений, на различия окрасок, на обоюдные проклятия и поношения двух идеологий.

Но здесь я имею в виду политизацию иного рода. Она была прямым отражением общей политической лихорадки в городе, плодом не воспитания, а атмосферы. Очагом распространения ее была не семья, а улица, двор, в особенности же школа. Да, как это ни странно, в особенности школа.

О том, что наш класс и наша школа не составляли исключения, я был наслышан достаточно, причем с самых разных сторон — о спорах и драках на политической почве рассказывали и ребята во дворе, и футбольные фаны на стадионе Экзер, и юные коммунисты, и их родители, а однажды я видел серьезный анализ этого явления в какой-то либеральной газете, лежавшей на столе в эркере и открытой именно на этой статье — видимо, отец ее проштудировал, но меня ни о чем все-таки не расспрашивал, его тут интересовали политические перипетии, а не мои переживания, не мои «подвиги».

Началась своеобразная эта борьба партий в миниатюре еле заметно, исподволь еще в «седьмом» классе: совсем недавно прошли выборы в рейхстаг, сопровождавшиеся невероятным агитационным шумом и грандиозными спектаклями-демонстрациями, результаты же свидетельствовали об ошеломляющем росте влияния крайних партий, коммунистов и особенно нацистов — а в Берлине как раз коммунисты оказались, к несказанной радости отца и его гостей, победителями! Поэтому лишь каким-то милонаивным отголоском нарастающей большой бури выглядела похвальба «своими» успехами на выборах, которой оглашались коридоры и двор школы буквально на каждой перемене. Не только класс наш, конечно, но и вся толпа школьников, заполнявшая огороженный мрачными кирпичными стенами двор, вдруг состояла из двух лагерей, между которыми постоянно бушевал и все усиливался поток ругани, насмешек и угроз. Но у нас, семи- и восьмилетних, все это принимало особые черты — с одной стороны, здесь было много игры, настоящей детской игры,

когда, скажем, при очередной, по-политически грубой остроте насчет противника «своя» партия хором заливалась смехом или когда прямо в классе проводилось «тайное голосование» за те самые, крайние, политические партии, как будто других партий и не существовало; но с другой стороны, мы искреннее, пожалуй, чем ребята постарше воспринимали свою «борьбу» как непосредственную часть большой борьбы за судьбу Германии, мы и на самом деле были полны уверенности, что от исхода ее что-то зависит!

Однако, в следующем, «шестом» (т. е. третьем) классе противостояние стало приобретать более серьезные формы.

После летних каникул состав нашего класса сильно изменился: уже не было девочек вдоль окон, вместо них в том ряду сидели новые, никому из нас не знакомые, бог знает как настроенные парнишки. Ушел то ли из школы, то ли из нашего класса друг мой Бернштейн, с которым я теперь встречался лишь изредка у него дома или в парке. Пришел новый учитель, господин Вегенер. Был он немислимо толст и жирен, лицо его всегда блестело так, словно его помазали сливочным маслом и неаккуратно вытерли. Вспоминаю его исключительно в одной позе, в одном виде: с упругой палкой в руке, при любом неправильном или нерешительном ответе ученика торжествующий смешок, маленькая, пухлая, лоснящаяся от жира левая рука подманивает неудачника, а палка тем временем так и дрожит от нетерпения, в узеньких бойницах глаз что-то внезапно зловеще вспыхивает, затем лицо густо краснеет, неожиданно энергичным движением левой он хватает руку дрожащего мальчика, палка резко вскидывается и тут же короткими, крепкими ударами обрушивается на беспомощно дергающиеся пальцы. Он очень сердился на меня за то, что я всегда отвечал уверенно и правильно, но при всей досаде был справедлив — не бил.

Главное, однако, состояло в изменившихся формах политической конфронтации. Теперь по пути домой из школы почти каждый день возникали настоящие драки, в которых принимали участие уже ученики разных классов,



а на стороне нацистов иногда и какие-то подозрительные парни, окончившие уже, должно быть, школу (ее оканчивали в четырнадцатилетнем возрасте). Это было что-то стихийное, бесцельное, спонтанное, это были драки ради драки, и никто не обращал внимания на то, как они возникали. Но вместе с тем, в самой школе теперь проводилась и вполне серьезная агитация, вербовка учеников учениками же, вербовка колеблющихся или детей из семей некоммунистических и ненацистских — скорее всего социал-демократических (хотя мой сосед по парте Цельвиц мне однажды не без тайной гордости шепнул, что его отец не такой, как все — он на выборах всегда голосует за Немецко-национальную партию; о чем я с недоумением рассказал дома, и услышал дежурную отцовскую сентенцию, что-де «немецко-национальные, возможно, самый опасный резерв прусских помещиков и крупнейшего капитала, играют они на патриотических чувствах и предрассудках мелкого буржуа»), но нередки были и попытки перевербовки «убежденных» коммунистов нацистами, и наоборот. До чего доходил этот наивно-азартный угар, показывает хотя бы такой совсем анекдотичный случай, когда в «наци» хотели обратить меня — а ведь все знали, что я иностранец, к тому же «свободомыслящий», да и о еврейском моем происхождении не так уж трудно было догадаться, надо думать. Но при этом — устами младенцев глаголит истина! — подсланный ко мне ясноглазый мальчик по фамилии Хеннинг, сам недавний «прозелит», изрек фразу, казавшуюся мне, тогдашнему, просто нелепой, абсурдной, а может быть, хитрой пропагандистской выдумкой — что между коммунистами и гитлеровцами разница, дескать, невелика, они говорят разное, но думают об одном. Лишь когда много лет спустя я стал сам писать на эту тему, мне вспомнился тот «пророческий» разговор.

Хотя политическая жизнь школы была, разумеется, сколком горячечной политической жизни страны, кое в чем класс наш все-таки представлял собой если не самодовлеющий, то самостоятельный микрокосмос. Начать с того, что у нас имелась своего рода «харизматическая

личность», сильно влиявшая на качание политических весов, на расстановку «боевых сил» внутри этого микрокосмоса. Фамилия парня была Байер. Хотя ему, конечно, тоже было семь, а потом восемь лет, как всем нам, в нем уже четко и недвусмысленно чувствовалось призвание демагога. По сей день удивляюсь, как ему удавалось так уверенно держать в руках, направлять, вести за собой по любому, пусть самому неожиданному курсу такую большую группу одноклассников. Очень часто он, лишь только успел учитель после звонка покинуть класс, быстро подходил к столу, поднимал руку и спокойным, но твердым тоном приказывал:

– Слушайте все!

Вслед за этим он произносил коротенькую речь на какую-либо тему, почерпнутую, видно, из газеты или радиопередачи, но получавшую теперь благодаря какому-то неподражаемо-искреннему звучанию голоса и обильному применению столь близких нашему сердцу выражений берлинского школьного жаргона совсем особый поворот, совсем особую окраску. На переменах его всегда окружала стайка самых преданных приближенных, на которых он беспрерывно влиял разнообразными, весьма действенными психологическими приемами, хотя и выбранными, несомненно, чисто интуитивно, даже инстинктивно, но вполне соответствовавшими, как мне теперь видится, изоощренным, «научно обоснованным» средствам, выработанным такой уважаемой дисциплиной, как групповая психология. Умело пользовался он внутри этой группы и древнейшим принципом кнута и пряника — кто казался ему не безусловно и безгранично верен, кто хоть мгновение колебался в проявлении энтузиазма и восторга, когда это ожидалось от него, тот немедленно изгонялся из круга и ни под каким видом больше не допускался, лишившись самого дорогого — ощущения избранности, сознания, что его считают своим. Не из такого ли теста вообще делаются удачливые политические лидеры, «герои» истории? И вот этот Байер в шестом классе был ярым коммунистом, а во время летних каникул «переродился» и в пятый при-

шел столь же ярим, но, пожалуй, еще более искусным агитатором-нацистом.

И все же сомневаюсь, что это он в тот беспокойный год сумел вдруг повернуть столько бывших «красных» наших на сто восемьдесят градусов и внушить чуть ли не всему классу свою собственную новую, нацистскую веру.

Нет, надежды отца моего, что где-где, а в нашем районе влияние «подлинных пролетариев» превратит, с обострением экономического кризиса, «каждый квартал в красную крепость», оказались построенными на песке, и объяснялась эта его близорукость отнюдь не просто догматической мечтательностью, свойственной лично ему — даже местные коммунисты, замороженные мистической марксистской фразеологией, чистосердечно верили, что являются не только «авангардом Красной Армии» (так они сами пели в самой популярной своей песне), но и авангардом своего народа или хотя бы рабочего класса. Они гротескным образом обманывались насчет настроенности, умосостояния, ментальности «человека с улицы», а ограниченная Берлином победа на выборах окончательно ввергла их в беспробудный экстаз, в длительную эйфорию. Но как раз откровенное их упование на триумфальный «освободительный поход» вооруженных сил «братьев по классу» с Востока, широковозвещенная готовность их всеми средствами содействовать всемирному разрушению «до основания, а затем...» (так они пели в самой торжественной своей песне), толкала не только миллионы мелких собственников, но и миллионы самых что ни на есть «подлинных пролетариев» в объятия Гитлеру. И все-таки: как ни играла на руку нацистам коммунистическая идеология, про советская пропаганда, никто не мог игнорировать роль Байеров, сотен взрослых Байеров. В том числе и главного Байера, по фамилии Геббельс.

Я ощущал нарастание этого психополитического кризиса не только в школе. Еще раньше напряженность стала обостряться на Экзере. Так называлась обширная свободная территория посреди густой застройки шумного города, когда-то служившая экзерцир-плацем кайзеровской армии,

а теперь поделенная на две странно-контрастные части, как бы аристократическую и плебейскую. Ближняя из них, окруженная ажурной металлической да легкой проволочной оградой, представляла собой целую сеть ухоженных аллей с уютными скамейками под могучими липами, гармонично окаймлявших множество прямоугольников разного размера, в которых помещались футбольные поля, теннисные корты, легкоатлетический стадион, большой летний ресторан с кукольным театром под открытым небом, а зимой и огромный каток. Дальняя же часть, огороженная темнокрасной кирпичной стеной с одним единственным отверстием-входом, являла внутри не очень привлекательный вид — здесь посадили лишь узкую полосу довольно чахлах деревьев вокруг большого пыльного пространства, где на регулярном расстоянии друг от друга были расставлены простые, без сеток, футбольные ворота. Но как разительно они ни различались между собой, обе части для нас были единым раем. Для нас, мальчишек, одержимых футболом. Не помню, как это у меня началось. Во всяком случае, чисто болельщический, зрительский интерес к командам — и взрослым, и юниорам —, обосновавшимся, обычно в специальных помещениях при пивных, вокруг Экзера и оспаривавших год за годом особый «кубок Экзера», пробудился у меня совсем рано. До сих пор, после стольких десятилетий, после стольких потрясших мир событий, помню названия, цвета, форму тех далеко не знаменитых клубов — «Алеманния 90», «Метеор», «Титания», «Фаворит» и других! Но потом, когда мне стукнуло восемь, я и сам возомнил себя футбольным талантом и стал чуть ли не каждый день убегать в ту самую, плебейскую часть нашего рая — там почти на каждом поле, а иногда и между деревьями состязались импровизированные команды, чаще всего они состояли из безработных, не жалевших ради такого удовольствия свою, может быть, последнюю пару ботинок; но не отставали от них ни сверстники мои, ни ребята постарше — команда возникала за командой, защитник через полчаса превращался в нападающего соперника или вратаря нового про-

тивника; мячи бывали иногда вполне приличные, «настоящие», но зачастую и резиновые, детские. Я же вскоре специализировался на роли вратаря, точнее, на роли «Хидена» или «Заморы» — ибо берлинская футбольная ребятня называла своих голкиперов не иначе, как ставшими нарицательными, символическими, да и вдохновляющими именами австрийской и испанской звезд. И вот в этом своеобразном мирке приблизительно с осени 1930 или весны 1931 года политические споры и раздоры все чаще стали нарушать, а постепенно даже и подменять собой, спортивные сражения — а среди детей это происходило в не менее, если не более острой форме, чем у взрослых! По мере общей эскалации напряженности, общего возрастания накала борьбы и страстей юные нацисты все охотнее прибегали к недозволенным приемам, чтобы развязать драку. Кончилось тем, что «коричневые» и «красные» полностью отделились друг от друга и стали проводить собственные матчи, но с изменением политической обстановки и здесь угрожающе стали множиться ряды «коричневых». А однажды вечером, рассказывали, на плебейском Экзере произошло настоящее побоище, после чего его на несколько дней закрыли...

## 9.

Мы остались втроем, Гримбергер, Бэме и я.

Трое «непоколебимых», когда волна нацистского энтузиазма, ожидания спасителя-Гитлера уже захлестнула и весь наш класс. Это было ранней осенью 1932 года.

Правда, перед ноябрьскими выборами — в том году Германию сотрясала нескончаемая вереница самых разных избирательных кампаний — общие настроения опять слегка изменились в тональности своей (что сказалось и на результатах голосования), и какой-то отзвук этих колебаний чувствовался даже среди наших одноклассников. Однако, длилось это недолго, буквально считанные дни, затем наступил тем более решительный поворот на преж-

ною колею. Байер торжествовал, его речи становились все яростнее. Но в один прекрасный день он сделал неожиданный ход. Выступая утром, в тускло освещенном еще классе, перед не остывшими еще от домашних и уличных дел ребятами, он, не обращая внимания на открывшего дверь учителя, вдруг поставил «всем подлинным юным «гитлеровцам» задачу «привлечь Гримбергера и Бэме на сторону немецкого народа». Тогда быстро и как-то по-особому энергично поднялся Гримбергер и нарочито громко произнес:

— Меня вы не заполучите никогда.

Покоренный его смелостью, я сделал невероятную глупость — также встал и столь же громко и решительно заявил:

— И меня тоже никогда.

На что Байер вполне резонно ответил:

— А ты нам и не нужен.

Между тем, на мою детскую веру в правильность и праведность «великого учения» и ведущего к его осуществлению пути, упала первая, еще совсем-совсем слабенькая тень, когда летом 1931 года Гелибтеры вернулись из отпуска, проведенного на Черном море. Впечатление от услышанного тогда было настолько необычно, что помимо моей воли врезалось глубоко в память, и весь эпизод всплывает сейчас перед внутренним взором моим во всех деталях.

Был звонок в дверь, и мать, смотревшая не то мои домашние уроки, не то стихи или рисунки мои, быстро выскользнула в переднюю, чтобы открыть. Я услышал ее удивленный возглас:

— Как это, ты? Приехала?

Через полуотворенную дверь комнаты я увидел Иду, загорелую, пышущую здоровьем, одетую странным образом в кожанку того типа, который был чрезвычайно моден тогда в определенных кругах Москвы, но совершенно не подходил для берлинского конца лета — и это при том, что она всегда ведь столько внимания уделяла одежде и внешнему стилю! По-видимому, она не успела даже распаковать

чемоданы, настолько ей не терпелось излить душу матери.

Как только она села за стол, она с какой-то не свойственной ей обычно, не подходившей к ее цветущему виду, угрюмой серьезностью, чуть дрожащим голосом промолвила:

— Ты не можешь даже вообразить, как у нас обстоят дела! Мы здесь сидим и представления не имеем, что там происходит.

И она начала рассказывать, медленно, обстоятельно, временами с неподдельной горечью, нередко зло или скорее сердито, изредка с саркастической нотой, тогда полные ее губы нервно вздрагивали: как толпы изможденных, одичавших крестьян в лохмотьях тянутся в города, валяются на вокзалах, на улицах, в скверах, какая тьма беспризорников ютится в подвалах и на чердаках полуголодной Москвы, какие слухи о большом голоде в ближайšie месяцы ползут по всей стране, и многое другое в том же духе. Мать слушала изумленно, но недоверчиво, то и дело вставляя недоуменные вопросы, вроде «Ты не станешь утверждать, что даже для детей нет молока?» или «Неужели ты думаешь, что это продлится еще месяцы?» или «Разве можно верить таким слухам?», а затем «Ты мне хочешь внушить, что крестьянам сейчас хуже?» Правда, в конце Ида с едва заметным налетом внутренней неуверенности все же сказала, что страну тем не менее ждет великое будущее — не знаю, хотела ли она лишь как-то утешить мать, имела ли в виду вообще гигантский потенциал России, а может быть, сама душой цеплялась за мечты ранней своей молодости, когда в вихрях гражданской смуты восторженным юношам и девушкам виделась заря небывалого мира, а многие из ее, Иды, товарищей жертвовали ради этого видения жизнью, юной своей жизнью.

К сожалению, реакции отца моего, когда мать ему, не сомневаюсь, передала рассказ Иды, я не видел. Но я ее знаю. Отчетливо представляю себе.

Примерно год спустя этот неожиданный визит мне невольно вспомнился — по другому случаю, чем-то, одна-

ко, схожему с тем поразительным эпизодом. А дело было вот как. Я с ранних лет усердно читал газеты, и со временем к футбольным и политическим сообщениям прибавились криминальная хроника, кинорецензии, разные персоналии, а затем вполне серьезные вещи — эссе, публицистика, передовые. Получали же мы исключительно немецкие газеты более или менее левого направления (то, что я тогда не видел русских газет, показывает совершенно анекдотичный казус, случившийся вскоре после возвращения в Москву: я заболел скарлатиной, меня поместили в Боткинскую больницу, а там соседом по палате оказался живой, смысленый паренек чуть старше меня, который, узнав о моем житье-бытье в Германии, вздохнул — жаль мол, что к власти пришел Гитлер, я же стал возражать, что не Гитлер, а Хитлер, мы поспорили, но каждый остался при своем мнении — значит, я до этого ни разу не видел русского написания этой фамилии!), однако, любопытство мое возбуждали и буржуазные газеты, либеральные, консервативные, даже полуфашистские, и у меня развилась привычка читать их первые страницы, стоя у газетного киоска или магазинчика, где они выставлялись. И вот как-то раз мы с матерью были в западной, наиболее оживленной и богатой части Берлина, и пока она разглядывала разложенные и развешанные перед одним из универмагов товары, я по привычке подошел к ближайшему киоску — и у меня захватило дух: прямо на меня смотрел огромный, набранный жирными, мощными буквами — русскими буквами! — заголовок «ГОЛОД В РОССИИ», а под ним фотография почти во весь лист, на которой несколько человек, страшно изнуренных, очумелых, в невообразимом рванье, среди них женщина с завернутым в грязные тряпки ребенком на руках, пытались залезть в обшарпанный товарный вагон, точнее, пихали и отталкивали друг друга, сиюсь пробраться с тощими своими мешками внутрь этой спасительной теплушки; по каким-то трудноопределимым частностям чувствовалось, что выхвачено это из самой жизни, что ничего здесь нет нарочитого, что сцена эта не из ряда вон выходящая, а скорее привычная, типич-



ная. Я был настолько ошеломлен, что не решился показать матери свое открытие. Но вечером родители все же заметили, что со мной происходит что-то неладное, и после долгих их уговоров я все рассказал. Отец был вне себя. Неужели я хоть на миг мог поверить в подобную подлость, бессовестную, наглую белогвардейскую пропаганду, неужели не сразу понял, что изобретатели этой грубейшей лжи не что иное, как русские нацисты, неужели не сообразил, что фотография взята из времен гражданской войны, неужели не знаю, что даже немецкая буржуазная пресса не поддается на такие гнусные измышления. Отец сумел меня убедить: в конце-то концов, газета действительно не могла не быть белогвардейской, вполне естественно было предположить, что она симпатизирует Гитлеру, о состоянии страны в годы той самой послереволюционной заварухи я уже был наслышан и начитан, а немецкая пресса и на самом деле с удивительной беззаботностью, бесчувственностью, если не заносчивостью пренебрегала столь, казалось бы, выигрышным, сенсационным материалом.

Но во всем этом деле меня потом долго, пусть безотчетно, смущало одно странное обстоятельство. Как ни был разъярен отец «фальшивкой белоэмигрантского листка», отношение его к Иде, виновной ведь в неменьшем прегрешении, отнюдь не претерпело сколько-нибудь крутого изменения. Пожалуй, некоторое время он дулся на нее, что-то подобное я припоминаю, но о каком-либо глубоком отчуждении, не говоря уже о разрыве, и речи не было. Я впоследствии мог себе объяснить эту «несправедливость» лишь одним: он не только знал правду, он и признавал правду — но он отвергал правду. Отвергал ее для себя, для меня, для всего своего окружения, для людей вообще. Он жил под гнетом вечного самовнушения. Только было это плодом не простого акта самоподавления, а продолжительного, настойчивого, строгого самовоспитания. Самовоспитания во лжи, самовоспитания ко лжи. И все это — ради ставшего ему необходимым, точно наркотик, самоутешения, являвшегося по сути тройным самообманом: с одной стороны, он уверял себя, что, каковы бы ни были

беды народные, партия, Сталин все-таки окольными путями ведут страну в несказанно светлое будущее (до сих пор будто слышу в его устах немецкое слово «умвег»), значит, он и сам прожил эти двадцать лет взрослой своей жизни не напрасно; с другой же стороны, он упорно вырабатывал в себе убеждение, что наложенная на него обязанность скрывать и отрицать все эти беды — требование разумное, спасительное, ибо оно единственно способствует быстрейшему продвижению к желанной, священной цели, и таким образом, ложь здесь — дело в высшей степени благое, и распространяя, пропагандируя, отстаивая представление о том, что избранный окольный путь как раз и есть неизбежный, наилучший, предначертанный историей, фактически прямой путь к осуществлению мечты, он с чистой совестью служит своему заветному идеалу, он ложью служит высшей правде; но была еще и третья сторона, которую он вряд ли осознавал даже в свои мгновения истины — за верой и верностью его скрывалась стихийная потребность в тепле марширующей колонны, в уютном убежище единомыслия, за идеализмом и альтруизмом служения — эгоизм пьянящего чувства включенности в могучий поток, за страхом правды — страх одиночества, человеческой не востребованности, исторической неприложенности.

При всем этом вера и верность, сосредоточенные на воображаемой ипостаси идеи и абстрагированные от ее реальной ипостаси — а это состояние ума было доведено им, годы спустя, до логического и эмоционального абсурда в ночь ареста —, оставляли ведь, все-таки, всегда вполне достаточное пространство в его душе для каких-то интеллектуальных, в особенности же эстетических, художественных интересов, отнюдь не привязанных к основному его стержню жизни. Таков был парадокс его внутреннего мира, парадокс его личности, и мне представляется, что Иду он относил — в этом разгадка его непоследовательности — именно к эстетической сфере своих умственных переживаний. И вовсе не потому, что она была очень красивой женщиной. Просто она жила в другой атмосфере,

где идеологические страсти и политические заботы были опосредованы требованиями человека и запросами духа, даже некими закономерностями стиля, а он признавал естественность существования такой атмосферы, его невольно, подспудно всегда влекло к ее излучениям — и то, что на политической арене ему казалось чудовищным, однозначно враждебным, нетерпимым, здесь приобретало особые оттенки, другие очертания, новые измерения. Горькая повесть Иды ощущалась им как результат не столько политического, сколько эстетического ослепления — отсюда его снисходительность.

Совершенно иной была психологическая ситуация, породившая веру и верность Гримбергеров (имею в виду не только семью моего одноклассника, но вообще тип рядового немецкого коммуниста того времени). Здесь все было несравненно проще — и честнее. Над этими людьми не довлела память о годах революционной романтики и мирообновленческой экзальтации, заставлявшая русских собратьев их обманывать себя, чтобы не предавать собственную молодость, эти люди не были погружены в омут патетической пропаганды, отнимавшей у столь многих советских их современников возможность и способность трезвого видения, трезвого суждения, трезвого решения. Основным мотивом приверженности таких людей идее «пролетарской революции» была некая непосредственно-практическая заинтересованность, основанная на своеобразных экономических и политических мечтаниях и заблуждениях. Заблуждения-мечтания эти, внушенные первоначально расхожей марксистской фразеологией, лишались в этих головах всякой романтической ноты, всякой визионерской окраски, всякого подобия идеала. Здесь была именно «трезвость»: считалось само собой разумеющимся, что после переворота сразу же исчезнет безработица (ибо в описаниях советского рая неизменно выделялся один лейтмотив: «страна, где нет безработных»), что на всех предприятиях вводится тотальный «рабочий контроль» (пример, дескать, имеется налицо: та же страна «диктатуры пролетариата»), а для обеспечения полной

справедливости и отражения любых посягательств на завоевания пролетариата все вооружение передается в руки рабочих (невероятно, но факты: одним из излюбленных агитационных клише компартии всегда оставалось произносимое самым серьезным тоном утверждение, что «так как в стране Советов оружием владеют заводские рабочие, плохая политика исключена — ее рабочие бы не допустили»). Отсутствие страха перед нашествием с Востока, объяснявшееся вот такой информированностью и вот такой прагматической установкой на осуществление лозунга «Кто был ничем, тот станет всем», было, таким образом, отнюдь не связано с видением некой «мировой революции», оно вытекало скорее из здравых соображений насчет «так мне и моей семье будет лучше». Честная заземленность, честный расчет, которому не было дела до тревожных дум и общечеловеческих чаяний «левых» интеллектуалов — неслучайно люди эти, как правило, и имен своих высоколобых единомышленников не слышали, а о знакомстве с их построениями и пророчествами и речи не могло быть. И неслучайно года три-четыре спустя, когда оказалось, что Гитлер сдержал свое обещание ликвидировать безработицу, большинство их «перестроилось», хотя было ясно, да и ничуть не скрывалось, что фюрер ведет дело к большой войне.

Конечно, и среди этих рядовых «великой армии труда» были исключения — неколебимо верующие и верные. Вполне возможно, что мой друг Рихард Гримбергер оказался одним из них.

Вот наша последняя, случайная встреча на улице, незадолго до моего возвращения в Москву.

Мы не виделись тогда уже около года — после «пятого» класса я перешел в гимназию, а затем несколько месяцев вообще «гулял». Как-то в воскресный, думаю, день — Шенхаузер-Аллее была не по-будничному пустыня — я шагал вниз по выложенному каменными плитами тротуару, в мыслях прощаясь с Берлином, с привычной до последнего кирпича улицей, с Экзером, с пивной на углу, в которой ни разу не бывал, как вдруг заметил его около

высокого, круглого, обклеенного рекламами и афишами столба на перекрестке — он стоял спокойно, углубившись в какой-то лист бумаги, который держал в руке. Я подкрался сзади, но не успел заглянуть в бумагу ту, он быстро повернулся, и мы оба рассмеялись. Уловив направление моего взгляда, он с гордостью сказал, что это — любовное письмо, к тому же от очень красивой девочки. Он собирался уже прочитать мне его, но я несколько сконфуженно остановил его — у меня в десять лет еще не было ни малейшего интереса к подобным делам. Пройдя несколько шагов, мы остановились перед броско оформленной витриной магазина спортивных товаров, и тогда он, мгновенно оглянувшись вокруг, как-то нерешительно, совсем тихо спросил, по-прежнему ли я коммунист. Вопрос этот, естественно, застал меня врасплох — неужели он не знал, что я советский? Я ответил по возможности бесстрастно, что через две-три недели навсегда уезжаю в Россию. Тут он просял и шепнул, а затем повторил нормальным голосом, даже с нажимом:

– Я всегда останусь тем же».

И подумав немного:

– В сердце останусь. Придет еще время. Увидишь.

Мы поговорили еще немного, вспоминали учителей, кажется, а на прощание он пожал мне руку, что среди берлинских школьников совсем не было принято. Когда я затем оглянулся на него, он опять читал свое любовное письмо, или просто наслаждался существованием этого листка бумаги. А ведь странно — почему я, столько раз посетив Берлин в семидесятые годы, ни разу не попытался навести о нем справки? Чтобы узнать одну из миллионов человеческих судеб, хотя бы?

## 10.

Гелибтер был отозван в Москву накануне или же сразу после прихода к власти Гитлера, а с ним уехала и семья его. Отец же мой отправился на родину где-то в марте

или начале апреля, и тоже не в отпуск. Однако, он думал, что ненадолго.

То, что правительство советское при тех обстоятельствах сочло необходимым очистить свои учреждения в Германии от евреев, выглядело и логичным, и политически целесообразным — «мудрым», как тогда выражались, решением. Лицо, к тому же, было сохранено неспешностью, осмотрительностью, даже какой-то подчеркнутой недемонстративностью, с которой проводилась эта акция. Но дело было не только в «мудрости».

Отец мой был уверен, что нацисты продержатся у власти считанные месяцы, в худшем случае год-полтора. Он всерьез считал, что гитлеровцы, эти страдающие мегаломанией невежественные люмпены, просто-напросто окажутся не в состоянии управлять государством и экономикой — хотя сам постоянно повторял официальное коминтерновское клише-характеристику, что они, дескать, ставленники монополистического капитала, а ведь у монополий, казалось бы, недостатка в высококлассных управляющих не должно было ощущаться. Он даже любил пересказывать анекдот, будто Чарли Чаплин заявил: «То, что Гитлер украл мои усики, я ему прощаю. Я даже готов ему простить, что он тут же запретил мои фильмы. Но то, что весь мир смеется над ним больше, чем надо мной, это я не могу оставить безнаказанным». Близоруким, увы, этим смехом не только хвастали, не только отделялись от серьезных мыслей серьезные люди на Западе — им утешали себя и потерпевшие поражение немецкие либералы и демократы, им оправдывались столь самоуверенные еще недавно немецкие коммунисты, им спасались от тревожных предчувствий немецкие евреи (когда я в начале шестидесятых годов, работая над диссертацией о Клаусе Манне, получил в Библиотеке им. Ленина доступ к мировой печати 1933 года, я был просто ошеломлен комментариями солиднейших газет всего света, изображавших события в Германии как проходной эпизод текущей политики, в лучшем случае как досадное недоразумение, которое скоро будет улажено ко всеобщему

удовольствию). Это модное мнение несомненно поддерживало в отце убежденность, внушенную ему пропагандистской машиной Сталина заранее, и он соответственно этому не только думал, но и действовал, и вел себя, и устраивал нашу жизнь.

Во всяком случае, уезжая в Москву, он решил (наверняка не без согласия своего начальства), чтобы мы с матерью еще на какой-то срок (да возможно дольше!) оставались в Берлине, и обосновывал он в разговорах это свое решение именно тем, что, мол, «скоро все это здесь кончится». В то время такое завершение событий, естественно, и мне казалось само собой разумеющимся, раз «все так говорят», но и мать, судя по всему, в это верила — хотя кругом ведь разгорался все более дикий, шумный и вряд ли поддельный экстаз по поводу «пробуждения нации», экстаз, который охватывал все более широкие слои населения. Поэтому впоследствии у меня возникло подозрение, что отец просто стремился как можно дальше отодвинуть нашу встречу с родиной и неизбежное при этом страшное разочарование, надеясь, разумеется, действительно и на то, что в Германии развитие дел пойдет все же наконец в заданном Коминтерном направлении, но вместе с тем, по-видимому, и на то, что в нашей собственной стране наступит обещанный небывалый подъем, и тогда... Впрочем, подъем этот, конечно, должен был не только послужить ему, фанатику, оправданием в наших глазах, но и попросту обеспечить нам более или менее приемлемое существование на родине.

Значительно позже, уже в Москве — к сожалению, не могу вспомнить, в каком приблизительно году — я как-то слышал от него странное, показавшееся мне уже тогда в чем-то таинственным, замечание, оброненное вроде бы и случайно, но вместе с тем по-особому осторожно, задумчиво: если бы возможно было предвидеть, что Гитлер так долго удержится у руля, то Сталин-де не допустил бы его прихода к власти.

Уверен, не мог он даже в грезах своих рисовать картины реального осуществления в 1933 году тех самых знамени-

тых лозунгов об «освободительном походе» Красной Армии на Запад. Тем более, что после возвращения в Москву он все-таки, насколько я мог судить, стал чуть трезвее смотреть на вещи. Скорее уж он мог вспомнить о «боевых установках товарища Сталина», по которым главными «врагами германского пролетариата» оказывались «социал-фашисты», что в значительной мере воспрепятствовало созданию так называемого «единого фронта рабочих партий» против нацистов (хотя, откровенно говоря, и социал-демократы с самого начала не слишком стремились вступать в какие-либо союзы со слугами Кремля) — но по другим высказываниям, которые случалось слышать от него, я давно чувствовал, что к мифу о всеилии подобного «единого фронта» он относился довольно-таки скептически.

Поэтому у меня впоследствии возникло смелое, возможно и чересчур смелое предположение, что он чисто интуитивно, вопреки въевшимся в его мозг шаблонным представлениям, все-таки начал догадываться о подлинной роли, о подлинных стратегических замыслах Сталина на том рубеже истории — хотя, безусловно, и самому себе не решался признаться в этой догадке.

Как бы то ни было, замечание это, думаю, могло стать для меня лично неким подспудным первотолчком, давшим ход незаметной сначала, робкой, но затем все более напряженной и постоянной работе мысли, приведшей меня уже в более зрелом возрасте к новому толкованию политики «отца народов», политики, имевшей столь роковые последствия для моей семьи, для миллионов и миллионов семей, для всех народов, ему подвластных и неподвластных.

Я уже много раз писал о своих выводах, как в самиздатовских, так и в опубликованных сочинениях, но так как очевидные факты тогдашней истории и их тайные пружины самым непосредственным образом определили мою судьбу, все течение моей жизни, вообще и во всех ее частностях, то считаю необходимым именно здесь по возможности полно и четко изложить свои соображения и тезисы.



В первую очередь хочу совершенно недвусмысленно высказать свое несогласие с теми уничижительными характеристиками умственных способностей Сталина, которые стали такими популярными в прессе и даже в книгах последних лет: его изображают таким недалеким, тупым паханом мафиозной шайки, человеком примитивным, «с низким покатым лбом», добравшимся до высшей власти исключительно благодаря крайне низкому интеллектуальному уровню и эмоциональной дикости поддавшейся ему большевистской «почвы». Конечно, кое-что здесь неоспоримо: и лоб, и дикость «почвы». Стоит, однако, отметить, что похожие лбы мы видим на портретах многих людей, отличавшихся высокой духовностью, начиная с Пушкина и кончая Горьким. Но дело совершенно не в этом. Не говоря уже о том, что такой изощренный мастер кабинетных интриг не мог не быть тонким психологом, незаурядным политическим тактиком и хитрейшим комбинатором — нельзя отказать в некой злой гениальности человеку, сумевшему, пусть на глубоко вкоренившемся и упрочившемся за семьсот лет психологическом, психоструктурном фундаменте, построить такое здание, соединившее в себе все черты крепости, тюрьмы, фабрики и великой державы в предельной степени. Подлинный же размах его мании господства оценить можно лишь, здраво осмысливая его стратегическую линию в отношении как раз Германии. Фактически он несомненно делал все, больше чем все мыслимое, чтобы привести к власти Гитлера — но на первых порах, должно быть, действительно с тем сокроенным расчетом, который вероятнее всего имел в виду мой отец: чтобы нацисты разрушили либерально-буржуазное государство, а после их неминуемого провала Германия как спелый плод упала в цепкие руки Сталина. Эта гипотеза не нова, не я один доказывал ее множество раз, да ведь она настолько явно напрашивается, что необщепризнанность ее я могу объяснить только какой-то непостижимой переоценкой моральных качеств кремлевского диктатора. Однако, в последующие годы Сталин настолько целенаправленно и последовательно

использовал факт гитлеровской угрозы в своих собственных неблагоприятных, мягко выражаясь, целях, что трудно отделаться от подозрения: помогая Гитлеру, он уже предвидел те исключительные возможности, которые в результате нарастания мощи и экспансионистских устремлений Третьего рейха появятся для него лично, для его планов самоабсолютизации. В самом деле, именно тень фашизма, вставшая над Европой, позволила ему расправиться со всеми соперниками, с любым инакомыслием и инакочувствием, с любыми остатками каких бы то ни было свобод. Именно эта тень должна была, по его замыслу, оправдать в глазах народа, в глазах мира, в глазах истории и тотальную милитаризацию, и всеобщий террор. И 1937 год. Но фашизм должен был служить и прямым стимулом при намечавшемся идеологическом повороте, при той шовинизации большевизма, которой он в середине тридцатых годов стремился подготовить почву для перехода от экспорта революции к экспорту войны. И вряд ли следует безоговорочно отметить предположение, что он уже тогда, за пять-шесть лет до первых реальных шагов, в часы мечтательного уединения подумывал о возможности начать завоевание мира рука об руку с Гитлером этим. Все указывает на то, что он не был человеком внезапных решений, и самые поразительные виражи и трансформации его политики достаточно долго созревали в тайниках его хищничьей психики...

## 11.

Очевидно, и после отъезда отца нас поддерживало родное наше государство — иначе я не перешел бы по окончании обязательных для всех детей четырех классов «народной» школы в гимназию, ведь плата за обучение была там изрядной, и ученики происходили из семей обеспеченных!

Гимназия носила имя великого археолога Генриха Шлимана, но не прошло и четверти года (я всего-то проучился

там месяца четыре, не больше), как вдруг поступило распоряжение о переименовании — о том, что это было именно распоряжение сверху, нам говорили совершенно официально, с придыханием, как о некоей благодати. На следующее утро после радостно-благоговейного сообщения, сделанного перед нашим классом маленьким прили-занным человечком, кажется, преподавателем музыки, всех нас, от только что поступивших юнцов до долговязых девятнадцатилетних обер-«приманеров», собрали в актовом зале, а там директор с торжественно-серьезным лицом проследовал торжественно-степенным шагом на кафедру, поднял правую руку, словно призывая на себя благословение всевышнего, и торжественно-звучным голосом объявил, что отныне нашей гимназии даровано имя Хорста Весселя. Кто такой был Хорст Вессель, я знал: студент-нацист, вращавшийся в основном в среде берлинского дна и сам являвшийся, по версии антифашистской печати, сутенером, убитый затем в какой-то подозрительной схватке или перестрелке не то по политическим, не то по криминальным мотивам, не то случайно, но успевший написать на музыку известной солдатской песни времен первой мировой войны невероятно бездарные стишки, принятые, однако, гитлеровцами в качестве партийного гимна. И вот — вокруг меня сидели сыновья если и не обязательно образованных, то обязательно благомыслящих, солидных бюргеров, которым такая сомнительная фигура, казалось бы, должна была претить хотя бы из сугубо социальной антипатии, впереди восседали преподаватели гимназии, люди просвещенные и культурные по определению, у которых столь примитивные по языку и мысли строчки всем известной песни должны были вызывать по меньшей мере недоумение и презрение — однако, все присутствующие в едином порыве неистового восторга встретили слова ректора сначала бурей аплодисментов, в которые вмешивались крики «Хайль!», затем все вскочили, и крики эти слились в нерасчленимый оглушительный рев, а затем внезапно все мощным хором запели «Германия, Германия превыше всего!» да тут же и самое «Песню Хорста Вессе-

ля». В заключение ректор произнес речь, в которой особенно напирал на то, что он лично, дескать, еще за десять лет до этого предлагал присвоить гимназии имя Лео Шлагетера (террориста, казненного в начале двадцатых годов по приговору французского суда за убийства, взрывы и поджоги), но к нему вырожденцы-чиновники тогда не прислушались. Теперь же пришел час национального пробуждения...

Весь этот спектакль — но спектаклем это было только для меня, для них же мигом ликующего единения! — остался мне навсегда в памяти во всех гнетущих подробностях. Более того, он стал одним из источников моего мировоззрения, как на чисто эмоциональном, так и на вполне рациональном уровне. Я знаю, что никогда не перестану относиться к каким бы то ни было массовым страстям иначе, как с гадливостью — потому что не смогу и потому что не захочу. Я знаю, что мой принципиальный элитаризм, этот краеугольный камень моего мироотношения, всегда будет связан с рядом узловых представлений и отличительных черт: духовная элита — не общность, а сумма индивидов и индивидуальностей; духовная элитарность — всегда вид протеста, против массовости, против идеологического засилья, против всевластия общественного мнения; родина элиты — не страна, а дух; в словосочетаниях «духовная элита» и «социальная элита» существительные — лишь омонимы; самое несовместимое с элитарностью слово: «ура». Но то утро определило и многие другие стороны моего жизненного кредо. Воспоминание о нем всегда предостерегало меня от переоценки европейской сущности европейской интеллигенции, а это в свою очередь спасло от недооценки европейской сущности интеллигенции русской. Сравнение его, сначала невольное, а затем целеосознанное, с подобными же сценами в нашей стране очень рано навело меня на открытие внутреннего тождества коммунизма и фашизма. Живая эта картина постоянно напоминала мне о хрупкости и незащищенности духовных начал в современном мире. Но главное, это впечатление в значительной мере определи-

ло всю общую направленность, настроенность, нацеленность моей дальнейшей жизни!

Показательно, думаю, то, что у меня буквально ничего не осталось в памяти от самой учебы, от самого процесса обучения в этой гимназии. Большинство преподавателей — их имена, их лица, их предметы — я забыл начисто. Лишь трех я еще кое-как вижу перед собой, и то лишь в отдельных ситуациях. Вот учитель немецкого, высокорослый, относительно молодой мужчина в очках, после урока шепчет мне в коридоре на ухо, что мое сочинение было, как всегда, наилучшим — перед классом он так ни разу и не посмел меня похвалить. Вот латинист с очередной большой проповедью об арийском происхождении римлян, венцом которой, как и на каждом уроке, становится дифирамб в честь величия и природного превосходства древних германцев, причем от самозабвенного восторга у него выступают слезы на глазах. Наверно, именно эти все более удручающие панегирики повинны в том, что у меня по латыни невероятно плохая успеваемость, хотя в общем-то никак нельзя сказать, чтобы я худо усваивал языки. Помню, как однажды прочитал слово «деус» (бог) с немецким произношением дифтонга, как «дойс», что его наверняка окончательно убедило в умственной неполноценности всех представителей неарийских рас. А вот единственный, о ком память сохранила все-таки и кое-какие подробности — преподаватель физкультуры. Урок за уроком у него проходил почти совсем без предписанных гимнастических упражнений, не говоря уже о более сложных спортивных мероприятиях, так как просто-напросто не оставалось времени после двух главных для него воспитательных моментов — красочных рассказов о собственных военных приключениях, в которых на фоне сказочной храбрости немецких солдат вообще особенно рельефно выступали совершенно беспримерные образцы героизма, проявленные его ротой, им самим и его верным ординарцем, после чего наступал черед нескончаемой, прямо-таки казарменной строевой муштры, вызывавшей, однако, восхищение моих соучеников, причем

самым излюбленным элементом, даже по сравнению с различными видами маршировки и пением Хорста Веселя, являлась стойка смиренно. Когда учитель каким-то неподражаемым рыком командовал «Руки по швам!» и все благоговейно замирали, то чувствовалось, что и для него, и для них жизнь наполнилась смыслом. Упоение этой позой заставляло их во время перемен бесконечно упражняться, при хорошей погоде даже в школьном дворе, снабженном устройствами и снарядами для куда более оживленных физических занятий, и надо сказать, что самозабвенные старания их давали зримые плоды — они достигали такой четкости каждого движения, такого картинного воплощения идеи слепого повиновения, такой предельной прямоты и неподвижности конечной позиции, что и самый современный электронный робот, думаю, не смог бы достичь большего совершенства. Те же из гимназистов, которые выделялись особенно безукоризненной выправкой, пользовались среди товарищей немалым и вполне искренним уважением и почетом.

Вскоре, правда, появилось еще одно несравненное средство достойного использования перерывов, быстро переросшее из простого развлечения в некое ритуальное действие и сугубо политическое занятие: на единственного в нашем классе, кроме меня, ученика-еврея, Нойбургера, стали нападать сперва как бы полусхотливо и мимоходом, варьируя оскорбления от «еврейшка» до «еврейская свинья», но затем все более злобно накидывались на него втроем или вчетвером, обычно сзади, и тогда он, весь красный, в отчаянной, иступленной ярости начинал свирепо и слепо отбиваться, кусаться, бодаться, а когда они отступали, неизменно вдруг захлебывался слезами — а это им только и нужно было.

Меня пока не трогали — знали, что я иностранец и, судя по всему, воображали, будто я могу пожаловаться, бог знает кому. Но это мгновенно переменялось в один прекрасный день, когда Маннс, сын известного в нашем районе нациста, толстый, вульгарный мальчик с невероятно толстым, картофелеобразным носом, который одно-

временно со мной перешел из того же класса народной школы в тот же класс гимназии, вышел в каком-то большом зале (может быть, в актовом) вперед к кафедре и сказал, указывая на меня пальцем, что до национального пробуждения я вел коммунистическую агитацию среди немецких детей. Буря негодования, обрушившаяся на меня, казалось, сметет меня с лица земли. Разумеется, в последующие дни я чувствовал себя вне классной комнаты в смертельной опасности, сидел все время с опущенной головой за партой, а после занятий тут же ускользал в уборную, выжидал там в одной из кабин, пока все, по моим расчетам, должны были быть достаточно далеко, выбегал через заднюю дверь во двор, перелезал в дальнем углу через забор, попадая в небольшой, легко обозримый переулок, и убедившись, что никакой угрозы больше нет, с замиранием сердца мчался во весь дух домой. Через неделю я выбыл из гимназии.

А ведь Маннс сказал чистую правду, и гнев гимназистов был объективно стопроцентно справедлив. Я же, естественно, был слишком наивен, слишком пропитан идеологией и фразеологией, чтобы уловить суть положения. У меня возникали лишь ассоциации с тем сборищем по случаю переименования гимназии — нет, и не ассоциации просто, а параллели, даже отождествление. То обстоятельство, что мое «разоблачение» исходило от такого, действительно, донельзя антипатичного фрукта, как Маннс, лишь укрепляло меня в моей обиде и в саркастических мыслях, сводившихся к формулировке стандартной и по-отцовски прямолинейной: вот, мол, «господствующий класс показывает свое истинное лицо». Без тени смущения я сравнивал себя в уме с Генрихом Шлиманом! Мы оба оказались жертвами наступления «крайней реакции». Ни намек еще не было на прозрение, на догадку о том, что деятельность отца и ему подобных как раз во всю и способствовала, и давала импульсы этому наступлению. Что ж, плоды воспитания моего и не могли быть иными. А из этого состояния души закономерно вытекала особая, в чем-то курьезная настроенность, которая

владела мной в остававшиеся до нашего отъезда месяцы. Как говорят, святая невинность, святая простота!

## 12.

А настроенность эта выражалась прежде всего в чувстве превосходства над всем окружающим и над всеми окружающими, которое вызывалось светлой уверенностью в том, что я-то скоро попаду в страну осуществленной «мечты человечества», в то время как всем, всем, всем остальным судьба в этом отказала. Мое отношение к другим могло лишь колебаться между презрением и жалостью, а их нормальным чувством ко мне должна была, если бы они знали, если бы они только подозревали истину, быть одна зависть, одна столь человеческая зависть! Наверное, праведник, отправляясь в мир иной, наполняется подобной искренней и все же снисходительной жалостью к тем, кому еще ждать и ждать, жить и жить до часа избавления, кому, как смертному знать, вообще не суждено удостоиться райского блаженства...

Когда я бродил по знакомым улицам, мне казалось, что та странная смесь холодка, отчужденности с многолетним чувством дома, которой всегда отличалось мое отношение к городу моего детства, объясняется одним — несовершенством этого серого Берлина по сравнению с лучезарной родной Москвой. В том, что в Москве все лучше, чище, приветливее, я был уверен абсолютно, в этом ни на миг даже тени сомнения у меня не возникало. И подмечая какие-то давно привычные, никогда не бросавшиеся мне в глаза вещи, я говорил себе: «Посмотрели бы эти олухи, как это делается в Москве!»

Сознание исключительности собственной судьбы отразилось даже на моем восприятии политической символики, встречавшей тогда берлинца на каждой улице, на каждом доме, на каждом шагу. В первые недели после прихода Гитлера к власти меня чрезвычайно удручало вытеснение «родных» красных, а затем и черно-красно-золотых знамен противными, враждебными, страшными черно-бело-крас-



ными, особенно же нацистскими, красно-белыми с большой черной свастикой, флагами, это меня подспудно, подсознательно раздражало даже тогда, когда стало вездесущим, неизменным, привычным свойством городского пейзажа — теперь же я стал смотреть на это обилие яркой цветной материи иронически, как на демонстрацию глупого пафоса и пустой мании величия. Я не чувствовал больше угрозы в этом пафосе, и часто, проходя мимо очередного полотнища, пренебрежительно сплевывал. Никаких зловещих предчувствий при этом не было.

Конечно, часто я не без труда подавлял в себе желание похвастать перед сверстниками предстоящей счастливой переменой в моей жизни. В одном случае, помню, я не удержался-таки от искушения. На плебейский Экзер еще до январских событий ходил бедно одетый паренек лет этак пятнадцати, но низкорослый и худенький, который несмотря на заметную хромоту буквально с утра до вечера участвовал во всех играх остававшихся еще тогда «красных» команд. Несмотря на физический недостаток, он отличался незаурядной увертливостью, техническим артистизмом и проворством, к тому же был удивительно вынослив, прямо-таки ненасытен на игру. Притягательны в нем были лучистые, всегда широко раскрытые, немигающие глаза. Почему-то он ко мне относился особенно дружелюбно — так мне во всяком случае казалось — и между нами постепенно развилось что-то вроде невысказанного чувства взаимопонимания и взаимной симпатии. Когда я в один из последних дней перед отъездом, в несколько сентиментальном настроении решил еще раз пройтись по Экзеру, я заметил своего друга уже издалика. Он стоял среди болельщиков, наблюдавших за матчем двух официальных «экзеровских» команд, а когда я приблизился, то, точно почувствовав спиной направленный на него взгляд, обернулся и просиял. И тут-то мне показалось: вот кто обрадуется за меня, вот кто разделит со мной мой праздник, вот в ком разыграет светлая и доброжелательная зависть! Тонем несколько меланхоличным, в котором непритворное сожаление смешивалось с на-

игранной печалью, я сказал, что мы наверно никогда больше не увидимся, и с напускной скромностью объяснил, почему. Его реакция оказалась для меня неожиданностью полнейшей: в его глазах радость сменилась чем-то вроде сердечного сочувствия, переросшего в подлинное сострадание, когда он спросил:

— А ты даже точно не знаешь, играют ли в России в футбол?

Заметив мое замешательство, он решил, видимо, утешить меня, оживился не без усилия и с нарочитой уверенностью сказал:

— Да мы же здесь просто ничего не знаем. Увидишь, там играют так, как нам и не снилось. Можешь ехать спокойно!

Огорошенный, я с натужной улыбкой отвернулся и побрел домой.

Впрочем, он оказался по-своему прав. Уж до чего я был дотошным читателем газет, а к тому же еще и футбольным фанатом, я никогда не встречал — по крайней мере в дававшей всегда ведь самые подробные и тщательные обзоры «буржуазной» печати — ни одного хоть беглого упоминания о футболе в тогдашнем СССР. Потом, в Москве, хотя мои интересы успели в корне измениться, я иногда все-таки ходил на матчи чемпионата — и тут убедился, что, правда, советский футбол выглядел намного менее впечатляющим, техничным, элегантным, что ли, но не настолько он был плох, чтобы на карте футбольного мира тут зияло белое пятно, и только. А все дело было в том, что советским спортсменам предписана была та самая «гордость», которая заставляла их смотреть «на буржуев свысока», а значит, они имели право соревноваться лишь с западными «рабочими» клубами, уровень которых был таков, что даже коммунистическая пресса едва замечала их существование.

По мере приближения заветного дня наша квартира, в которой все эти месяцы после отъезда отца царил чуть грустная, чуть нервная, и все же какая-то мечтательно-радостная, светлая тишина, стала все чаще наполняться

людьми. Началось с того, что приходили потенциальные покупатели нашей мебели и нашего огромного персидского ковра — до сих пор мне представляется непонятным чудом, как это одно небольшое объявление в газете обратило на себя внимание такого числа отнюдь не праздно любопытствующих. Было там трое или четверо одетых с иголки, солидных по фигуре и поведению господ, которые убеждали мать мою обязательно обратиться к услугам их фирм для продажи нашего имущества с торгов, а на прощание даже меня одаривали серьезным, проникновенным взглядом. Разумеется, мать об аукционе и слышать не хотела. Зато многочисленные маклеры, быстрыми глазами пробежавшие от предмета к предмету и как из пулемета выпаливавшие цены, очень скоро снискали ее доверие, так как цены эти у всех более или менее совпадали. Именно такими маклерами были и два брата-еврея, купившие наш ковер, но не этим запомнившиеся — их жизненная позиция, сама по себе вполне логичная, вполне рациональная, вполне, казалось бы, реалистическая, но опровергнутая потом таким трагическим, чудовищным образом, запечатлелась в памяти как символическое доказательство незащищенности и несостоятельности здравого смысла в умалишенном мире. Когда младший по виду из братьев отсчитывал ей деньги, мать спросила, покачивая головой:

— А разве вам есть смысл еще заниматься в Германии делами?

Он ответил вопросом:

— А что же нам делать кроме этого?

Мать удивилась:

— Вы же еще так молоды. Вы могли бы в любой стране начать все заново.

И тут он, пожав плечами, изложил свои политические соображения, которым, казалось, нельзя было отказать в некой общечеловеческой осмысленности:

— Так ведь всюду сейчас царит этот ужасный кризис. В Германии он, может быть, кончится даже раньше всего. Если Гитлер справится с ним, то ему не нужна будет боль-

ше травля евреев. А если не справится, то с ним самим все будет кончено.

Эту концепцию он пытался подкрепить целым рядом практических аргументов, но тот решающий фактор, что в отравленном идеологией мире логика практики уже не действует, ему и в голову не приходил — в этой наивности, столь распространенной среди немецких евреев, крылась одна из первопричин их катастрофы. Они, люди здравомыслящие, оказались не в состоянии вжиться в болезненный менталитет идеологизированных умов и поэтому не предприняли ничего для собственного спасения.

Лишь много лет спустя я осознал, что сам рос в Берлине трагикомическим персонажем, из которого легко мог выйти такой же идеологический кретин, какими так быстро стали юные гитлеровцы — если бы, предположим, в Германии победили тогда коммунисты и я бы не прожил в Москве тяжелые годы взросления, годы жестокие, но духовно целебные —, так что мне ли осуждать наивность здравомыслящих или болезненный менталитет ослепленных. Я и не осуждаю, а сокрушаюсь. И если я благодарю судьбу за то, что она подарила мне нещадное разочарование в бредовых идеалах, внушенных мне воспитанием, что она излечила мою наивность длительными и многообразными страданиями, то в этом нет ничего похожего на религиозное влечение к самоистязанию и мученичеству, ничего также от вошедшего в поговорку мудрого соображения, что только тяжкие испытания закаляют мужчину — это просто трезвая оценка собственного умственного развития, собственного спасения как личности.

Самым первым проблеском же стал разговор, который у меня случился за несколько дней до отбытия из Берлина с молодой женщиной, сотрудницей нашего торгпредства, очень спокойной, интеллигентной, внушавшей какое-то особое доверие. Кажется, ее звали Ириной. А получилось это вот как. Наряду с аукционщиками и маклерами, к нам чередой приходили супружеские пары, большей частью молоденькие, хотя были и две или три пожилые, которых интересовала относительно дешевая кухонная и спальная

мебель. Меня страшно злило стремление матери продать каждый предмет возможно дороже, и я ничуть не скрывал праведного своего возмущения такой буржуазной привычкой. Однажды я предложил, чтобы она или раздарила все немецким товарищам, или уступила беднейшим покупателям по самым низким ценам. Она возразила, что для русской зимы нам обязательно нужны хорошие шубы, а они стоят бешеных денег, все равно, купим ли мы их здесь или у нас. Это меня разгневало окончательно, ибо казалось откровенным обманом: не говоря уже о том, что по моему глубокому убеждению в Советском Союзе вообще не существовало и не могло существовать материальных проблем, я был наслышан о меховых богатствах России, где, как говорили, даже до революции простые крестьяне носили тулупы и шубы! Когда я выложил матери свою обиду и продемонстрировал свои познания, она лишь слегка улыбнулась и сказала походя:

— Пойми, нам понадобятся еще и другие вещи.

Этот ответ меня никак не удовлетворял. Я долго и упорно размышлял над ситуацией (как ее бы ныне назвал) моральной и психологической, сложившейся в результате столь разных наших взглядов на должное, нужное и реально существующее, и в конце концов решил пристыдить мать, побив все ее доводы двумя козырными истинами: что бы мы ни стали покупать, в Москве это, разумеется, будет намного качественнее и красивее, а с другой стороны, там, как известно всем, принимают к оплате только рубли, и что она станет делать с немецкими деньгами? Чтобы придать этим неуязвимым аргументам еще больший эффект, я преподнес их в присутствии нескольких человек из торгпредства, помогавших маме уложить вещи. К моему изумлению, такие веские соображения не нашли поддержки, они вызвали всеобщий дикий хохот. И лишь одна Ирина посмотрела на меня понимающими глазами, усадила рядом с собой и начала разговор задумчивыми словами:

— Послушай, ты многого, многого, очень многого не знаешь и не понимаешь...

Ида. Эмигрантская газета. Ирина. Но все это была еще не сама жизнь...

### 13.

После стольких недель лихорадочного возбуждения и прямо-таки мистических ожиданий настал великий день. Но странное дело — я его не могу вспомнить. Совершенно. Ни одной картины, ни одного эпизода, ни одной минуты, ни одного лица память не сохранила. А ведь казалось бы, жизненная веха...

Зато Варшава, где мы почему-то сошли с поезда и провели целые сутки, запомнилась во многих подробностях. Зимняя Варшава того далекого года!

В красивом, ухоженном парке, где снег на всех дорожках, площадках, газонах лежал ровным, тщательно вычищенным, словно полированным покровом, прогуливались щеголеватые молодые люди и девушки, большей частью втроем, походкой такой же спокойной и степенной, как и немногочисленные пары и одиночки более солидного возраста, появлявшиеся тут и там. Все или почти все они были одеты в темнозеленые, темносерые или коричневые куртки и полупальто типа дубленок, отороченные тем самым мехом, из которого были сшиты их высокие, прямые, чем-то уютные шапки, на всех были мягкие сапожки, гармонировавшие не только с одеждой, но и с спокойными, розовыми, чистыми лицами, и с спокойным, выдержанным стилем всего окружения — во всем этом было что-то игрушечное, что-то идиллическое, что-то подчеркнуто-театральное, напоминавшее зимние пейзажи некоторых голландцев, но в особом, мне еще неизвестном западнославянском тоне. Конечно же, мы оказались в аристократическом районе польской столицы — когда я через два с половиной года снова приехал в Варшаву, я увидел совершенно другой город. Станный это был день — впоследствии я не раз вспоминал тот солнечно-снежный парк, ту безмятежно-праздничную молодежь, ту мелодичную речь на непон-

ятном языке, и мне казалось, что это был последний день мирного времени, последний день ушедшего в небытие мира. Прошел ряд лет, и мне пришлось встретить людей, будто сошедших с той картины, в другой, чужой им стране, в другой, чуждой им обстановке, в другую, чуждую и им, и мне эпоху.

А потом была граница. Пограничная станция Негорелое. Не успел еще поезд остановиться, как в купе вошел высокий человек в длиннополой шинели с черными усами и пятиконечной звездочкой на фуражке и каким-то недовольным, невыспавшимся, что ли, некультурным голосом (я тогда не понимал, что у него сильный кавказский акцент) потребовал у матери паспорт, и лишь когда он заметил изумленно-разочарованное, удрученное выражение моего лица, он вдруг смягчился, улыбнулся по-отечески и погладил меня по головке. Еще более неожиданными и двойственными оказались переживания, обрушившиеся на меня в самом Негорелом. Я-то рисовал себе встречу с родиной в самых сияющих красках, чуть ли не с реющими знаменами, торжественными фанфарами и приветственными речами, а тут на таможне предельно сухо задавали всякие вопросы, деловито распаковывали и вновь укладывали наши чемоданы да еще с явной подозрительностью смотрели в лицо женщине с советским паспортом, почему-то разговаривавшей с своим сыном по-немецки. Но с другой стороны, со всем этим меня мирило оформление вокзала. Всюду были развешаны красные полотнища с лозунгами, восславлявшими великого Сталина, великую «родину всех трудящихся мира», великую партию, приведшую народ к выполнению пятилетки за четыре года, да и многое другое в том же роде, а рядом хотя и не развешались, но висели-таки красные знамена, а между всем этим красовались окаймленные горящими электрическими лампочками пятиконечные красные звезды. Для меня, пропитанного политической религией ребенка, во всем этом мистическом сочетании форм и цвета было нечто сугубо родное, жизненно необходимое, часть моего существа и моего мира, которой я на протяжении целого года

был полностью лишен, и потому зрелище это действовало на меня с магической силой, успокаивая и утешая сердце. Недаром я и сегодня нередко вспоминаю тогдашние ощущения — мне, человеку неверующему и не без дурных предчувствий наблюдающему нынешнее религиозное наступление, все же понятны и близки чувства набожных людей, вновь обретших в церковной символике неотъемлемый, органический пласт собственной души.

Но затем был Минск. Он находился тогда совсем недалеко от границы, и поезд, вышедший из Негорелого в ранней темноте зимнего вечера, прибыл в столицу Белоруссии еще до того, как мне пора было лечь. Я затаив дыхание смотрел в окно. На перроне при тусклом свете вокзальных окон столпились бесформенные черные фигуры разного роста в разных позах, а между ними чернели еще более бесформенные навалы предметов, в которых нетрудно было угадать тюки, мешки и свертки самых разных размеров, а дальше, в более глубокой еще тьме, едва различались все новые и новые такие же фигуры. Все это производило какое-то жуткое, мрачное, тоскливое впечатление, и хотя я не видел никаких лиц, я неким, тогда, именно тогда же прорезавшимся чутьем уловил, какой безнадежностью веет от этой массы. У меня не возникло мысленной связи с тем виденным не столь давно газетным снимком — да и не было толчка к этому, ничто ведь не указывало на то, что люди ждут теплушку, а не обычный пассажирский поезд —, зато внезапно появилась странная, очень странная для меня, тогдашнего, ассоциация со словом, много раз слышанным в Германии — «большевизм». Отец, который безусловно считал себя твердокаменным большевиком, почему-то редко употреблял это слово, он, казалось мне, инстинктивно не очень любил его, он и мне не привил особого уважения, особого интереса к связанному с этим воинственным понятием весьма специфическим представлениям — но на улице, в школе, у спорящих групп на Экзере, а прежде всего в либеральных и демократических газетах я постоянно, чуть ли не каждый день встречал его, и всегда оно звучало как ругательство,



как синоним жестокости, варварства, человеконенавистничества, как обозначение какой-то страшной, темной, разрушительной силы — достаточно сказать, что те же газеты особенно охотно клеймили рвущееся к власти гитлеровское движение и его идеологию, как «обывательский большевизм». Поэтому у меня выработался, в каком-то тайнике души, определенный отрицательный рефлекс на само это звуко сочетание, хотя я, разумеется, отлично знал, кто такие большевики, и на уровне сознания почитал их, как это полагалось юному фанатику. И вот теперь вдруг негативные эмоциональные ассоциации эти всплыли в каких-то тканях моего мозга и привязали привычное слово к скорбной картине на минском вокзале.

А затем мы ехали сквозь сплошную мглу, где не различить было, поля ли кругом или леса, одна чернота, одна беспредельная неизвестность.

Ехали вглубь страны... Вглубь судьбы моей. Вглубь вечной загадки будущего. Но для меня загадки не было, я в судьбе своей не сомневался, она казалась предначертанной именно потому, что предначертанной на все будущие времена казалась судьба этой страны. Как-никак, я был дома.

Если бы я знал! Если бы она, страна, знала!

#### 14.

Ландшафты, которые тянулись мимо нас на следующий день, выглядели под хмурым, ледяным небом какими-то беспросветно-монотонными, неинтересными — мне еще совершенно незнакомо было особое чувство, которое при виде этих бескрайних равнин охватывает любого, кто проникся характером, сущностью, духом России. Для меня Россия была тем, что я видел на красочных фотографиях, по сути своей пропагандистских и рекламных: Кремль, Красная площадь, Невский, Дворцовая площадь с Зимним,

крымские и кавказские белые виллы в обрамлении кипарисов, громадные площадки каких-то гигантских строек ...

Вскормленный в блаженном неведении подлинной реальности и подлинной истории, я приехал на родину чужаком, которому привита беспредельная, святая, слепая любовь к этой родине — но скорее к воображаемой, чем к ней самой. В снежных пустынях за окном я видел не Россию — я искал черты некоего идеального мира мечты. И был раздосадован, не находя их.

Вместе с тем, я не мог признаться и самому себе, что не унылый пейзаж, собственно, так удручал меня. И даже не порождения рук, ног и ртов человеческих — обветшалые, обшарпанные, оплеванные, покрытые часто невообразимым слоем разномастной грязи, богом и веком забытые станции и полустанки, мимо которых мы пролетали. Поражали меня люди, стоявшие на перронах, у шлагбаумов, на обочине дорог и лесных тропинок. И не только их одежда (я, кстати, никогда до этого не видел телогреек) — поражало выражение лиц, поражали глаза. Я-то ожидал прочитать в них ликующую радость и трудовой энтузиазм, как на тех фотографиях, о пропагандистском характере которых я в простосердечии своем и не подозревал. Вместо этого наш поезд провожали глаза усталые, равнодушные, апатичные, какие-то пришибленные, но нередко и угрюмо-недоброжелательные, а то откровенно враждебные. Мне, ничего не знавшему о жизни, быте, судьбе этих людей, такое несоответствие моим чистым надеждам и золотым видениям казалось оскорблением лучших чувств, моральным ударом, наносимым мне лично. Но было это напутствием...

И вот Москва. Белорусский вокзал. С сияющим лицом и радостными жестами к нам подбегает человек в длинном черном пальто и черной меховой шапке-ушанке. Я едва узнал отца.

Он сильно похудел. Но дело было не только в этом. Какое счастье его в этот момент ни наполняло, во всех его движениях, в самой походке чувствовалось что-то прида-

вленное, нерешительное, торможенное, и даже в глубине его улыбки читалась какая-то затаенная, заглушенная скорбь.

Замешательство мое, видимо, заметили все. Михаил Гелибтер, стоявший спокойно чуть в сторонке, решил спасти положение, быстро подошел, взял меня за руку и повел в здание вокзала. Отец с матерью шли в полуобнимку сзади нас, а позади них два человека, оказавшиеся подчиненными Гелибтера по какому-то институту, несли наши вещи. Гелибтер старался как можно веселее со мной болтать и шутить, лишь бы отвлечь.

В показавшемся мне очень импозантным вестибюле (неужели это был тот же самый, через который я позднее проходил десятки, а то и сотни раз, не замечая никакой величественности?) словно демонстрировалась, специально для приезжающих из Европы, набирающая силу милитаризация Советского Союза. Зал так и кишел сидящими, стоящими, расхаживающими, куда-то спешащими военными в тех давно знакомых по снимкам долгополых шинелях, в тех давно привычных по кинофильмам буденовках, и на первый взгляд могло почудиться, что именно и снимается лента из времен гражданской войны, только не очень реалистическая, не очень и патетическая — лица самодовольные, самоуверенные, сытые, манеры непринужденные, даже вальяжные, во всем самоуважение, во всем самолюбование. Так это и есть Москва?

Из машины с брезентовым верхом, которую Гелибтер нам подал, открылась Москва совершенно другая. По Тверской в то время еще ходили трамваи. Мы по пути до Охотного ряда, а затем мимо Лубянки и по Сретенке встречали и обгоняли их довольно часто. Я сидел впереди, рядом с водителем, вытягивая шею, приподнимаясь и выгибаясь то и дело, поворачиваясь во все стороны, чтобы сразу же вобрать в себя незнакомые картины, незнакомую жизнь родного города, во всей пестроте их. Однако, трамваи отвлекали ото всего, затеняли все — это было зрелище ни с чем не сравнимое. Каждый из желто-красных вагонов был не то что облеплен, а буквально весь

покрыт людьми в черных пальто или телогрейках, они стояли, висели, парили, цепляясь за поручни, за выступы, за какие-то, видно, щели, непонятно за что. Шли трамваи очень медленно, то ли из опасения, что «пассажиры» упадут и окажутся под колесами, то ли просто из-за невероятной перегрузки. И так один трамвай за другим, один за другим. В этом было что-то ирреальное и иррациональное, что-то, вместе с тем, символическое, многозначительное, какой-то красноречивый знак. Образ ползающего по рельсам вагона, к которому черной массой прилипли неразличимые люди, остался в моей памяти и моем воображении, как некое обобщенное, концентрированное воплощение — хотя прямых, рассудочных параллелей здесь как будто и нет — сути и пути, глубинной сути и многоградального пути советских лет России...

Общее же мое тогдашнее впечатление от Москвы, в котором смешались детская радость встречи и печаль неузнавания, в котором отразилась калейдоскопическая смена первых притяжений и первых отторжений, могу передать, пожалуй, одним словом — экзотика! Пока — экзотика.

## 15.

Я не стал бы столько писать о своем политическом развитии, об идеологических своих переживаниях — тем более, что сделался в дальнейшем отнюдь не политическим человеком, и уж никак не идеологическим —, если бы не был уверен, что мой тогдашний умственный опыт действительно бросает свет на некоторые куда более общие психологические, психополитические, культурные, идейные, духовные факторы и тенденции, реалии и возможности едва ли не самого критического момента всего переломного нашего времени — переломного, на мой взгляд, не только на уровне человеческой истории, но и на более высоком — эволюции Человека.

Чтобы постепенно выработать собственное, сугубо индивидуальное мировоззрение, собственную идеологию,

собственное местоопределение в обществе и интеллектуальном пространстве, потребовалась, естественно, длительная и достаточно напряженная самостоятельная работа мысли, но способствовал этому в немалой мере и ряд объективных обстоятельств, скорее даже случайностей — пусть в обыденном, бытовом смысле они выглядели вполне заурядными и могли выпасть всякому, но в моей жизни именно они сыграли роль толчков, давших моим интуитивным исканиям определенное направление, некоторую конкретную форму. Не берусь утверждать, что в любых условиях, при любой жизненной констелляции, в любой атмосфере я стал бы все равно тем, кем я, с течением времени, стал на самом деле — однако, думаю, что личностное становление мое, при всех особенностях, неожиданностях и неоднозначностях, не только подтверждает известный тезис современной науки о том, что в формирующем человека взаимодействии генетических и социальных начал решающий вес принадлежит все-таки первым, но и опровергает марксистскую догму, весь марксистский социоцентристский пафос, утверждающий главенство, а то и абсолютный примат социальных отношений, социальных структур, социальной среды в развитии индивида — ибо для меня огромное значение имели как раз случайные, «антисоциальные» моменты, случайные, внесоциальные влияния.

При этом речь отнюдь не идет попросту об исцелении от коммунистических маниакальных иллюзий, для чего наверняка хватило бы уже элементарного приобщения к советской действительности. Я имею в виду нечто несравненно более сложное, глубокое и основательное — исцеление от идеологического мышления как такового, осознание коренной противоположности, вечной борьбы в мозгу человека двух полярных начал — духа и идеологии, борьбы, которая в моем мировидении является сердцевиным мотивом и мотором всей интеллектуальной эволюции человечества.

Если я собираюсь в дальнейшем описывать, на фоне внешней моей жизни, не слишком бурной, но полной

характерных для нашей страны и эпохи превратностей и терзаний, прежде всего возникновение, развитие и сознательную разработку, а затем изложение и распространение мною своей системы идей, принципов и ценностей — того, что я, как антитезу идеологии, называю идеономией, которую должен создать для себя, индивидуально, каждый мыслящий человек —, то я хочу показать, что можно жить в своем времени, жить всеми болями, надеждами и тревогами его, осмысливая и судя его, но вместе с тем как бы параллельно жить в другой, духовной сфере — и вся проблема, весь интерес психологического истолкования и анализа в том, чтобы уловить, какие нити все-таки протягиваются от событий личной, да и общественной жизни к этому отдельному, саморазвивающемуся, внутреннему миру, и почему этот мир, вопреки всему, часто ищет, требует, пробивает себе выход и в мир внешний, в мир как таковой.

Я никогда не считал, не воображал себя философом. Но это не значит, что совокупность моих воззрений в разных областях и по разным вопросам мне не виделась органичной, взаимосвязанной системой, объединенной отнюдь не только субъективной позицией моей, но и некой объективной логикой. Поэтому мне кажется необходимым в последующем показывать весь ход моей жизни как единый в основе своей процесс, два аспекта которого, внешний и внутренний, подчинялись тем не менее различным законам — в этом, не побоюсь применить здесь излюбленное марксистами слово, диалектика, только и порождающая цельность — цельность как самой жизни, так и ее важнейшего плода, мысли.

Все это обуславливает многослойность дальнейшего изложения: главной останется все же событийная сторона, но она будет перемежаться с воспроизведением давних моих духовных порывов и прорывов — от концепции мозговой эволюции Человека до апофеоза духовного элитаризма, как верховного принципа, от проповеди идеи еврорусизма до обоснования радикального регионализма, как исходной точки и структурного первоэлемента историче-

ского возрождения русской культуры и народной жизни. А с этим будет связан позже, при обрисовке моей деятельности в весьма зрелые годы, и схематический, обобщенный пересказ тех основных, ключевых для понимания моей идеологии, но труднодоступных читателю сочинений, которые или распространялись только в Самиздате, или были опубликованы лишь на немецком языке в Германии (и то обычно в сокращенном варианте), а в некоторых случаях и вовсе читались лишь отдельными близкими друзьями. Разумеется, будут и ссылки, где это окажется необходимым и уместным, на опубликованные в России статьи, на книгу «Неверная память»...

## 16.

Гелибтеры жили недалеко от Сухаревки, в Коптельском переулке. Там в некотором углублении, чуть в стороне от улицы, вокруг небольшого двора было выстроено несколько довольно уютных на вид домов, получивших название — не знаю, официальное ли — «домов специалистов». Возможно, они и сейчас еще стоят там (век не бывал в том районе!), но с уверенностью могу сказать: они, как и весь жилой фонд Москвы, наверняка пришли в упадок, ибо для нынешней привилегированной публики все же слишком непритязательны и непрезентабельны, и там несомненно сегодня живет обыкновенный люд. Но тогда это был престижный, даже в некотором смысле аристократический квартал.

Вот уж действительно: все в мире сугубо относительно. По сравнению с роскошными берлинскими апартаментами Гелибтеров их московская квартира ошеломляла своей теснотой, грубой отделкой, скромностью оформления, хотя среднему москвичу того времени она должна была показаться чуть ли не сказочной. Состояла она из двух комнат — малюсенькой спальни и довольно просторной жилой-рабочей-гостиной, а небольшая кухня дополняла картину обеспеченного, но примитивного, все-та-

ки советского быта. То, что мы с матерью на несколько дней (или, может быть, даже недель?) поселились в квартире, где как-никак уже обитали четыре человека — сами супруги, Рут и домработница, занимавшиеся, часто одновременно, весьма несхожими делами —, это не могло не показаться мне несколько загадочным решением взрослых. А ведь в поезде я уже предвкушал, как после суматохи берлинских расставаний и напряжения первых московских встреч мне предстоит провести какое-то время в спокойном общении с отцом, который, конечно же, рассеет все мои недоумения и тревоги. Если бы я знал, какое открытие мне предстоит в самом близком будущем, то, может быть, оценил бы по достоинству предусмотрительность и психологическую чуткость родителей. Со временем я понял, что в те дни проходил жизненно необходимую адаптацию, акклиматизацию, которая должна была предохранить меня от душеопустошительного шока...

Конечно, в иерархии советского общества Гелибтер и в Москве должен был занять более высокое положение, чем мой отец. Ему дали место директора или замдиректора в каком-то институте, не то учебном, не то научно-исследовательском, отца же направили на завод шарикоподшипников (называвшийся официально «1-й ГПЗ имени Л.М. Кагановича») в качестве парторга для иностранных рабочих, которых, кстати, было тогда очень много, куда больше — и там, и во всей стране —, чем сегодня представляют себе патриотически и ностальгически настроенные любители и профессионалы истории. Было только естественно, что именно завод этот и предоставил нам, как выражались взрослые, «жилплощадь» — со словом «площадь» у меня ассоциировалось что-то обширное, ярко освещенное солнцем, и мне тем более не терпелось покинуть гостеприимную скученность гелибтерского обиталища. Но почему-то никто не спешил!

Отец, взявший ради нас, разумеется, на несколько дней отпуск, приезжал каждое утро, и мы с ним выходили на длительные прогулки в город, чтобы, как он говорил, «вспомнить Москву». Сначала это мне показалось просто



шуткой — ведь я-то в раннем детстве города и не видел, а мать не могла же забыть дорогих мест своей молодости — но вскоре я понял, что смысл этих слов иной: родители вспоминали другую Москву. Москву, которой в начале 1934 года уже не было.

Да, это были прогулки невеселые — в душе родителей элегическая грусть сменялась то умиленным, то сокрушенным узнаванием чего-то мне непонятого, а то нескрываемой, глубокой горечью невозвратимых потерь, когда они искали какие-то зримые черты таинственного для меня прошлого своего, я же был подавлен, нет, раздавлен видом московских улиц, где с сумбурной жизнью уныло одетой, угрюмой толпы соседствовали фантазмагорические картины обвешанных невообразимыми лохмотьями, но юрких и ловких, совсем юных беспризорников да опустившихся, в безучастной дремоте сидевших или лежавших на тротуарах, в подворотнях, во дворах, изнуренных от голода деревенских пришельцев.

Естественно, в переживаниях родителей преобладали более личные, более ностальгические ноты: они-то знали ту Москву, в которой бурлила энергия небывалого молодого поколения, одержимого беспримерными, пусть утопическими надеждами, искрящимися, пусть эфемерными идеями и идеалами, безумно смелыми, пусть обманчивыми перспективами в самых различных сферах жизни, и сами они тогда принадлежали к наиболее активной, восторженной и одаренной фантазией части этого поколения, к художественной среде — но они не стали затем непосредственными свидетелями постепенного подавления и оскудения, унижения и распада той жизни, они в зрелом возрасте вернулись в опустевший город, который когда-то покинули, полные молодых сил, чтобы, как они свято верили, застать его уже в пору невиданного расцвета, а теперь исчезновение всех ростков, всех следов тех лет застигло их явно врасплох — даже отец, неоднократно ведь приезжавший, но, судя по всему, не успевший при этом когда-либо предаваться воспоминаниям о былом, был поражен, задет, подавлен. Куда мы только ни захо-

дили! И всюду родителей ждало разочарование. Где-то на месте бывшей коммуны художников оказалась заурядная коммуналка, на месте памятной им мастерской был какой-то грязный склад, кое-где бывшие ателье живописцев и вовсе уступили место чему-то таинственному, что охранялось людьми в кителе военного образца — а один случай и меня потряс сильно.

Это был угловой дом с большими окнами и ветхими, кое-где осыпавшимися, но все же изящными еще лепными украшениями в стиле модерн. Родители остановились перед ним в нерешительности, посмотрели друг на друга. Прошла минута-другая, и мать спросила:

— Поднимемся?

Отец пожал плечами:

— Как хочешь.

Лестница была широкая, мраморная или гранитная, едва освещенная. И вдруг перед нами — огромный проем. Возможно, дверь была настежь открыта, скорее же — совсем снята с петель. А там в глубине зиял грандиозный по площади и высоте потолков, неравномерно освещенный, неопишимо разоренный и загаженный зал. Рваные обои свисали со стен, как мокрые тряпки, по всему полу были разбросаны самые невероятные, несовместимые, донельзя запыленные, поломанные, изуродованные предметы, вдоль стен лежали кучки человеческих, а может быть, и животных экскрементов, в дальнем углу же спали среди бела дня двое или трое мужчин, покрытых тряпьем. Мать тихо вскрикнула, отпрянула. Когда мы спускались по лестнице, она расплакалась.

Тем временем отец перевез все наши вещи в свое, как он говорил, гнездо. Накануне предстоящего переезда меня еще повели в немецкоязычную школу, которой было присвоено имя немецкого коммунистического лидера Карла Либкнехта и которая находилась совсем близко от Гелибтеров, на Садовом кольце, в здании нынешнего Полиграфического института. Директор, человек довольно молодой, интеллигентного, но не слишком ученого, скорее спортивного вида, по фамилии, если не ошибаюсь,

Шинкель, услышав от меня одну единственную фразу на немецком языке, тут же согласился принять меня, прямо в середине учебного года, в пятый класс. Только об одном он, в унисон с матерью, пожалел — что я буду жить где-то на далекой окраине города.

И вот настал день, настал послеобеденный час, когда решено было отправиться втроем в «гнездо» отца. Почему-то Гелибтер не предоставил нам машины — а может быть, отец и специально отдал предпочтение трамваю, чтобы мы запомнили дорогу, по которой ведь сотни, тысячи раз придется ездить в центр, да мне и в школу. Когда мы где-то у Красных ворот протиснулись в вагон, стояла, насколько помню, еще вполне сносная, более или менее ясная погода, и лишь легкая дымка плавно скользила вдоль домов за трамвайным окном. Как ни странно, кто-то уступил нам место, да к тому же еще у самого окна — вероятно, потому что мы с матерью были одеты во все европейское, нас наверняка принимали за иностранцев, а в то время в Москве отношение к иностранцам было удивительно благожелательным, наивно-почтительным, иногда прямо-таки благоговейным. Я с жадностью всматривался в проползающие мимо деревянные домики с незатейливой резьбой вокруг окон, небрежно окрашенные, обшарпанные бараки с тяжелыми металлическими или фанерными дверьми, высвисящие гордо над всей этой мелкотой, одиноко и хмуро стоящие четырех- и пятиэтажные здания из неровного, непригнанного, некрашеного кирпича. Как своеобразно это отличалось не только от строго выверенного, бездушно-притязательного городского пейзажа Берлина, но и от стильных, солидных, при всей запущенности еще уютных улиц старого московского центра! И вот, ведь этот вид отныне в течение многих лет будет для меня «своим»... Ехали мы больше часа. Тем временем туманная муть за окном сгущалась все более угрожающе. Уже где-то за Крестьянской заставой строения были окутаны грязными клочьями беспорядочно рваной ваты, а завод, где работал отец, мы проезжали в сплошной мгле, через которую лишь крохотными точками пробивались

уличные фонари. Оказалось, что отец живет отнюдь не у самого завода, а на четыре остановки дальше, в каком-то «стандартном городке». Трамвай, который и так шел не намного быстрее пешехода, теперь едва передвигался, то и дело останавливаясь, словно вконец измученный скиталец, и тогда каждый раз жалобно раздавался его протяжный звонок, а кондуктор, расположившийся на заднем сидении, объявлял немногим сверхдальним пассажирам, что здесь нет остановки — что не мешало большинству выходить именно на этих «неостановках».

Наконец, и мы добрались до цели. С чистой совестью могу сказать: за вот уже почти семьдесят лет жизни я не видел больше такого тумана. Нигде, тем более — в Москве. Мы побрели, крепко сцепив руки, но, при всем старании, не видя друг друга. Отец вел нас вроде бы и уверенно, ни секунды не колеблясь в выбранном направлении и утешая нас тем, что наш дом — самый первый с краю, но мы при этом прямо-таки не вылезали из сугробов. Чем дальше мы углублялись в черномолочное Ничто, тем веселее, к моему удивлению, становился голос отца. Казалось, что он просто хотел нас как-нибудь ободрить, но потом я заподозрил, что он и на самом деле был рад необыкновенному капризу погоды — эта встряска, он вероятно полагал, предупредит более серьезную, более глубокую травму душевную, которую может повлечь за собой предстоящий «сюрприз».

Первым наткнулся на стену дома я. Затем мы, как слепые, на ощупь искали дверь. Нашли.

Внутри подъезда было темно, но даже совершенная темнота казалась прозрачнее тумана.

Отец только сказал:

– Здесь ступени! –, и мы уже поднимались.

Остановились перед дверью первого этажа, отец быстро достал из кармана ключ и открыл. Мы оказались в ярко освещенном небольшом помещении.

– Это наша кухня, – сказал отец, – на две семьи, но я до сих пор почти не пользовался.

Прямо перед нами, метрах в полутора от двери, горели

дрова в приземистой, неопределенной окраски, шишковатой и тем не менее по-домашнему приветливой печи, уставленной кастрюлями, горшками, чайниками и неизвестными мне аппаратами, которые, как я вскоре узнал, назывались примусами и керосинками; с потолка свисала голая, ничем не затененная, довольно мощная электролампочка; стены были сплошь обиты газетами, и кнопки во многих местах блестели не только по краям, но и в середине большого листа. У дверей висели черные пальто, прямо на больших гвоздях. Отец громко спросил:

— Лида, вы дома?

За правой дверью послышалась какая-то возня, а затем женский голос:

— Ой, я уже легла!

— Ничего! Не беспокойтесь! — сказал отец, подошел к другой двери и открыл ее.

И мы вошли. Точнее, стали за порогом. После всех предупреждений можно было ожидать всякого, но такого...

«Гнездо» наше, вот оно какое! Много я с тех пор видел на своем веку жилищ простых советских граждан, но ей богу, чего-либо подобного не припомню. Не сделав еще и шагу, я ударился о стул, который от этого удара и с места не сдвинулся — некуда ему было, да и не мог он, бедный, стоять в другом месте, ибо сразу же за ним, без миллиметра свободного пространства, на низеньких деревянных ножках покоился полосатый пружинный матрац, на дальнем краю которого, у стены, лежало свернутое в шерстяном одеяле постельное белье, слева между дверью и окном был втиснут маленький столик, с которого слишком большая скатерть свисала почти до пола, справа пространство между дверью и противоположной стеной занимал старомодный по рисунку, но несомненно новейшей выделки тяжеловесный комод, а за изголовьем матраца чудом приютились еще тумбочка и странное для моего неопытного глаза матерчато-металлическое сооружение, позже оказавшееся раскладушкой, на которой предстояло спать именно мне в течение без малого полутора лет. В двух или трех местах в стены были вбиты крюки, где на деревян-

ных и проволочных плечиках висели костюмы отца, и это дополнительно придавало комнате какой-то бивуачный вид.

— А сейчас мы поужинаем, поставим кофе. Тепло здесь, правда?

Отец несколько неуклюже пытался отвлечь меня (не знаю, насколько к этому ошеломляющему зрелищу была подготовлена мать, не помню и ее реакции), но я не сразу пришел в себя, и наверно растерянность, озадаченность моя более чем ясно читалась на моем лице. Но вот в этот момент из своей комнаты явилась соседка Лида, типичная русская красавица словно с лубочной картинки, с гладкими белокурыми волосами и пробором посередине, широким лицом, серыми глазами, безусловно белой кожей и безупречными зубами, одетая в простое домашнее платье, и с сияющей улыбкой воскликнула:

— Так вот они, наконец! Ну, ну, ну, с приездом!

И она поцеловала меня в лоб.

Тут началось чудо. Отец откуда-то достал заранее приготовленные яства, торт и большой кекс, пригласил и Лиду, у которой от такой роскоши глаза разбегались, она забавно охала и ахала, но поминутно вскакивала, чтобы то достать тарелку, то смолоть еще кофе, то поставить еще чайник на примус. А чудо заключалось в том, что этот вечер в жалкой отцовской норе запомнился как один из самых веселых, непринужденных, теплых и раскованных в моем детстве, когда во внешнем мире царил тяжелый туман, а здесь четыре человека устроили себе собственный мир легкой и незамутненной человечности. Позже, в суровые годы войны, а затем крайней студенческой бедности я нередко с уважением думал о стойкости духа своих родителей перед лицом неизбежных громадных трудностей, и это вселяло в меня новую жизненную силу. Но сегодня тогдашнее наше настроение видится мне несколько иначе: родители перенесли мыслью в свою молодость, в то время, когда они в такой же, если не более убогой бытовой обстановке вели жизнь, заряженную фантастическими надеждами, жизнь в постоянном общении

с подобными же романтическими и поэтому веселыми душами — ведь само слово «коммунальная квартира, коммуналка» возникло вовсе не как некое изначально негативное понятие, связанное с мучительным, обусловленным бедственной ситуацией, преходящим явлением — наоборот, это лексическое новообразование, производное от слова «коммуна», звучало в ушах опьяненных идеологией мечтателей, как возвешение той желанной формы «нового быта», что станет ядром, первоэлементом обещанного нового бытия!

Но не мог я, естественно, не задаваться со временем и двумя очевидными вопросами, которые напрашивались сами собой: как, почему, в какой голове возникла подобная свехоригинальная, на первый взгляд, планировка квартир? И почему в такое жилище поместили, будто нарочно, семью человека, как-никак претендовавшего на определенный статус именно в той организации, которая так самовластно управляла тогда страной?

Приходящее первым на ум объяснение, что помещение, собственно, предназначалось под кладовую, я отбросил сразу: на что тогда большое окно? Куда убедительнее выглядит, конечно, другая версия: одинокому рабочему, считалось, вполне достаточно и шести квадратных метров, пусть он «живет» на заводе, а дома только спит. В те времена и в голову никому не могла прийти мысль, что и у одиночки, и у проживающей рядом с ним, в «основной» комнате, семьи может быть какая-то частная жизнь, что между ними могут возникнуть какие-то особые, если угодно, даже нежелательные, а то и напряженные отношения. На подобное не только внимания не обращали — над такими сентиментальностями смеялись как над буржуазными предрассудками. Да и наблюдение, точнее, слежка чужих людей друг за другом признавалась делом чрезвычайно полезным, государственным, достойным всяческого поощрения. Все это так. И тем не менее нельзя с порога отвергнуть и иное толкование: архитекторы привыкли при планировке «квартир будущего» выделять специальные углы для прислуги. В десятках других, несравненно

более престижных квартир видел я такого же типа каморки, где действительно жили домработницы, а в других, также предназначенных в принципе для начальства, но до лучших времен поделенных «пока» между несколькими не столь начальственными семьями, имелись явно задуманные для той же цели клетушки, в которых, однако, ютились обычные граждане, в то время, как прислуга ночевала на кухне (так было, собственно говоря, и у Гелибтеров, а в дальнейшем я сам не раз жил в коммуналках, где кухня ночью напоминала самую настоящую ночлежку, классическую ночлежку — этому мне еще предстоит на последующих страницах посвятить, думаю, не один абзац). Вся соль была в том, что яростные борцы против «эксплуатации человека человеком» отнюдь не только от своих подчиненных по работе требовали — и имели «моральное право» требовать — личных услуг во имя «дела», для них как раз домашнее прислуживание было настолько нормальным, естественным, стандартным делом, что оно столь же стандартно закладывалось и в планировку домов, построенных на века. Почему же на «стандартном городке» завода «Шарикоподшипник» не должно было отразиться это стандартное архитектурное мышление советских домостроителей и проектных бюро?

В наши дни, когда мы такого навидались и наслышались, что и у людей далеко не простодушных волосы дыбом становятся, более существенным, сложным, озадаченным и озадачивающим покажется, пожалуй, второй вопрос. Какой парадокс! — парторг живет хуже своих подопечных — да кто этому поверит! Но в то переходное от секты к Аппарату, от праноменклатуры к номенклатуре время никакого парадокса в этом не ощущали. Не говоря уже о том, что немало еще было среди «тружеников подписи и гербовой печати» людей субъективно честных, лично скромных, даже потенциально жертвенных, общественное мнение и «партийная этика» предполагали, что низшие чины в гигантской иерархии власти — точнее, партии — должны находиться, как было принято говорить, «в гуще народа», должны всем своим образом жизни являть пример



бескорыстного служения не только этой власти, но как бы и этому народу. И мой отец являл такой пример зримо, ибо в нашем же доме — доме плохоньком, деревянном, неаккуратно оштукатуренном и окрашенном в какой-то неприятный желтый цвет — жили по меньшей мере две семьи иностранных рабочих, которые могли перед коллегами своими свидетельствовать, до чего убоги жилищные условия их парторга. А ведь немецкая семья Мейснеров, с сыном которой, Борисом, мы затем постоянно ездили вместе в школу, обитала в большой комнате прямо над Лидой, а многодетное итальянское семейство со странной фамилией Гуэрра («война») и вовсе обладало отдельной квартирой в соседнем подъезде (я впоследствии долго тешил себя мыслью, что мой школьный товарищ стал известным на Западе русистом и советологом, но однажды, всего лет пятнадцать-двадцать тому назад, мне случайно попала на глаза биография «того» Бориса Мейснера, и оказалось, увы, что это совсем другой человек; а вот любимая мной во времена Железного занавеса итальянская газета «Унита» в течение многих лет имела в Москве очень плодovitого и деятельного корреспондента по имени Адриано Гуэрра, но я, человек любопытный, так и не решился позвонить ему и спросить, не жил ли он в детстве на далекой нашей окраине, в «стандартном городке»).

Вообще же, мне кажется нелишним высказать здесь, на основе отчетливых своих воспоминаний — которые считаю достаточно объективными хотя бы потому, что я прожил в коммуналках, общежитиях и временно снятых комнатах около сорока лет — кое-какие мысли и наблюдения, которые резко расходятся с общепринятыми ныне мнениями, по крайней мере в некоторых важных деталях и оценках.

Коммунальный быт, определивший характер и атмосферу целой эпохи в истории нашего общества, даже тогда, после смерти от удущья и политического разгрома сросшегося с ним поколения двадцатников, носил в себе начала и потенции неоднозначные, многовариантные как в психологическом, так и в социальном измерении. В отличие от

позднейших, в особенности послехрущевских, обитателей коммунального мира, хозяева «отдельных комнат» в этом мире никоим образом не чувствовали себя униженными социально, дискриминируемыми человечески — и не только потому, что они составляли подавляющее большинство городского населения и почти совершенно были лишены возможности собственными глазами видеть более удобные, более традиционные жилищные условия тоненького привилегированного слоя, но и потому, что, какую недоверчивую усмешку это ни вызовет у сегодняшнего россиянина, многие семьи безусловно привилегированных, высокопоставленных людей тоже только мечтали — или даже не мечтали — об «автономном» статусе будущего своего жилья, а пока вполне довольствовались какой-нибудь рядовой комнатой, выходящей в рядовой советский коридор (примеров тому мне придется, по ходу дальнейшего описания детства своего, приводить немало, и думаю, что они окажутся достаточно наглядными и убедительными). При этом надо иметь в виду, что и те счастливицы из счастливиц, кого советская власть побаловала отдельной квартирой, были, как правило, еще очень далеки от той жилой роскоши, которая ныне для верхушки общества считается нормой. Чтобы не быть голословным: на той же лестничной площадке, что и Гелибтеры, в аналогичной квартире жил Осипов-Шмидт, заместитель наркома тяжелой промышленности Орджоникидзе, управлявший, если не ошибаюсь, всей химической и резиновой индустрией Советского Союза; в знаменитом «доме на Набережной», официально именовавшемся Домом правительства, я много раз бывал в гостях у своего одноклассника Фогелера, чья мать приходилась единственной дочерью одному из основателей Коминтерна, Мархлевскому, и чей отец, виднейший немецкий художник, был еще до прихода к власти Гитлера приглашен в Москву не только как умелый пропагандист, но и как пропагандистская вывеска — их квартира даже на меня, пленника коммуналки, никакого особого впечатления не произвела; и лишь однажды мне довелось увидеть настоящие хоромы, великолепно к тому

же обставленные в европейском стиле конца века — когда один из моих шахматных друзей привел меня в дом своего дяди, начальника строительства московского метро профессора Ротерта, на Малой Бронной; только — будущий метрополитен в те годы стал в такой мере средоточием интереса, надежды, энтузиазма москвичей, ему придавали такое исключительное значение «на самом верху», его строительство настолько ощутимо влияло на всю жизнь города, что Ротерт сделался поистине одной из ключевых фигур советской столицы, его имя если не гремело в широких слоях народа, то произносилось по радио, упоминалось в печати, в том числе международной, всегда с величайшим пиететом, да ведь безусловно хоть некоторые из его многочисленных иностранных посетителей приглашались к нему и домой (тогда это еще не возбранялось даже менее знаменитым гражданам)... Однако, дело было не в одних сравнениях, не в одном отсутствии зависти или же какого-либо чувства ущемленности, социальной неполноценности. Канул в прошлое утопический максимализм, при воздействии которого родился миф и мир коммуналки, еще не разразилась жуткая эпидемия доносительства, для которой коммуналка стала роковой, заматерелой питательной средой, и в этом промежутке те особые взаимоотношения, которые естественно складывались между людьми в этой своеобразной стихии, помогли выжить, на фоне «зреющего» сталинизма, многим моральным, культурным, духовным ценностям русской народной жизни, русской цивилизации, русского Серебряного века. Интеллигентные люди не только легко находили друг друга, они оказывались друг с другом в многообразных и тесных жизненных связях, ситуациях общения, взаимных зависимостях. Это создавало некую подспудную, сокровенную атмосферу, какую-то особую магию духовных контактов, определенную почву, в которой сохранялись живые семена ренессансного Начала века. Но и помимо этого специфического феномена, коммуналка, как историческое явление, обладала известными первичными, заложенными в самой ее природе, хотя далеко не всегда вполне раскрывав-

шимися чертами, которые сущностно соответствовали некоторым исторически характерным, глубоко укоренившимся, да и шумно прославлявшимся и прославляемым ныне свойствам русской народной души — прежде всего тяге к «соборности», к той метафизической совместности, которая на реальном уровне, на уровне психологического и практического коллективизма, в страшную ту эпоху фактически противостояла коллективизму идеологическому и психополитическому, что столь упорно насаждался тоталитаризмом сталинской чеканки. Так в недрах коммуналки зарождались самые противоречивые тенденции, явления и качества, от взаимного духовного обогащения до массового стукачества, от пошлого мещанского самоутверждения до инстинкта взаимной поддержки и взаимной выручки. В этой связи хочу подчеркнуть, что я, на протяжении сорока лет поменявший, насколько могу вспомнить, двадцать два пристанища весьма разных достоинств, ни разу — действительно, ни разу! — не стал свидетелем какой-либо свары или грызни между соседями, хотя, если верить установившемуся литературному штампу, такое везение должно быть отнесено к области фантастики. И наоборот, при неизбежной в коммуналках прозрачности внутрисемейной жизни выплескивались наружу конфликты, которые в изолированных квартирах могли тлеть годами, без того, чтобы кто-либо вне семейного круга знал или подозревал о них. Такой пример удивительного мира и согласия между соседями при далеко не мирной и согласной жизни супругов я наблюдал как раз в той, первой в моей жизни коммунальной квартире, где нашими единственными соседями были Лида и ее муж.

У меня и сейчас теплеет на сердце, когда я вспоминаю отношение ко мне Лиды. В этом не было ничего от той чуть притворной, чуть приторной умиленности, которую многие бездетные женщины проявляют к любому хорошенькому ребенку; тем более ничего от той подобострастной услужливости, которая возникает, даже произвольно и безотчетно, у некоторых сограждан наших перед лицом всего, что имеет какое-либо отношение к загранице, к За-

паду. Нет, это было от всей души, щедро и искренне, чисто по-человечески. А какая полнейшая гармония, какая доброджелательная взаимная предупредительность отличала повседневное общение ее с матерью на этой кухне-передней с примыкающим однометровым умывальником (уборная находилась, к счастью, во дворе, что было зимой, при отсутствии мух, совсем нестрашно) — здесь ведь и одной хозяйке было достаточно тяжело справляться со всеми объективными сложностями, когда, например, любая стирка с последующей сушкой фактически парализовала всю кухню.

И та же самая Лида постоянно жестоко глумилась над мужем, приземистым, широколицым, слегка рябым человеком с грустными глазами под густыми черными бровями, который беспомощно, беспрекословно, безысходно поддавался власти жены. Из разговоров родителей, или считавших, что я вообще ничего еще не понимаю, или решивших, что я так или иначе уже во всем разбираюсь и все знаю, или надумавших косвенно просветить меня насчет кое-каких темных сторон жизни, до меня скоро дошло, что у Лиды любовная связь с не столь уже молодым врачом заводской поликлиники — а родители, хотя очень жалели мужа, относились к ее роману с пониманием, так как, по странному для меня выражению матери, «врач наверно очень хорошо знает женское тело». Средства, которые Лида применяла, чтобы извести и унижить свою безответную жертву, были вызывающе оскорбительны и грубы — но я еще не был в состоянии осознать, что на самом деле должен чувствовать этот человек. Почему-то у супругов был всего один ключ от комнаты, и Лида, уходившая на работу позднее мужа, регулярно забирала его с собой, а возвращалась она после своих почти ежедневных свиданий часам к десяти-одиннадцати. Часто, очень часто, особенно зимой, улыбающийся через силу, то и дело впадающий в мрачные раздумья сосед приходил к нам, присаживался за столик, молча и медленно съедал все, чем мать его угощала, и к моей величайшей радости обычно тихим голосом предлагал сыграть в шахматы. Моя давняя любовь к этой игре

превратилась в ближайшую зиму, когда в Москве состоялся большой, шумно разрекламированный международный турнир — о чем еще будет сказано в дальнейшем —, в настоящую, многолетнюю, многозначительную в моей жизни страсть. А сосед играл относительно неплохо (отца я к тому времени превзошел уже неизмеримо), к тому же у него была интересная шахматная книга, «Международный турнир в Блесте», из которой мы выбирали прокомментированные партии Алехина, Нимцовича и других корифеев и с глубокомысленным видом да собственными глубокомысленными интерпретациями ходов разыгрывали их на доске в переменном темпе — долго останавливались, наслаждаясь, на форсированных комбинациях, предпочтительно с жертвами, а всякое там позиционное лавирование пробегали с недоуменным безразличием. Отец, когда бывал дома, следил за нашими упражнениями с веселым недоверием, но никогда не проявлял каких-либо признаков нетерпения. Мать в это время обычно что-то читала, лежа на матрасе-кровати. И вот поздно вечером распахивалась дверь квартиры, в ней появлялась раскрасневшаяся, пышущая здоровьем и счастьем, вся искрящаяся Лида, тут же несколькими решительными шагами подходила к мужу и неожиданно резким, властным голосом командовала:

— А ну, чтобы сейчас же домой! Как не стыдно надоедать людям! Как будто на кухне места не хватает! Ишь, гость какой нашелся! Да ведь мальчику (это мне-то) давно пора спать!

И обращаясь к родителям:

— Уж вы извините за его бестактность! Что с него возьмешь!

Но нередко сосед и действительно тихонько садился на кухонную табуретку, взгромоздив перед собой на подоконнике солидную пачку газет, и углублялся в них, бедный, зная ведь, что все равно во всех без исключения газетах пишут обязательно одно и то же. Однажды, когда я ночью случайно проснулся, я услышал за стеной беспощадно насмешливый голос Лиды:

— Опять, гляди, газеты читает! Нет бы поколоть дрова!

Таково оно было, коммунальное житье. И таковы были его гримасы.

А сколько я насмотрелся потом похожих случаев, похожих ситуаций! Потом...

## 17.

Отпуск отца кончался, и было решено перевезти все вещи, да и самим окончательно переехать в следующий общий выходной день (тогда воскресенье официально не соблюдалось, недели как таковой просто не существовало, месяц разбивался на пять шестидневок, и каждое делящееся на шесть число являлось всеобщим «выходным», т.е. днем отдыха).

Накануне отец для «отдохновения души» решил повести нас в «настоящий московский» ресторан.

Выйдя на Садовое кольцо, мы почему-то повернули не как обычно налево, в направлении Красных ворот — отец лишь коротко сказал:

— Сегодня все идут на Сухаревку. Пойдемте!

Действительно, нечто особенное было заметно: чуть более густое движение пешеходов, чем всегда, а в потоке медленно ступающих людей чувствовалось едва уловимое волнение, внутреннее напряжение. На углу Мещанской отец остановился. Перед нами возвышалось могучее строение из темного, дышавшего стариной камня, с причудливыми украшениями и какими-то странными пристройками. Отец погрузстнел, обратился ко мне:

— Видишь, это Сухарева башня. Ее стоит запомнить. Красивая ведь. Очень скоро ее сломают. Может быть, на днях.

Мать была как громом поражена:

— Да что ты говоришь! Не может быть. Почему?

Отец только пожал плечами:

— Мешает движению транспорта.

Мать недоуменно покачала головой. Но ...

Разговор этот не мог быть окончен вот так, на ноте если не откровенно диссонансной, то в чем-то фальшивой. Но

оказалось, что отец лишь отложил его окончание на более благоприятный момент, когда мы среди ресторанного великолепия и комфорта настроимся на более оптимистический лад.

А великолепие и комфорт в ресторане «Гранд-отель» были поистине ошеломляющими. Сама отделка зала, при всей перегруженности, затейливости и подчеркнутой пышности все же стилистически и композиционно цельная, отличалась от не разрушенных и поныне ресторанных интерьеров типа «Астории» («Русская кухня») или «Авроры» («Будапешт») прежде всего какой-то сугубо индивидуальной, неповторимой пространственной гармонией, атмосферой просвещенного богатства, что ли. Но то, что уже тогда выделяло «Гранд-отель» ярче всего среди своих собратьев, была сохранившаяся чудом, вопреки всем революционным бурям и всем пролетарским атакам («атакующий класс» как раз ведь завоевывал монополию на роскошь для своих вождей), действительно демонстративная, вызывающая буржуазность стильного убранства столов и аристократичность драгоценной посуды, на которой каждое блюдо представляло собой произведение не только кулинарного, но и изобразительного искусства.

Отец рассчитал верно. Каково бы ни было настроение каждого из нас до прихода сюда, вся эта обстановка не могла не заразить нас праздничностью своей, не отгеснить, хоть на какое-то время, впечатления последних дней. Между тем, он то и дело доливал себе и матери из очень красивой бутылки в очень красивые бокалы очень красивого цвета вино, да и мне дал пригубить. А затем он, задумчиво выглядывая в окно на вечеряющее небо над Китайгородом, стал по-особому мягко, с какой-то подчеркнутой ненавязчивостью говорить:

— Надо видеть суть. Сейчас главное — поставить на ноги промышленность, вырастить технические кадры, укрепить колхозы, чтобы хотя бы хлебные карточки можно было отменить. Это процесс необходимый, иначе вообще дело не пойдет. А для этого нужна крайняя целеустремленность. Самоограничение. Централизация предельная.



Приходится многое урезать, вот и культура от этого страдает. Сейчас культура должна работать в том же направлении, что и все остальное. Тебе наверно кажется, что искусству конец? Ошибаешься. Просто художники поняли, что сначала надо делать то, что нужно партии. А когда трудности эти кончатся, можешь быть уверена, все пойдет своим чередом, будет сколько угодно и всякого искусства и художественных групп, и художественных направлений, вот увидишь. Все это временно. А какие жанры теперь нужны? Конечно, те, которые действуют на массы. Кино, естественно. Ну и литература. Ты даже не представляешь себе, что в этом смысле делается. Писательский съезд скоро будет! Через несколько лет все будет неузнаваемо, увидишь. Это я говорю потому, что знаю.

И так далее. В его прерывистой, между короткими глотками вина и более редким закусыванием, насильственно бодрой и все же в каком-то затаенном подтексте и подтоне меланхоличной речи явственно ощущались и потребность в самоутешении, и искреннее желание рассеять мрачные мысли и страхи матери, да и мои, но вместе с тем здесь было и продолжение все того же упрямого самовоспитания ложью, все того же душевного самоспасения путем неустанного идеологического самовнушения. Тем не менее по лицу матери было видно, как ей страстно хотелось верить, как в ней постепенно рассасывались, растворялись те самые страхи, как снова зажигалась в ней надежда, как пережитое смягчалось и преображалось в ее восприятии. Разумеется, и я поверил, и мое расположение духа переменялось.

Когда мы вышли на улицу, я впервые ощутил старую Москву не как экзотику, а как свой город, как место, которое всю жизнь будет у меня в крови, в котором у меня много своих домов — а «Гранд-отель» будет одним из самых «своих».

До сих пор ни один вид в Москве не коробит меня так, как бездарная, безыдейная, безликая задняя — обращенная к музею Ленина и Красной площади — сторона гостиницы «Москва», заменившая собой по прихоти какого-

то кретина своеобразное и красивое здание «Гранд-отеля», о котором вспоминаю всегда со скорбью и ностальгией.

В тот вечер мы пришли домой к Гелибтерам в настроении если не радужном, то, во всяком случае, уравновешенном, примиренном. Мы были готовы к переезду — и практически, и морально.

Но не тут-то было. В ту самую ночь я заболел. Мне измерили температуру — ужас! Вызвали врача. У меня была скарлатина.

Чтобы не заразилась Рут, меня тут же ночью отвезли в Боткинскую больницу.

## 18.

Скарлатина оказалась поистине счастливой случайностью, в труднооценимой мере определившей всю мою жизнь, самое мою личность.

Связано это было с тремя совершенно разнородными моментами, значение которых для сердцевинных начал моего развития я осознал, в полном объеме, лишь много лет спустя.

Момент первый. Мать на следующий же день принесла мне в больницу огромный том Пушкина и еще две-три книги русских классиков, кажется, «Детство. Отрочество. Юность» Л. Толстого, рассказы Чехова и еще что-то, до чего я не успел и дотронуться, хотя читал, насколько силы позволяли, с раннего утра и до позднего вечера. Цель родителей была совершенно естественной, притом двойной: мне надо было вжиться в русский литературный язык, и мне надо было вжиться в русскую историческую жизнь, в русскую литературную традицию, в русскую духовную атмосферу, пусть на уровне детского восприятия. Несомненно, я тогда настолько отвык от родного языка, что надо мной нависала реальная опасность утратить его как основное орудие интеллектуальной жизнедеятельности. Мой друг Адик Розанов уверяет, а недавно даже написал в одной из газет, что я в то время вообще плохо говорил по-русски. Такое впечатление возникало, по-видимому, не

только из-за явственного акцента, который я не мог не приобрести за годы почти исключительного общения с немцами, но и в силу того, что пострадала беглость речи, ибо мыслил я по-немецки и в уме переводил на русский, бракуя при этом неправильные выражения, всегда возникающие при прямой подстановке слов — довольно сложный процесс для человека, не имеющего навыков синхронного перевода! Пушкин спас мне тогда, в больнице, самое драгоценное — назначенный мне судьбой язык, будущий закон и сосуд всех мыслей, всех стремлений, всех страстей моих. Вместе с тем, тогдашнее чтение только и вернуло меня на родину, ибо ни фанатическая любовь к ней, в которой меня воспитал отец, ни столь потрясшие меня картины ее реальной жизни по сути дела не имели никакого отношения к России как таковой, к ее генам, ее органике, ее внутреннему существу. Русский мир — пока без его тайн и глубинных проблем — открылся мне впервые на той железной койке, и путеводителями моими были классики.

Между тем, книги эти породили во мне желание, или точнее мечту, которой я затем предавался многие годы — я хотел стать писателем. Об этом намерении я объявил во всеуслышание, как только вышел из больницы, да с такой твердостью, что все окружающие приняли мои слова всерьез, об этом я не уставал думать, говорить, фантазировать и подростком, и юношей, и даже взрослым, наконец; но если после ряда попыток выразить себя в романе, в новеллах, в киносценариях, в целых циклах поэтического самовоплощения я пришел-таки к тем видам литературной деятельности, для которых у меня в самом деле есть данные, и стал с одной стороны довольно плодовитым эссеистом и публицистом-самиздатчиком по проблемам российской истории, политологии, культурологии, геополитики, философии, филологии и т. д., а с другой стороны не менее плодовитым поэтом-переводчиком, то тогда, в 1934 году, не только мои жизненные планы были совершенно иными, но и общественная обстановка придавала им какую-то сомнительную, неопределенно-переливчатую окраску.

Ибо: каким писателем, на взгляд окружающих, на взгляд любого советского человека какого угодно круга, воспитания, мировоззрения я мог бы стать? Мои тайные воздушные замки, непосредственно связанные с классической литературой, были явно не от мира сего и могли вызвать лишь смех, если бы я выдал себя. Но в то время еще существовала в русской культуре — вопреки столь распространенному ныне мнению — некая подспудная, не признанная официально, но вполне реальная альтернатива: наряду с поощряемой всеми правдами и неправдами, унифицированной идеологически, объединяемой как раз в тот год организационно, «советской» (она же «партийная») литературой и культурой, не сдавалась отнюдь еще и, несмотря ни на что, имела свою нишу в сознании интеллигенции культура и литература другого духовного мира — наследница Серебряного века. Она притеснялась экономическими, политическими и пропагандистскими средствами, но жила — хочу подчеркнуть — пока вполне легально. Когда я настойчиво стал говорить и в семье, и знакомым, а потом и в школе о своих литературных интересах и видах, это всеми воспринималось, конечно же, как своего рода заявка на писательскую карьеру в самом что ни на есть «советском» смысле (о характерной беседе с Михаилом Гелибтером на эту тему расскажу ниже). И тем, что уже очень скоро, в мальчишеские годы, меня все-таки властно увлекло на путь альтернативный, в тот другой духовный мир, я, смею думать, имею право гордиться.

Момент второй. Вряд ли где-нибудь так наглядно, так колоритно, как в нашей scarlatinной палате, предстал бы передо мной живой символ того бесподобного кастового, социально-мазохистского и вместе с тем садистского менталитета, который являлся психологической основой всего советского общества. Неповторимым символом таким для меня стала неопределенного, но нестарого возраста, полная, с волевым подбородком женщина, обладавшая, если не ошибаюсь, рангом сестры-хозяйки. А дело было так. Родители мои, где-то прослышав, что при scarлатине дети теряют аппетит, а должны питаться как можно лучше,

стали передавать мне всякие немислимые в тогдашней Москве лакомства, купленные, разумеется, в одном из знаменитых валютных магазинов «Торгсина» (ковер берлинский!). Передачи эти превратили меня в глазах сестры-хозяйки в некоего пришельца из небесных сфер, в существо высокопривилегированное, и она отныне говорила со мной масляным, поющим, просветленно-восторженным альтом, составлявшим резкий контраст тому железному, иногда даже подчеркнуто грубому тону, в котором она обращалась к остальным ребятам. Больше всего поразил меня такой эпизод: нам подавали на обед какие-то ужасные котлетки, имевшие такой вид, что я бы к ним не притронулся, если бы у меня и не было никаких деликатесов; когда я в первый же день отказался от малоаппетитного блюда с наивностью ничего не подозревающего избалованного дитяти, сразу же двое или трое сопалатников с жадностью невинных душ, натерпевшихся долгого голода, крикнули:

— Мне! Дай мне! — но тут вмешалась сестра-хозяйка, скомандовав голосом неподражаемо ледяным и вместе с тем угрожающим:

— Тихо! Чего захотели! Вам не положено! — а затем ко мне с самой изысканной мелодичностью и мягкостью:

— Не надо им ничего давать. Им не полагается.

Своеобразная дилемма для нее возникла, когда у меня завязались приятельские отношения с пареньком, лежавшим на койке слева от меня, которому было уже лет тринадцать или четырнадцать — он произвел на меня большое впечатление в первую очередь тем, что знал наизусть целый ряд стихотворений Пушкина, которые я-то раньше никогда и не читал, к тому же он, почти уже выздоровевший, охотно помогал мне, доставая из нижнего ящика тумбочки книгу или еще что-нибудь, а однажды, когда я протянул ему кусок шоколада, он, увидев на обертке название фабрики, со смехом прочитал «Рот-фронт» и к моему радостному удивлению совершенно правильно воспроизвел символический жест, который немецкие коммунисты всегда делали при этом приветствии — поднял на согнутой руке сжатый кулак пальцами вперед. Сестра-хозяйка вна-

чале не скрывала неудовольствия своего, когда при очередном обходе заметила такое неподобающее сближение наше, но то, что ее неодобрительно сдвинутые брови не возымели на меня ожидаемого действия, явно придало ситуации новый характер, и с этого момента мой сосед был ею признан если и не полноправно привилегированным, то хотя бы «допущенным» лицом, которому кое-что да «положено» из скромных радостей больничного быта. Так я благодаря scarлатине достаточно рано был посвящен в специфическую мыслительную структуру типично «советского человека» — а типичность той сестры-хозяйки подтверждалась затем тысячи раз на протяжении жизни —, и это стало для меня открытием, может быть, не настолько ошеломляющим, как вид голодных крестьян и оборванных беспризорников, но психологически зато, пожалуй, намного более долгодействующим.

Момент третий. Не будь той болезни, я попал бы в другой, старший класс, и школьные друзья мои были бы иные. При этом, естественно, было бы очень, очень жаль, если бы мальчишеские годы прошли без Вали Патковской, Лины Кариной, Майи Тенненбаум, Веры Коган, Адика Розанова да многих других интересных ребят — обо всем этом я в дальнейшем, надеюсь, подробно напишу. Но несравненно важнее, неизмеримо значимее по следу, оставленному в моей жизни, оказались вечера, которые я проводил дома у Р.А., школьные дни, которые мы вместе с ним прогуливали (почему не выписываю имени и фамилии, ниже еще объясню) — ведь именно в разнопредметном нашем диалоге, в игре совместных наших увлечений во мне впервые приняло осязаемые формы то, из чего постепенно сложились все мои исторические, политические, да и философские воззрения и убеждения — некая, пусть сырая система представлений и мыслей, некое раннее интеллектуальное кредо, некая праидеомомия.

Кроме трех этих совершенно однозначных для меня моментов, заставляющих меня и сегодня всей многопознавшей душой благодарить судьбу за ту давнюю болезнь, есть еще другой: если бы я на год раньше окончил школу,

то попал бы — при условии, что вообще поступал бы в Академию художеств — в Ленинград уже в 1940-м, войну встретил бы, обойдись все благополучно, полнокровным студентом, вряд ли был бы привлечен к строительству укреплений на Карельском перешейке и не встретил бы, значит, Нину, не стал бы летом 1942-го в Самарканде писать, как своего рода вступительное сочинение, те три или четыре эссе, которые обратили на меня такое заинтересованное внимание Николая Николаевича Пунина, но самое главное, едва ли оказался бы во время блокады именно на той квартире, в той, незабываемой библиотеке...

По-разному могла сложиться внешняя жизнь. Неизвестно только, как сказались бы во мне дедовские гены, стал бы я все равно человеком, существом мыслящим, если бы не случайная инфекция...

## 19.

В том, что при всем натужном оптимизме и идеологической крепколобости отец мой кое в чем отличался от сталинского образца «строителя новой жизни», я убедился в ближайшие месяцы.

И не только в явной натужности его оптимизма было дело — оптимизма, судорожно, но плохо скрывавшего печать затаенного разочарования и неосознанной тревоги. Важнее для меня лично были его честные усилия вопреки всему сохранить что-то от того культурного, духовного пафоса, который он полагал неотъемлемой, изначальной, стержневой частью принятого им символа веры. Его старания в этом смысле, направленные на мое воспитание, полностью совпадали с моими новыми интересами.

В весенние дни, когда я уже полностью оправился от болезни, но по более чем разумному решению родителей школы не посещал, я раз десять, то с отцом, то с матерью, то один осмотрел Третьяковку — это был поистине роскошный подарок отца, тем более, что я, как-никак сын искусствоведа-дилетанта и профессиональной художницы,

совсем неплохо уже знавший и главных творцов итальянского Возрождения, и живопись Германии, понятия не имел об искусстве русском — ведь даже у нас дома, насколько помню, имелся лишь один альбом Серова, и то весьма неважно изданный, а в Германии, тем более, никто вообще не занимался и не интересовался такой «устаревшей экзотикой» (да и совсем недавно, в 1991 году, во время лекции, прочитанной мной студентам-стипендиатам фонда Фридриха Эберта при Боннском университете, обнаружилось, что в аудитории из двухсот приблизительно человек ни один никогда не слышал ничего ни об одном русском художнике, кроме разве Кандинского — его, правда, знали человек двадцать пять-тридцать). Моим восторгам теперь не было конца, хотя восприятие этого нового мира, разумеется, оставалось простосердечно-наивным, вполне детским. Кумиром моим на несколько лет сделался Суриков — которого, повзрослев, я давно ставлю не слишком высоко, но мощь которого внушила мне благотворное представление о мощи русской истории.

Особенно же охотно отец брал меня с собой на встречи с иностранными писателями, которые он устраивал для подопечных своих в просторном зале заводской библиотеки. Приглашались жившие в Москве немецкие и венгерские литераторы-эмигранты, и среди них, наряду с разрекламированными тогда, но полностью забытыми ныне и у нас, и у себя на родине сочинителями-соцреалистами, типа Бределя, Шаррера или Гидаша, появлялись некоторые достаточно значительные фигуры — так, спорный, неоднозначный во многом, своевольный поэт-экспрессионист, ставший к тому времени правоверным, но не правомерным «партийцем», И.Р. Бехер, своеобразный и сильный драматург, впоследствии сыгравший немалую роль в венгерском народном восстании 1956 года, Дьюла Хай, а также видный литературовед, теоретик искусства и философ Дьердь Лукач, тоже принявший, притом на ведущем месте, участие в тех событиях, но оставивший след отнюдь не только в истории Венгрии. Однако, странные это были вечера. Убежден: я был единственный в



зале, кто хотя бы чисто интуитивно различал этих докладчиков по духовному их статусу и ощущал тщетность сокровенного, отчаянного, хотя наверно и безотчетного стремления некоторых из них найти в этой аудитории не слушателей и не спорщиков, а стимулирующих и стимулируемых собеседников — я ставил себя на их место и чувствовал, что это им жизненно необходимо, так как все, что они мыслили проповедью, давно становилось монологом в пустоте. А их марксистская вера не позволяла им уходить в те духовные дали, куда сопровождающих не берут, они хотели идейно действовать и воздействовать, сейчас, непосредственно, ощутимо — а для этого требовалось, опять-таки по привычной им марксистской логике, искать отзвука, или точнее, созвучия именно здесь, в рабочей среде. Неужели же эти высокоодаренные люди не видели очевидного, не понимали элементарного, всего того, что мной, в мои одиннадцать-тринадцать лет, было не только начитано и продумано, но в какой-то мере и внутренне пережито уже — ибо я быстро привык относить слова Пушкина, Лермонтова, Шиллера и других о духовном творчестве, о противостоянии творца толпе к своему собственному будущему! Какими ребяческими ни были мои мечтания — жалкие надежды и печальные старания этих интеллектуальных носителей отвлеченнейшего пафоса пролетариопоклонства, которым впоследствии потребовался сталинизм на их собственной родине, чтобы избавиться от дурмана классово-мистической мистики, представляли собой ведь куда более безнадежную и гротескную погоню за миражом, чем даже самые дерзкие видения моего перегретого воображения. При всем этом иностранные, и особенно немецкие, рабочие на отцовском заводе принадлежали к далеко не худшей части прославленного класса, они в большинстве своем приехали к нам не как жертвы экономического кризиса и не как преследуемые фашистской диктатурой коммунисты, а как своеобразные идеалисты, надеявшиеся трудом своим помочь в создании «нового мира» в отдельно взятой стране, чтобы и они сами под старость, и их дети и внуки могли насладиться

когда-нибудь плодами праведного этого труда именно здесь, на новой родине — это было движение массовое, никак не ограничивавшееся крупной промышленностью, а тем более Москвой, движение в своем роде пионерское, устремившееся немалой своей частью как раз в глубинку, в небольшие города и сельскую местность — осколки его, чудом пережившие разгром и истребление 1937 года, мне встретились в жизни затем не раз, и чаще всего в трагических ситуациях, в крайне бедственном состоянии. Экономика страны несомненно нуждалась в их труде, в их, как правило, более высокой, по сравнению с безграмотными нашими работягами, квалификации, они знали это и чувствовали себя морально и социально вполне уверенно. Таким людям — и это в полной мере относилось к рабочим с «Шарикоподшипника» — были, естественно, не чужды известные культурные и культурно-политические интересы, им с ранних лет было привито неподдельное уважение к светилам духовного мира, и неудивительно, что чтения и доклады, устраиваемые отцом, очень хорошо посещались. Но интерес и уважение эти не могли быть глубокими, живыми, в них не было никакого внутреннего напряжения, они не определяли, не меняли мыслей, эмоций, забот этих людей. Там, где гости-литераторы нафантазировали себе интенсивное сопереживание и осмысление своих идей и образов, они наталкивались на постоянное, искреннее, но поверхностное и бесстрастное внимание слушателей — и лишь естественно, что после таких «дискуссий» во всем их поведении и облике сквозило невысказанное разочарование. Для отца же, не строившего себе насчет всего этого никаких иллюзий, организация подобных встреч сделалась некой психологической самореализацией — душевной потребностью, в которой находила отражение, думаю, древняя любовь всего рода нашего к книге.

Но в это же время Михаил Гелибтер, наоборот, накачивал себя энтузиазмом по поводу «гигантского строительства» и «второй сталинской пятилетки». Он относился, или точнее, прибил к той сравнительно неболь-

шой части еврейской интеллигенции, которая и после ликвидации НЭПа, подавления культурного плюрализма и сплошной — во всех смыслах слова — индустриализации общественной и идейной жизни продолжала, будь то от души или с нечистой совестью, активно сотрудничать с режимом, служить режиму и, по логике вещей, восхищаться режимом. Вероятно, это было не в последнюю очередь связано и с его личным повышением в должности — где-то весной он перешел из своего института на какой-то видный пост в каком-то крупном промышленном объединении, и это не только внушило ему очень высокое мнение о проницательности высшего руководства, но вызвало изрядный прилив нескрываемого самоуважения. Но чтобы объяснить невероятную психологическую нечуткость и неуклюжесть, проявленную им в столь памятной мне «воспитательной беседе», о которой сейчас расскажу, ссылки на номенклатурное назначение, пожалуй, недостаточно.

Гелибтер был как бы другой породы, чем отец, и это сказывалось буквально во всех дилеммных ситуациях, во всех общих и частных взглядах и предпочтениях, во всем мироощущении и жизнепонимании. В нем совсем не было мечтательности, зато много подчеркнутой деловитости. Хотя он, как и отец, счастье своего поколения видел в «революционном переустройстве общества» — искал он так называемый «коммунистический идеал» не в будущем, а в настоящем, под «делом» подразумевал не раздувание «мирового пожара», а тотальную переделку страны, да и поклонялся он не «пролетариату» или рабочему классу, а большевикам как особому, дескать, человеческому типу. Самого Сталина он превозносил не столько потому, что считал его политику «мудрой» и отвечающей «высшим целям», сколько потому, что видел в нем предельное воплощение именно этого человеческого типа. Наряду с «великим вождем», он с пиететом упоминал и его «сратников» (употребляя ужасно охотно как раз это слово и не чувствуя, что оно из-за газетного фразерства стало комическим), но особым его героем всегда оставался нар-

ком Орджоникидзе. О нем он любил рассказывать разные умиленные истории, а больше всего ему, должно быть, нравился анекдот (или правдивый случай?), который я, не столь уж часто с ним общавшийся, слышал наверняка раз пять, если не больше: однажды, мол, Орджоникидзе приехал на заводскую стройку, где в только что законченном корпусе полагалось установить оборудование, и главный инженер заявил ему, что в назначенный наркоматом срок невозможно качественно завершить работы, когда же Орджоникидзе настаивал на безусловном соблюдении и сроков, и качества, тот добавил, что есть законы физики, которые не перепрыгнешь, но тут — это Гелибтер всегда повторял торжествующим, дрожащим от упоения голосом — Серго (так называли Орджоникидзе) выложил свой самый сильный, всесметающий козырь: они ведь большевики, а большевикам нечего цепляться за законы физики — если их нельзя перепрыгнуть, то надо изменить их. При этих словах Гелибтер окидывал окружающих таким чистым взглядом, будто ожидал, что сейчас раздадутся всеобщие одобрительные возгласы, а то и бурные аплодисменты. Поэтому я приблизительно представлял себе, что он мне скажет, когда как-то раз — я был у них в гостях на какой-то вечеринке — он выразил желание поговорить со мной о моем будущем.

Настроение у него было отличное. Но не от выпивки — хотя, вероятнее всего, совсем без горячительных напитков дело не обходилось. Скорее от сознания вновь обретенного социального статуса. Но больше всего, несомненно, от чувства самоуважения и гордости, внушенного убеждением, что он принадлежит к исключительному типу людей, выполняющему исключительную историческую задачу — убеждением, в сущности являвшимся новой, слегка видоизмененной формой все той же самоидентификации с сектой, но уже неотделимой от сознания власти. Впечатление это усиливалось весьма характерным его облачением — на нем даже здесь, в домашней обстановке, во время дружеской вечеринки, была белоснежная гимнастерка строго «сталинского» покроя (у него был целый гар-

дероб таких «сталинок» самых разных цветов и оттенков, в европейском же костюме я его в Москве, кажется, ни разу не видел). Положив мне руку на плечо, он повел меня на кухню, взглядом велел работнице выйти, взгромоздился на первую попавшуюся табуретку и с едва прикрытой снисходительностью спросил, как будто это некая остроумная шутка:

— Ты, значит, хочешь стать писателем, я слышал?

Тон его подействовал на меня, как красный платок на быка, и я сказал сразу с вызовом:

— Да, хочу быть писателем! Обязательно буду!

Резкость моего ответа удивила его, он стал говорить серьезнее, но видно было, что он органически не в состоянии понять меня.

— Ты еще маленький, тебе еще думать и думать, выбирать и выбирать в жизни! Но я хочу, чтобы ты знал: когда ты вырастешь и захочешь заняться делом, то я всегда буду готов помочь тебе. Чтобы у тебя была настоящая работа и чтобы ты занял настоящее положение. У меня ведь нет сына, Рут вряд ли сможет стать кем-нибудь, потому хочу что-то сделать из тебя. Ты же знаешь, у нас, большевиков, такие задачи, что на несколько поколений хватит. А кто хорошо работает, тот и продвигается, у того и имя. Особенно, если он не без руки в руководстве, не без помощи, понимаешь?

Меня его непонятливость возмутила — я вовсе еще не улавливал моральной сомнительности нарисованных им перспектив, но сама его напористость доводила мое желание вывести его из себя до точки кипения.

— Я уже решил, — сказал я, — думать и думать, выбирать и выбирать в жизни я не буду!

Он стал задумчиво барабанить пальцами по столу, затем со вздохом вымолвил:

— Ну хорошо. Никто ведь не спорит: писатели и поэты нужны. Они должны описывать и воспевать дела большевиков, звать людей вперед. Но имей в виду, народ следует за нами не потому, что слышит слово писателей, а потому, что видит наши дела. Писательство — занятие

вспомогательное, литература — вторичное дело. Ты как следует раскинь мозгами, а потом решишь. Только, если ты сейчас слишком глубоко залезешь во всякие там литературные интересы, поезд может уйти и ты не успеешь стать хорошим инженером, а главное, настоящим большевиком! Все-таки более достойная роль — прокладывать путь, чем — как это у вас называется? — задрать штаны, бежать за большевиками.

Я понятия не имел, что это цитата, пусть искаженная, и не раздумывая, как-то по наитию ответил ударом на удар: — Не стану я задрать штаны, а другие пусть не задирают нос. Вообще большевики писателю не к чему.

Он вздрогнул и оцепенел. Затем сказал, покачивая головой:

— Ты еще совсем глуп. Как бы это не кончилось плохо. Жаль, жаль!

Увы, плохо кончил он. Менее четырех лет спустя.

## 20.

Лето 1934 года я провел в так называемом пионерском лагере, который школа им. Карла Либкнехта содержала в живописной сельской местности недалеко от Калуги. Кругом были густые, удивительно нетронутые, богатые грибами и ягодами леса, а в одну сторону открывался вольготный вид на широкое зеленое с цветными крапинами пространство, в глубине которого текла Ока. Первая встреча с русской природой, первое в нее погружение...

О жизни в лагере у меня сохранились почему-то лишь самые отрывочные, и то большей частью расплывчатые воспоминания. Тем ярче выступают, отдельными бликами, два-три эпизода, две-три картины.

Как это ни парадоксально, в Германии о нашем тогдашнем лагерном лете немало написано и напечатано. Совсем недавно, года два тому назад, я познакомился с молоденькой немкой, которая писала диссертацию (да, да, целую диссертацию, официальную!) о нашей московской школе — она специально приехала из Геттингена в Марбург,

чтобы взять у меня небольшое интервью, поинтересовалась, между многим прочим, и моими калужскими воспоминаниями и была явно разочарована, когда они оказались такими скудными и бледными. Но вот одно мое замечание вызвало ее живейший интерес: я сказал, что состав нашего лагерного «населения» отнюдь не представлял собой некий разрез ученического состава школы. Что я имел в виду?

В свое время в Москве вовсе не для того открыли немецкоязычную школу, чтобы воспитывать новое поколение «тельмановцев», как тогда любили называть немецких коммунистов — наоборот, она унаследовала многие черты дореволюционных учебных заведений подобного типа, да ведь никто и не ожидал, что в Германии к власти придут фашисты и сюда нахлынет поток эмигрантов-«красных борцов» с детьми своими. Первоначальный костяк составляло, с одной стороны, потомство «коренных» российских и прежде всего московских немцев, желавших, чтобы их сыновья и дочери владели языком и хотя бы в какой-то мере культурой предков, а с другой стороны, такие, как я — москвичи, выросшие в Германии или каким-нибудь чудом обученные сызмала чужой речи здесь, на родине. В двадцатые и особенно в начале тридцатых годов прибавилась еще одна группа — дети немецких рабочих и специалистов, товарищей по судьбе моих знакомых с «Шарикоподшипника». И лишь после 1933 года появился не столь уж и многочисленный эмигрантский контингент.

А вот в калужских лесах в то лето собрались в основном именно юные «тельмановцы». И это привело к знаменательному случаю, к знаменательной ситуации, не только запечатлевшейся в памяти, но и сыгравшей, должно быть, известную роль в эмоционально-духовном моем становлении. Как-то утром пришли московские газеты, и одно сообщение в них настолько взбудоражило большинство лагерников, что даже я, как-никак недавний политический фанатик похлеще многих, был поражен и озадачен: речь шла о «ночи длинных ножей» в Германии, когда по приказу Гитлера были убиты Рем, Штрассер и десятки других

видных деятелей нацизма, а также прежних правительств. Казалось бы, это событие, по-своему, конечно, и в самом деле сенсационное, никак не затрагивало непосредственных интересов, перспектив, забот и возможностей эмиграции, а тем более этих ребят — но в течение ряда дней всякие, в том числе самые дикие толкования, выводы, пророчества по этому поводу доминировали во всех разговорах кругом, и лихорадка эта еще подогревалась приезжавшими из Москвы взрослыми. Мне трудно судить, действительно ли я уже сколько-нибудь критически взирал на подобный преувеличенный политический ажиотаж. Но одно сделанное мной в те дни сопоставление несомненно оставило свой след в моем уме, и надолго.

Мимо лагеря нашего по большой грунтовой дороге, но нередко и через лес, возили по утрам и вечерам колхозниц — в то время, когда кругом повсюду господствовала лошадь, их возили в битком набитых открытых кузовах неизвестно как попавших сюда грузовых машин. Сидя в своих почти одинаковых белых платочках и темных бесформенных куртках или кофтах впрытык, как единая масса, они пели. Пели хором. И отнюдь не «по-народному» бляющими голосами, как это принято ныне в многочисленных фольклорных ансамблях «а ля рюсс», ежедневно появляющихся на экранах телевизоров — пели плавно, стройно, при всей разнице голосов мелодично, и вовсе не про «Ваньку» или другого «милочка», а большей частью старые романтические песни, не то про бродягу, не то про Стеньку Разина, иногда же и модные советские, вроде «Песня строить и жить помогает». И вот поздним, но светлым еще июльским вечером, когда мы большой группой, а может быть «пионерским» отрядом вышли в лес на сбор ягод и в который уже раз завязалось своего рода состязание в придумывании самых фантастических предположений о развитии событий и дальнейших убийствах в Германии, о возможности насильственного освобождения из тюрьмы кумира этих юнцов, Тельмана («не личность», говорил о нем даже мой отец), о том, как они сами станут героями всяких невероятных революционных деяний,



когда восставший немецкий народ призовет наконец своих московских спасителей — все это выкладывалось с обычным смехотворно серьезным видом —, как раз в такой момент самого горячего взлета коллективного воображения показался на лесной дороге такой грузовик с поющими женщинами, и мелодия, показавшаяся мне небывало гармоничной, поэтической, благозвучной, широко полилась по лесу, слилась с лесом. И тогда из каких-то глубин, ясное до символической наглядности, во мне поднялось и осталось идейно четкое противопоставление: Суетное и Вечное.

Но взволновало не только человеческое. В том лесу, в средней полосе России, случился разгул стихийных сил, какого мне не довелось пережить ни до этого, ни в позднейшие шестьдесят без малого лет, ни на морском берегу, ни в диких предгорьях Памира. Был послеобеденный «мертвый час», мы все лежали в постели, кто спал, кто, как я, читал что-то, как вдруг послышался зловещий свист, затем вой, а затем словно что-то взорвалось, за окном замелькали непонятные черно-зелено-серые пятна, большие клочья некоего растительного месива, а вскоре пронеслось солидное дерево с мощными корнями и исковерканной кроной. Это мне и сегодня кажется невероятным, но так оно было. И столь же невероятным кажется другое — все лагерные дома наши, сбитые дореволюционной выучки мастерами, устояли, ни одна крыша не была снесена, ни одна дверь, ни одна оконная рама не была вырвана. Не знаю, сколько это длилось минут (нам всем, естественно, представлялось, что прошел час, как минимум), но когда все стихло, долго еще не верилось, что это конец, и даже самые болтливые тревожно прислушивались и молчали. Потом вдруг кто-то громко рассмеялся, не без какой-то нарочитости, натужности, но это было освобождающим толчком. Все быстро вскочили и выбежали во двор. И здесь представилось странное, в чем-то загадочное зрелище: во многих местах лежали поваленные могучие красавцы, и огромные беспомощные их корневые лабиринты, вырванные из земли вместе с тяжелыми кусками

родной почвы, словно обвиняли в бессердечии мать-природу, а может быть, просто судьбу, но совсем рядом стояли десятки других деревьев, по которым ураган не мог не ударить точно с такой же силой и которые тем не менее выдержали, не были ни повергнуты, ни сломаны, ни согнуты. Необъяснимо...

Наконец, еще одно яркое мгновение. Мы сидим вокруг неровно полыхающего костра, и над нами возвышается массивная фигура одетого в элегантный европейский костюм, оживленно жестикулирующего человека, втолковывающего нам значение XVII съезда партии для международного коммунистического движения и при этом пошленинскому произносящего имени — Шталин, Каганович с ударением на втором слоге (тоже таинственный случай: это известный в те годы немецкий писатель, Густав Реглер — но даже в невероятно дотошном словаре немецкоязычных авторов, изданном в 1974 году в Лейпциге, его просто нет — и имя, и творчество его канули в небытие). Но я его не слушаю. И не потому, что осточертело. Не отрываясь, я смотрю туда, где за костром в невиданном ореоле сияет золотисто-бледное лицо девочки, неизъяснимо спокойное, мечтательное, просветленное, я впитываю это лицо в себя, я проникаюсь им. Видение...

Неужели за месяц лагерной жизни ни одной другой встречи с Валей так и не было? Больше не помню. Как странно...

## 21.

Конечно, с соседом по дому и будущим одноклассником своим Борисом Мейснером я наверняка познакомился еще ранней весной, но почему-то мы пока редко виделись, и я как следует пригляделся к нему лишь 1-го сентября, когда мы впервые вместе отправились в школу. Это был коренастый, на редкость широкоплечий, мускулистый, с широким, скорее славянского типа лицом, здоровый и веселоглазый паренек, и носил он самую простую, самую что ни на есть советскую одежду — в то время, как

на мне все еще были привезенные из Германии вещи, а я этого стыдился, так как повсюду выделялся среди окружающих и меня неизменно принимали за иностранца. То, что Борис ничем не отличался от массы, что его все считали своим, вызывало мою зависть, и мне страстно хотелось походить в этом на него. Мы сразу же условились говорить в трамвае только по-русски. При этом я старался (чтобы произвести на любого случайного спутника впечатление эдакого бедового московского мальчишки) употреблять слова поглубже и пожаргонистее. Наверно, именно мой не слишком цивилизованный лексикон побудил Бориса показать мне уже в тот первый день изобретенный им политический «фокус».

По всей Москве пестрели тогда плакаты, кумачовые лозунги и агитационные надписи с обещаниями выполнить директивы и решения XVII съезда партии то в срок, то досрочно, и это стало такой привычной деталью как уличного пейзажа, так и учрежденческих интерьеров, что не только сознание — даже и глаз перестал воспринимать ее. Когда мы во время долгого нашего пути от стандартного городка мимо завода (где всегда выходила подавляющая часть пассажиров, так что мы могли устроиться у окна), мимо здания ЦАГИ, мимо большой развилки, откуда главная улица вела к автозаводу «Амо», мимо Крестьянской заставы с ее диким рынком и толпами беспризорников, мимо 1-го Часового завода, мимо Таганки и Сыромятников, мимо Курского вокзала, Земляного вала и Красных ворот в который уже раз встретили такое же назойливое, такое же барабанно-жизнерадостное обещание, Борис хитро подмигнул мне и вдруг спросил по-немецки:

— А ты знаешь, что нам дал XVII съезд партии? —, и не дожидаясь ответа, достал из кармана бумажку, из нагрудного кармашка карандаш, нарисовал цифру XVII, прибавил в трех местах тоненькие черточки и громко рассмеялся. Мои познания в области определенной русской терминологии были еще весьма ограничены, но это слово я знал. Я смутился. Во мне столкнулись два чувства: выходка Бориса мне чем-то импонировала, наверно, в первую

очередь смелостью, но вместе с тем, я еще далеко не освободился полностью от отцовского идейного влияния, а отец возлагал на решения этого съезда большие надежды, и мне хотелось верить в то же самое. Но Борис не обратил на мое смущение ни малейшего внимания.

Забегая вперед, расскажу о диковинном происшествии, имевшем место недели две-три спустя и связанном, убежден, именно с Борисом. После звонка с последнего урока он неожиданно сказал мне как-то, что неважно себя чувствует, пойдет к врачу — так что мне придется поехать домой одному. На следующее утро к нам постучался его отец и сообщил, что Борис заболел. Что ж, бывает. Ничего страшного. Ведь я уже чувствовал себя в трамваях наших линий — 20 и 40, если не изменяет память — чуть ли не «как дома». А в то утро ни я, ни другие ученики, насколько по внешнему поведению можно было судить, ничего особого в школе нашей не замечали — но как только прозвенел звонок, по всем коридорам, задыхаясь, пробежала секретарша директора и созвала всех в актовывй зал на «чрезвычайное собрание». Тяжелым шагом на сцену поднялся «товарищ Шинкель» и произнес речь, повергшую всех нас в шок, ибо шел лишь год 1934-й и слова его казались еще чудовищными, зловещими: что в школу-де прокрались враги, что им не удастся безнаказанно вершить свои черные дела, что мы, именно мы должны разоблачить их, должны сообщить о них тем, кто отвечает за спокойствие в нашем доме, а в первую очередь ему, директору. Вряд ли кто-нибудь понял, в чем, собственно, дело. Однако, на следующей перемене я обратил внимание на то, что со стен исчезли все лозунги, в которых упоминался XVII съезд партии. Ассоциация с «фокусом» Бориса была мгновенной, естественной, она напрашивалась, но уверенным я, разумеется, не мог быть. Несколько дней и сам случай этот, и моя догадка не выходили у меня из головы. Реакция моя была не совсем однозначной, но преобладали, безусловно, недоумение, осуждение, ужас. Как-никак это был уже не «фокус», это в моем представлении была именно «вражеская вылазка».

Через неделю, когда мы снова сидели друг против друга у трамвайного окна, был момент, по-моему, многоговорящий: наши глаза встретились, он наверно прочитал в моих немой вопрос и как-то лукаво улыбнулся, по-хитрому отвел взгляд — а ведь он вообще не мог знать, не мог подозревать даже, что произошло и что я имел в виду своим невысказанным вопросом, если бы это не было делом его рук. Впрочем, стопроцентной уверенности в этом у меня все-таки и сейчас нет.

Когда я много лет спустя вспомнил об этом эпизоде, я содрогнулся при мысли, какие последствия для всей школы, для всех учителей и учеников, для родителей учеников и семей учителей имела бы эта история, случись она чуть позже, хотя бы на несколько месяцев. Но первая волна массового террора, начавшаяся с убийства Кирова 1-го декабря, в атмосфере тогдашней Москвы еще не предугадывалась, и непонятное подавляющему большинству возможных жертв, недорасследованное происшествие вскоре забылось. Припомнили ли его кому-нибудь при арестах 1937 года? Трудно сказать, но ясно одно: основанием, причиной какого-либо ареста оно едва ли могло быть, потому что людей сажали, как правило, без всякого основания, безо всякой реальной причины. Но впоследствии, когда я эмоционально оценивал поступок Бориса, при всей его хулиганистости, уже как дерзкий акт протеста против сталинского режима, передо мной, по логике вещей, встал вопрос об оправданности подобной «сумасшедшей» акции, о ее внешнем смысле и внутренней ценности. Ответ не мог уже исходить из эмоций, он требовал спокойного, беспристрастного анализа.

И я пришел к выводу: не может быть однозначного ответа, однозначного толкования, однозначной оценки — ни под каким углом зрения, ни по какому критерию, ни при каких посылках. Слишком много здесь должно быть соображений общих и частных, субъективных и объективных, политических и моральных, романтических и прозаических. И все же, все же, все же... В самой бессмысленной, бесцельной, безрезультатной отваге — и призыв, и красота,

и пример. В этом, вопреки всему привходящему, ее смысл, ее цель, ее результат.

## 22.

В берлинской школе ребята знали только фамилии одноклассников своих, и никто никогда не спрашивал даже близкого друга, как его зовут (я, например, вряд ли знал имя Бернштейна). А уж футбольные фанатики на Экзере понятия не имели, с кем они играют в очередном импровизированном матче или обсуждают состязания каких-нибудь «больших» команд. И лишь у нас во дворе, где я изредка присоединялся к незатейливым играм сверстников, одна девочка раз спросила, как же меня звать. Я ответил, произнося имя на немецкий манер:

— Михаэль.

Она рассмеялась:

— Михель?

(Это была народная форма, но одновременно и фольклорное прозвание добродушного глупца).

— Значит, ты — дурак?

Обиженный, и не зная что возразить, я буркнул:

— Да нет, вообще-то у меня другое имя.

И тут же назвал первое пришедшее мне на ум:

— Манфред.

А девочке оно почему-то очень понравилось, и она теперь каждый раз, увидев меня, нарочито громко и как-то восторженно восклицала:

— Манфред!

Так прозвище это пристало ко мне, я рассказал о нем родителям, они много смеялись, но и мать стала иногда, сначала в шутку, а затем по привычке, называть меня «Мани», что звучало как ласкательная форма невзначай обретенного мной нового имени.

И вот, когда мы с Борисом в тот первый день шли от дома через неописуемо изрытую, изборожденную, замусоренную сотню метров к трамвайной остановке, он как-то между делом осведомился, как меня зовут, а я, весь

поглощенный задачей не споткнуться, не задумываясь бросил:

— Манфред.

Почему это прозвище пришло в голову именно в этот момент — загадка, но я не придавал этому никакого значения, даже тогда, когда Борис перед всем классом представил меня в качестве своего друга Манфреда.

А напрасно, имя значение имеет. Не то, чтобы когда-либо оправдывалась латинская поговорка, по которой «имя есть предзнаменование» (я в жизни своей встречал трех женщин, нареченных Венерами, и все они были исключительно некрасивы), но имя создает, пусть не всегда ощутимую, не всегда уловимую, атмосферу, оно обладает какой-то аурой — особенно же, если это имя относительно редкое. В моем же случае замена настоящего имени прозвищем не могла не привести и к небольшому, но немало-важному сдвигу в моем статусе внутри класса, ибо меня все невольны стали причислять к тем недавно прибывшим из Германии немцам, с которыми меня действительно роднили и детские воспоминания, и незабытые переживания, и идеологическое воспитание, и многие вчерашние интересы, но никак не происхождение, никак не культурная среда, никак не жизненные задачи и ожидания.

Однако, все это до меня дошло лишь намного позже, и роль затянувшегося «онемечивания» я осмыслил только в самокритической перспективе. В классе таких «перекрещенных» было немало (хотя бы та же Вера — «Лотта» Коган, которую я уже упоминал — о других речь впереди), но именно во мне возник неосознанный и тем более опасный душевный и духовный конфликт, который получил насильственное, но, как я теперь понимаю, спасительное для меня разрешение три с половиной года спустя, когда нашу школу закрыли, как «вражеское гнездо». Да, как это ни парадоксально: разрешение спасительное, хотя это был тяжелейший удар во многих других аспектах...

Но среди лиц, обращенных в то утро с любопытством на новоиспеченного Манфреда, я видел лишь одно: недавнее

волшебное видение у костра превратилось при дневном свете в очень милое, но вместе с тем не по-детски одухотворенное девичье лицо, большие, широко раскрытые глаза уже не смотрят в далекие, недостижимые для меня миры, но и вполне земной их взгляд поднимает меня над повседневностью, над самим собой, золотисто-бледная кожа того лесного образа оказывается белоснежной, нежной и все же излучающей некий сокровенный свет, волосы образуют такой же медный шлем, только теперь не раскаленный до багряного свечения, а спокойно, даже как-то торжественно обрамляющий высокий лоб и благородный овал лица. Такое мое восприятие не было, однако, просто плодом внезапного очарования, внезапной влюбленности. Вот передо мной лежит шестидесятилетней почти давности групповая фотография, снятая уже во дворе нового школьного здания на Кропоткинской (Пречистенке), судя по всему — где-то в 1936 году, когда на Вале уже сказывалась какая-то душевная травма: и здесь в тонких ее чертах, во всем ее облике есть что-то незаурядное, выделяющее ее среди далеко не плебейских, отчасти безусловно интеллигентных окружающих лиц. И вместе с тем в этой вполне гармоничной и, казалось бы, безмятежной фигуре сквозит (может быть, лишь потому, что я знаю ее судьбу?) нечто бесконечно печальное, глубоко трагическое. Но ведь красота вообще трагична.

Естественно, мы с Борисом постарались сесть за одну парту, и это удалось — в предпоследнем ряду у окна. Теперь, чтобы видеть профиль Вали, мне надо было смотреть вправо-вперед через полкласса, и это выглядело почти так, как будто я внимательно слежу за уроком. Но Борис, а затем и кое-кто из учителей, заметили-таки мою завороченность, и если первый только подзадоривал меня непонятным мне, правда, словосочетанием «Я бы ее!», то последние неприятно одергивали меня, насильно привлекая мое внимание к себе, что мне вдруг стало казаться верхом эгоцентризма. И тут мне повезло. Каким-то чудом освободилось место рядом с девочкой, чьи темнозолотистые кудри развевались, как знамя аристократизма, за такой же



предпоследней партией, но только в противоположном, околостенном ряду. Я тут же подошел к девочке, Ксении Яковлевой, с какой-то трепетной одержимостью попросил разрешения стать ее соседом, и она дала согласие с радостью, искренность которой меня даже поразила. Она оказалась отличным товарищем, и на протяжении целого года она с тихой улыбкой наблюдала за всеми перипетиями моих странных отношений с Валею Патковской, ни разу не проявляя ни малейших признаков какой-либо — детской или женской или даже просто товарищеской — ревности.

А новое мое место было поистине счастливым, идеальным, райским потому, что прямо перед Ксенией сидела Валя, и мне было даровано блаженство постоянно видеть ее гордую голову, лицо ее.

Но немое поклонение не могло длиться бесконечно. Наступил момент неизбежного психологического перелома, и мной овладела жажда какого-нибудь сближения, страстное желание вызвать чем-либо ее интерес ко мне.

Это естественное стремление, однако, пошло по несколько своеобразному, при моем складе характера довольно-таки неожиданному пути. И все же это было логически связано с Валиным, как и моим, специфическим положением внутри класса.

## 23.

Валя не только была тогда неоспоримо первой ученицей, не только неизменной официальной главой класса — старостой, но и непререкаемым лидером большой группы девочек, стихийной, фактической главой «женской» половины класса. Вечно окруженная на переменах стаей преданных подруг, она вместе с тем обладала какой-то магической силой воздействия и на всех остальных девчат и ребят — не говоря уже о пяти или шести мальчишках, которые, как я, были явно влюблены в нее.

Среди «мужской» половины же никакого подобного вожака и в помине не было. Если кто-нибудь чем-нибудь

и выделялся — будь то спортивностью или отличной учебной или каким-либо особым талантом —, то это порождало лишь сугубо ограниченный интерес и авторитет, в лучшем случае. А ведь, как показало будущее, способных ребят было немало...

Чем же отличался я?

Самое, пожалуй, примечательное: я писал стихи. Точнее, во мне видели поэта. Трудно сказать, как возникла такая репутация. Правда, нередко я сочинял эпиграммы на преподавателей или некие рифмованные характеристики соучеников и соучениц, и они имели успех у ближайших моих соседей, а иногда передавались из рук в руки по всему классу. Но я хорошо помню, что меня признавали отнюдь не просто рифмачом-шутником, что кто-то даже вполне серьезно назвал меня однажды «нашим Пушкиным» и это не вызвало кругом смеха или иронических улыбок. А ведь о том, что я по настоятельной просьбе отца еженедельно изготовлял для его заводской стенгазеты очередное какое-нибудь «стихотворение» актуального содержания, никто в классе не знал и знать не мог. Правда, в недавней статье обо мне, помещенной аж в нескольких газетах, Адик Розанов рассказывает, будто я ему еще тогда, в 1934 году, показывал целую подборку своих стихов, опубликованных в «Центральной немецкой газете», сто-тысячным тиражом вышедшей до войны в Москве. Должен откровенно признать, что я такого не помню!

Но даже если Розанов и не ошибается — я убежден, что большинство класса ни о чем подобном не знало, не слышало, не подозревало. Свидетельством тому, и достаточно веским, мне кажутся не забытые и по сей день тихие, сосредоточенные разговоры с Р.А. о творческих моих возможностях, возникавшие у нас постоянно в дни пушкинских празднеств конца 1936, начала 1937 года: Р.А., мой самый близкий тогда друг, явно не был знаком с какой-либо увидевшей свет пробой моего поэтического пера! Нет, что-то другое должно было лежать в основе моего тогдашнего — как ныне любят говорить — «имиджа» поэта.

Единственное логичное, на мой взгляд, объяснение, пусть оно и отдает самомнением: во мне самом было нечто, что чувствовалось окружающими при ежедневном общении и заставляло их верить в реальность, законность, обоснованность далеко идущих моих притязаний, которые я в общем-то не скрывал — я в те годы был уверен, что у меня и дар, и призвание поэта, и как раз это стало одним из сильнейших стимулов в моем стремлении обязательно посвятить себя литературе.

Однако, как раз Вале меньше всех импонировал этот внутрикласный мой статус. Не припомню ни одного случая за все три с лишним года, когда она проявила бы хоть малейший интерес к этому, столь ценимому моему качеству. Я приписывал такое пренебрежение общему ее равнодушию к поэзии — как к искусству, если не как к настроению и мироощущению. При всей моей вере в свое предназначение, это хотя и задевало меня, но не принижало Валу в моих глазах, не умаляло, до поры до времени, ее исключительности, никак не уменьшало и ее притягательной силы. Не знаю только, сыграло ли это все же какую-то роль в том, что постепенно, незаметно напряженность, интенсивность чувства моего спала, что мечта затем превратилась в воспоминание, в светлое воспоминание... Лишь через пятнадцать лет после окончания войны я случайно узнал о героической гибели Вали Патковской, и это явилось потрясением, разбудившим во мне все прошлое. Боль памяти нашла выражение в некоем возврате к истокам: я написал стихи, именно стихи, цикл стихов, вероятно, сильнейший по эмоциональному заряду, по исповедническому содержанию в моей жизни. При этом я совершенно естественно, даже не задумываясь, вернулся к давно оставленному немецкому языку (было это за пять лет до начала моей профессиональной деятельности как поэта-переводчика). И вот тогда мне впервые открылось, что как раз Валя, возможно, всегда интуитивно, даже чисто инстинктивно ощущала изначальную ущербность мальчишеских моих представлений о себе самом — ведь годы показали, что при всех способностях у меня не было

истинного, всезахватывающего призвания к поэзии. Действительно, с одной стороны, занявшись в возрасте 42 лет переводом стихов с русского на немецкий (как это случилось, я еще опишу), я сумел завоевать, сидя в Москве, признание и авторитет не только в бывшей Германской Демократической Республике, но в определенных пределах и у тех немногих, очень немногих, увы, людей Западной Германии, которые еще интересуются или поэзией, или Россией. А способность вжиться в душевный и духовный мир другого человека, чтобы заговорить не то что его словами, а его чувствами и мыслями, претворяя их в органическое средство, органическую среду, органическую ткань собственного личностного самовыражения при помощи языковой стихии, в которой они должны найти новую жизнь — разве это не полноценная ипостась именно такого творческого начала, какое я видел, предвосхищал, переживал в детстве? Но с другой стороны, тот факт, что в послевоенное время прежняя моя внутренняя устремленность, моя воля к самовоплощению в лирике иссякла и я, кроме этого связанного с Вале́й всплеска, знал лишь один еще период относительного поэтического подъема, в середине семидесятых годов (тогда написаны все сохранившиеся у меня русские стихи), все же достаточно ясно показывает, что во мне не было того первоэлемента, того вечного импульса, который называют призванием.

Но существовал еще совершенно другой фактор, который мог повлиять — и наверно как-то причудливо повлиял — на характер всей странной моей истории с Вале́й: я был красивым мальчиком. Глядя на меня сегодняшнего, в это трудно поверить.

А вот что произошло тогда. Валя долго не обращала никакого внимания на меня, да и нельзя сказать, чтобы я очень к этому стремился — мне было достаточно видеть ее, более того, как раз спокойное, ничем не нарушаемое погружение в облик ее наполняло меня счастьем. Конечно, из книг я знал, что не в таком молчаливом поклонении состоит любовь мужчины к женщине. Но у меня никакой другой потребности, никакого другого побуждения не

было, и я не предпринимал ничего, чтобы хоть как-то сблизиться с ней. Это изменилось в один прекрасный день совершенно неожиданным образом. Позади меня сидел, рядом с Надей Кузьминой, одной из лучших подругек Вали, довольно бесцветный, неприметный, пустилицый, пучеглазый мальчик по фамилии Путан, ничем ни разу не возбуждавший у меня ни малейшего любопытства. Однажды же, когда мне нужно было как-нибудь разрядить неизрасходованную агрессивность и энергию, я подошел к Путану и применил простейший борцовский прием, чтобы вызвать его, как было принято, на небольшую драчку. К моему удивлению, он совершенно не сопротивлялся и от первого же рывка повалился, ударившись головой о парту. Разумеется, я дал ему встать, ожидая, что при следующей атаке он поведет себя совсем иначе. Но второй «раунд» оказался уже безрадостным вовсе — он кротко подчинялся каждому моему движению, а когда я резко рванул его вниз, чтобы заставить оказать хоть какое-нибудь противодействие, он с шумом грохнулся на пол. Я разочарованно отвернулся. И тут я увидел Валу. Она наблюдала за жалкой этой сценой с видимым интересом, даже с каким-то налетом злорадства, а когда наши глаза встретились, она мне впервые подарила улыбку — и как мне казалось, поощрительную! С тех пор я на каждой перемене подходил к Путану, чтобы устроить очередной спектакль с все более изощренными рывками, ударами, пинками, толчками, все более отточенными способами опрокидывания и сбивания с ног, а Валя всегда заранее оборачивалась, откровенно показывая, что ей приятно мое «жертвоприношение», и с каждым разом она, как будто, подходила чуть-чуть ближе, улыбалась чуть-чуть шире. Путан же не выказывал ни особой обиды, ни сколько-нибудь заметных признаков боли, его невыразительное, бледное лицо не обнаруживало повышенных эмоций, не краснело, не подергивалось даже тогда, когда я стал с издевательской ритмичностью валить и поднимать, валить и поднимать, валить и поднимать его все снова и снова, и лишь легким выпячиванием нижней губы он реагировал на язвительно-

ехидные вопросы своей соседки Нади Кузьминой, заданные с нескрываемо садистским смаком: «Путан, почему ты все время лижешь пол?» или «Путан, почему у тебя опять грязные брюки?» или «Путан, ты же не плачешь, правда?» Конечно, эти весьма, выражаясь изысканно, специфические представления, принявшие характер некоего ритуала, не могли продолжаться уж очень долго. Но конец их оказался не совсем таким, каким он смутно рисовался мне в ребяческих моих грезах. Как-то я подсмотрел у одного из «шущбундовцев» (так называли австрийских ребят, привезенных после февральского восстания 1934 года в Москву и учившихся в нашей школе) особенно эффектный прием японской борьбы джиу-джитсу и тут же решил продемонстрировать его на Путане. К тому времени его нечувствительность к постоянному унижению окончательно вывела меня из себя, и мне захотелось хоть один раз вызвать у него какую-нибудь реакцию. Новый же прием не только впечатлял действенностью и картинностью — он был болевым. И действительно, Путан впервые закричал, к тому же довольно жалобно. Когда я обернулся, я встретил горящий взгляд Вали и невольно сделал какое-то движение в ее направлении — а она засмеялась. И тут меня что-то толкнуло, может быть, просто инстинкт, но скорее начитанное, скорее внушенное книгами представление о любовной победе — я внезапно шагнул к ней и неуклюже обнял ее за плечи, пытаюсь прижать к себе. Ответ ее ошеломил, сокрушил, уничтожил меня: лицо ее исказилось от гнева, она резко оттолкнула меня, круто повернулась спиной и быстро отошла.

С того дня я Пута́на больше не трогал, хотя Валя, возможно по привычке, первое время нередко оглядывалась в нашу сторону с явной надеждой в глазах — и мне казалось, что она с трудом скрывает разочарование, убедившись в очередной раз, что здесь господствует тишь да гладь. Как-то исподволь стала остывать моя любовь к ней. Этому способствовало многое — и захватившая меня в начале 1935 года шахматная страсть, и настойчивые усилия милой девочки Лины Кариной завязать дружбу со мной,

и зарождавшиеся уже приятельские отношения с Р.А., и переезд нашей школы в новое здание на Кропоткинской летом 1935 года, после чего я стал сидеть в одном из первых рядов, а Валя далеко сзади, но главным, разумеется, было просто влияние «исцеляющего любовный недуг» времени. Тем не менее, отчетливо помню: когда мать мне летом 1936 в Варшаве купила сборник «прекраснейших любовных стихотворений всех времен и народов» (дословно перевожу немецкое заглавие) и я с жадностью стал читать классические творения в действительно, надо сказать, прекрасных переводах, то в каждой из воспетых поэтами женщин мне виделась все еще Валя, именно Валя и только Валя. Но это была последняя вспышка. В ту осень меня ждала новая любовь. При этом особую роль сыграл один загадочный момент — до сих пор непонятный мне.

Валя вернулась из каникул неузнаваемой. Она сильно похудела, кожа лица огрубела, пожелтела, лишилась прежней идеальной чистоты и свежести, глаза потускнели и будто сузились, и даже волосы ее как-то поблекли, утратили магическое свое свечение. Но дело было не только и не столько в изменениях внешности. Все движения, походка, манера держать себя, голос ее выдавали какой-то надлом, какую-то внутреннюю стесненность, какую-то непонятную неуверенность в себе. Сначала я объяснял себе эту печальную метаморфозу тем, что она, наверное, летом сильно болела. Но так как у меня в это время уже были совершенно другие интересы и увлечения, я над вопросом о причине такого, оказавшегося затем необратимым и непоправимым, превращения не особенно и задумывался. Тем не менее, как-то раз случайно зашла речь на эту тему в разговоре с Р.А., и он предположил, что все объясняется, возможно, арестом ее отца. Действительно, тогда уже начинались массовые репрессии, предвещавшие тот дикий и длительный разгул террора, который позже получил символическое название «1937 год», и версия Р.А. показалась мне более чем убедительной. К тому же, вскоре она стала подтверждаться как будто и другими приметам: Валя одевалась теперь хуже и, главное, небрежнее; посте-

пенно ухудшалась ее когда-то столь блестящая успеваемость, нередко она на любимых раньше уроках отвечала рассеянно, а то и просто невпопад; в следующем году она, все-таки, близко сошлась с Эриком Краусом, входившим в нашу дружескую группу, но приглашения на вечерние сборы (ныне сказали бы «тусовки») она долго отклоняла с какой-то жалкой, вымученной улыбкой. Все, казалось, недвусмысленные знаки!

Тем более я был ошеломлен, когда много лет спустя узнал о ее военной судьбе.

Вале Патковской была поручена организация советской разведывательной и диверсионной сети в Псковском и Новгородском регионе, ее во главе небольшой группы обученных людей забросили на парашютах в немецкий тыл, и вначале она добилась многообещающих успехов — так, по некоторым рассказам, которые я слышал, она и сама сумела устроиться переводчицей в псковское гестапо. Но кто-то ее выдал, и после долгих допросов и истязаний, которые она выдержала с поразительной, железной стойкостью, нацисты ее казнили. Ей не было и двадцати лет.

Совершенно ясно, что дочь репрессированного никогда не получила бы такого задания. Безусловно, приложи я хотя бы некоторые, совсем небольшие усилия, я мог бы с полной достоверностью узнать все подробности и ее довоенной участи, и ее предсмертного подвига. Но я никогда к этому не стремился. Я всегда хотел, чтобы Валя оставалась загадкой. Именно загадкой она пусть живет и в моей памяти, и в душе моей.

## 24.

Хотя в шахматы я научился играть еще в шестилетнем возрасте, рождение во мне шахматиста произошло в конце зимы 1935 года — это дата точная, связанная с большим событием.

Сегодняшнему человеку, даже одаренному богатой фан-



тазией, вряд ли возможно представить себе, какой ажиотаж, какой пропагандистский шум был развернут вокруг крупного международного турнира, проходившего тогда на фоне изящных копий античных статуй в грандиозном здании Музея изобразительных искусств на Волхонке.

Начавшаяся с этого момента многолетняя, редкая по размаху, парадоксальная для такого насквозь идеологизированного времени, но тем более действенная кампания по популяризации шахмат (шутка ли, главная, директивная газета «Правда», выходившая обычно лишь на четырех страницах, находила место для подробных отчетов об очередном туре какого-нибудь первенства страны, занимавших ни много ни мало треть страницы столь драгоценной, казалось бы, газетной площади!) — эта кампания, которая, разумеется, могла вестись только по инициативе и по инструкциям самого Сталина, в шахматы не игравшего, оказалась поистине гениальным психополитическим ходом «гениального стратега» — гроссмейстерским ходом в его духоопустошительной и кровопролитной исторической игре. Целое поколение высокоинтеллектуальных, способных к критическому мышлению, одаренных воображением, стремящихся к духовному самоутверждению и самоосуществлению умов ушло в сферу, где культивировались и удовлетворялись самые изощренные творческие потребности, но не могло быть столкновения свободной мысли с идеологией. Здесь вольнодумец безнаказанно мог спорить с теорией, эстет безнаказанно поклоняться чистой красоте, лишенец безнаказанно побеждать партийца — только вне реальной жизни, поэтому Сталин так целенаправленно на это шел: внемирное пространство свободы ему казалось меньшим злом...

Но ни разу за все годы я не сожалел о том, что стал одной из «жертв» искусственно вызванной эпидемии этой. Снова и снова на протяжении четверти века шахматы становились для меня источником духовной энергии, очагом внутреннего сосредоточения, средством интеллектуальной самореализации, самоорганизации, самошлифовки, они в самые трудные времена были мне опорой и утешением,

нередко единственно возможным приложением недозадавленных творческих импульсов, но вместе с тем и единственно доступным орудием для завоевания хоть какого-нибудь общественного престижа — да, они были органической и, главное, во всех отношениях полноценной частью моей личности, именно самой моей личности! И нельзя не видеть: в эпоху тотального идеологического наступления против личностного начала как такового шахматы сыграли роль прибежища личности (каковым они, собственно, и предназначены быть по самой сути своей) отнюдь не только для меня — они стали, пусть неосознанно, поколенческим протестом против всеобщего обезличивания, против коллективистской унификации, как принципа.

В этом их историческом воздействии — слабое место сталинской идеи, при всей психологической хитроумности и, казалось бы, макрополитической точности своей не учитывавшей особых потенций, скрытых именно в человеческой индивидуальности, как решающем историоносном феномене, способном разрушить со временем любой, пусть даже совершенный по замыслу идеологическому и воплощению политическому тоталитарный механизм властвования. Поэтому будущий историк сталинизма, игнорирующий роль шахмат во всех ее аспектах, неизбежно впадет в грех упрощенчества...

С наступлением весны я стал регулярно посещать шахматный павильон в Центральном парке имени Горького. Чтобы попасть в это заветное место, мне по выходным дням приходилось на трамвае 51, всегда переполненном донельзя, совершать путешествия такой длительности и мучительности, какую сегодняшней трамвайный пассажир, привыкший ворчать, когда его только чуть больно толкают, и представить себе не может. Но зато...

Разумеется, я был в восторге от возможности участвовать в турнирах на получение пятой, а затем четвертой категории (так назывались тогда спортивные разряды), в сеансах одновременной игры знаменитых первокатегорников, а то даже и мастеров (которых в те времена было меньше, чем ныне гроссмейстеров), в открытых блицтур-

нирах с весьма пестрым составом (где шахматные часы заменял человек, командовавший «белые, черные, белые, черные»). Но главным удовольствием, подлинным фокусом павильонной жизни являлось нечто иное — партии со «звоном» самых сильных завсегдатаев, а иногда и зашедших невзначай общесоюзных знаменитостей. За один из отдельных столов садились тогда двое из тех «корифеев», на которых я смотрел с таким искренним благоговением, натренированными пальцами мгновенно расставляли фигуры, веселым взглядом обводили собравшуюся тут же вокруг них густую толпу, быстро делали первые два-три хода — после чего начинался «звон». Так назывались беспрерывные остроты, каламбуры, хохмы, анекдоты, ехидные и иронические замечания, которыми сопровождался каждый ход, комментировалась каждая шахматная идея. Этот аккомпанемент становился иногда фактически самоцелью. Игроки, освобожденные от необходимости завоевывать турнирные очки, пускались на невероятные авантюры, отваживались на любой риск, на любые интуитивные жертвы — но все это перекрывалось еще более острым и искрометным словесным поединком. В те годы, когда оригинальную мысль нельзя было выражать даже эзоповым языком, шахматный «звон» становился отдушиной, в которой находила выход естественная потребность в состязательном красноречии, смеховая стихия, произвольная игра живого еще ума.

Но это не означает, что в павильоне вообще царилла какая-то легкая, непринужденная, не слишком серьезная атмосфера. Здесь не только играли — здесь ожесточенно боролись. Боролись, не в последнюю очередь, за право посвятить шахматам свою жизнь. Этой высокой чести, по логике ситуации, могли удостоиться только сильнейшие из сильнейших. Но не одна острота конкуренции превращала шахматную борьбу в страсть. Сам пафос этой борьбы, сам эрос проникновения в неисчерпаемые тайны и соблазны этого чудо-мира захватывал души настолько, что внешний мир становился чем-то побочным, суетным, второстепенным. Как раз многие из юных обитателей па-

вильона видели в шахматах свою судьбу. Вспоминаю характерный эпизод. Как-то я пришел в парк после уроков, а на высоких дверях павильона висело написанное от руки объявление, что в связи с трауром по случаю гибели самолета «Максим Горький» (это был тогда самый большой самолет в мире) павильон закрыт на два дня. Разочарованный, я повернулся и уже хотел уйти, как увидел быстро приближающегося Махоткина, одного из наиболее активных, преданных, заметных завсегдатаев. Увидев запертую дверь, он остановился как вкопанный и в растерянности оглянулся на меня. Я только и мог сказать:

— Закрыто.

— Черт знает что! Почему же?

— Ты ж знаешь, катастрофа эта.

— Какая еще катастрофа! Почему мы должны страдать от этого?

И он начал изо всех сил тянуть и трясти ручку обитой железом двери, так что она, огромная, тяжелая, так вся и гремела и грохотала. Я сказал:

— Не глупи!

— Чтоб это я не глупил, я, я, я?

И с еще большей яростью принялся за свое.

Через минуту, другую прибежал милиционер.

— Вы что, с ума сошли? — закричал он пронзительным, несколько истеричным голосом.

Махоткин, не оборачиваясь, сказал неожиданно спокойно, но решительным, твердым тоном:

— Хочу играть в шахматы. В шахматы играть, понимаете?

У милиционера лицо приняло строгое, торжественно-скорбное выражение:

— Надо понимать, парень, какую потерю родина понесла!

И тут Махоткин произнес фразу, заставившую содрогнуться даже меня:

— Моя родина — шахматы!

Милиционер остолбенел. До 37-го было еще два года. А Махоткин погиб на фронте...

Шахматная семья (как гласил девиз Международной шахматной федерации) всегда, но особенно в те годы, была необычной интеллигентской средой, где — сравнительно — очень легко завязывались приятельские отношения, выходившие зачастую и за пределы общих шахматных интересов. Правда, лично у меня действительно тесные и прочные дружеские связи с рядом товарищей по страсти возникли лишь позже, когда я стал посещать кружок при Доме пионеров в переулке Стопани, а уж совсем близкие — годы спустя в Душанбе.

Но по прихоти судьбы именно на шахматной почве зародилась моя дружба с одноклассником Р.А., давшая бесконечно много отнюдь не для шахматного моего развития. Он был тихим мальчиком, чистеньким, аккуратненьким, отличавшимся единственно незаурядными знаниями по разным предметам да соответствующей успеваемостью, но это не делало его сколько-нибудь заметной фигурой в классе, и я едва ли обратил бы на него когда-либо особое внимание (характерно, что Майя Тенненбаум, с которой мы совсем недавно, в день моего семидесятилетия, ворошили прошлое, так и не смогла его вспомнить). В ту весну он тоже заболел шахматами, но не выказывал этого никак, в то время как о моем увлечении знали чуть ли не все ребята. И вот однажды он подошел ко мне и спросил, не соглашусь ли я как-нибудь прийти к нему в гости и сыграть партию-другую. Я согласился. Он жил с отцом, которого я за все годы нашей дружбы видел от силы два или три раза, и матерью, встретившей меня удивительно приветливо, радостно, сердечно, в огромной комнате в большой, с длинным темным коридором коммунальной квартире — вероятно, до революции здесь был гостеприимный дом какой-нибудь зажиточной семьи, а комната эта служила парадной гостиной или залом. Но дело не только в величине — дореволюционностью веяло от всей обстановки комнаты, от старой мебели искусной работы, от большого темного ковра, от высокого, словно светящегося книжного шкафа, от всей солидной атмосферы, солидного, несовременного стиля этого самодовлеющего, отгороженного от

советского мира пространства... Как оказалось, стилю жилища соответствовал и стиль мышления его обитателей.

## 25.

В июле 1935 года мы с матерью, Идой и Рут поехали в Гагру.

Скорому поезду в те времена требовалось ни много ни мало трое суток, чтобы добраться до Сочи. А оттуда до Гагры железнодорожного сообщения не было вообще.

Вагон наш, правда, назывался «спальным», но закрытых купе в нем не было. От «общих» вагонов он отличался лишь тем, что на него не продавались «сидячие» места, так что и на нижних полках можно было в дневное время — какая сказочная роскошь! — лежать и, если не мешал шум и гам вокруг, даже спать. Но не этим и не страшной жарой и духотой, а одним невинным разговором запомнилась — и часто вспоминается мне как раз сегодня — та поездка.

В соседнем отделении ехала крепкая, краснощекая, ядреная молодая женщина в короткой синей юбке и тесно облегающей футболке с широкими белыми и синими полосами. Распознав в Иде «опытную москвичку», она захотела «посоветоваться с ней по важному вопросу». Горливість ее поразила и меня, отнюдь не молчуна ведь, и даже издавна привыкшую к светской словоохотливости Иду, а уж наивная откровенность ее и вовсе была обезоруживающей, поистине безграничной! А поведала она нам о своей мечте.

Мечта же ее, великая мечта состояла в том, чтобы переселиться в Москву. Она убивалась по поводу того, что поздно спохватилась — но кто же мог предвидеть, что вдруг введут какую-то паспортную систему и какую-то прописку, при которой ей, хотя она физкультурница, разрешат жить в столице только, если и она, и муж поступят работать на завод — а он, может быть, будущий чемпион, настоящий боксер и ворошиловский стрелок, мужик что надо! Пойти на завод чернорабочим, когда у них у обоих, шутка ли сказать, семь классов образования? Нет, они с мужем

придумали очень хороший, очень правильный план, но боятся, что окажется какая-нибудь юридическая загвоздка, вот она и хотела бы спросить совет умного человека, а по Иде сразу видно... А план состоял вот в чем: они с мужем для вида разведутся, она поедет в Москву и устроится домработницей у дальнего родственника, который прошлым летом втюрился в нее, но чокнутую свою жену не захотел бросать; при помощи соседей, которым давно уже надоели штучки этой психованной, она уберет ее в сумасшедший дом и тут же выйдет за хозяина, а затем выхлопочет московскую прописку; тем временем ее боксер снимет на той же улице угол у женщины, которая дала объявление в газету, но на самом деле лишь надеется найти мужика, он распишется с ней и пойдет работать в милицию, где его как отличного комсомольца, спортсмена и ворошиловского стрелка примут с распростертыми объятиями; тогда она напишет заявление на нового мужа, что он спекулирует мануфактурой, а уж боксер позаботится о том, чтобы родственничка побыстрее да надолго посадили; они, разумеется, немедленно съедутся на завоеванной жилплощади, официально возобновят брак, а ее, как активную комсомолку и физкультурницу, разоблачившую собственного супруга, охотно возьмут в любой комсомольский орган, вплоть до ЦК. Я так детально запомнил эти удивительные расчеты не только потому, что Ида неоднократно пересказывала впоследствии всю историю в моем присутствии, но и потому, что бесподобно простодушная аморальность будущей номенклатурщицы явилась для меня чем-то куда более значимым, нежели случайный, анекдотичный эпизод — знаком эпохи, символом эпохи, воплощением эпохи...

Ида, которая сама была ведь человеком отнюдь не сверхщепетильным, все же не могла скрыть душевного шока, о матери моей и говорить нечего. Ида задала поэтому вопрос, который в другом состоянии ей наверно и в голову бы не пришел:

— Скажите, а почему вы хотите обязательно жить в Москве?

Спутница сначала от изумления потеряла дар речи, а затем разразилась возмущенной тирадой:

— Да вы же, москвичи, ничего не понимаете, ничего не знаете о жизни, о нашей жизни! Потому что вам всегда хорошо. У вас магазины вот какие, все есть, глаза разбегаются. Какое вам дело до других. А я тоже хочу жить. Как вы. Как человек. А вы знаете, сколько у нас пьянствуют? С утра до вечера пьют! В Москве пьяного увидишь раз в десять минут, а у нас раз в десять минут увидишь трезвого и то, если повезет. И женщины туда же. А я не хочу пить. Не хочу. Я же физкультурница и сознательная! А разве это дело, что комсомольцы всякие и коммунисты все время вдрызг напиваются? Что это за комсомольцы? Мой муж не такой, слава богу. Но куда вам, вы никогда не поймете! Вот и спрашиваете, ну как ребенок! Пожили бы у нас!

Мне трудно судить, насколько эти слова, услышанные в детстве, стали первотолчком к позднему моему рьяному, длившемуся всю жизнь, все более интенсивному углублению в мучительные проблемы русской провинции, вылившемуся, в конечном счете, в провозглашение, отстаивание, активную пропаганду регионалистской идеи. Во всяком случае, в память тогдашние ассоциации мне запали крепко. Хотя и исходили они из такого нечистого источника. Игра судьбы...

А Ида, надо сказать, и в этом случае проявила свойственный ей здравый смысл. Когда пассажирка сошла, кажется, в Ростове, она задумчиво покачала головой, но твердым голосом заметила:

— Такое можно понять. Все ужасно, ведь действительно ужасно. Не знаю, на ее месте я, может быть, тоже что-нибудь подобное бы изобрела.

Поезд шел в ту пору только до Сочи. Поездка же в открытой машине по извилистой шоссейной дороге вдоль моря была поистине сказочной — неким райским видением наяву. Никогда больше в жизни я не видел такой солнечной зелени, как на горных склонах в тот день, никогда такого солнечного золота, как на той глади бесконечной



воды, никогда такой солнечной синевы, как в тогдашнем небе. Весь мир был погружен в красоту, объят гармонией, пропитан покоем и счастьем. Природа приглашала на светлый праздник, и человек чувствовал себя в ней не чужаком, не пришельцем-варваром, не захватчиком и господином, а нежно любимым сыном, желанным, лелеямым гостем. Ни одна резкая или фальшивая нота не нарушала полного созвучия между миром и духом.

Как все с тех пор изменилось! Пишу я эти строки в смутное время, когда телевизор день за днем передает ужасающие картины разрушенных зданий и разрушенной природы, разрушенного прошлого и разрушенного будущего в тех самых незабываемых, благословенных местах. Это началось не вдруг. И дело не только в том, что десятилетия массового наплыва привели к расстройству первозданной и сотворенной человеком гармонии, лишили эту землю внутренней ее цельности, неприкасаемости, естественной святости — процесс омассовления, разъедания исконной сущности древнего этого края мне пришлось наблюдать на протяжении многих лет, при десятках поездок из Сочи в том же южном направлении, при двух отпусках, проведенных в 1962 и 1966 году в той же Гагре.

Нет, не в одном этом крылись семена нынешней катастрофы. Гибельные силы таились в лоне безмятежного идиллического ландшафта уже тогда, но никто, даже самые отчаянные пессимисты, не могли себе когда-либо представить такого взрыва. И я тоже воспринимал приключения и переживания того лета как нечто случайное, мелкое, мне и в голову не приходили никакие трагические догадки или предчувствия. А противостояния, на которые я натолкнулся, были вовсе не те, что сегодня.

Жили мы на частной квартире в доме, опоясанном на всех этажах длинными балконами безо всяких барьеров между отдельными хозяевами — балкон был словно возвышенной над шоссе, над парком, над всем побережьем улицей, на которой жильцы свободно прогуливались. То, что окна наши выходили прямо на главную дорогу, ни в какой мере не портило нам жизнь — даже днем не каждую

четверть часа удавалось увидеть мчащийся мимо автомобиль. Хозяина квартиры все — и гости, и соседи — звали «дядя Костя», хотя он был отнюдь не старым человеком и к тому же занимал какой-то пост в городском или курортном управлении. Жена и дочь его носили — что меня по-глупому забавляло — одно и то же имя, Ольга. В угловой секции, рядом с нашей столовой-гостиной, снимал комнату москвич-профессор, некий Фролов, широколицый полный человек лет сорока, молодая жена которого поражала утонченной, холеной красотой европейского типа с еле уловимой примесью восточной экзотичности. С противоположной стороны к нам примыкала комната других постояльцев, кажется, из Ленинграда — мальчика моего возраста с отцом, рослым, атлетического телосложения мужчиной, постоянно носившим слегка затемненные очки в могучей роговой оправе, какую до этого я видел разве что в Германии. Узнав, что я шахматист, сын с придыханием сообщил мне, что отец имеет вторую категорию.

Уже в первый вечер нас с матерью и Идой ошеломило презрение и ожесточение, с которым обе Ольги, простые и приветливые, казалось бы, русские женщины, по всякому поводу и без всякого повода говорили о местном народе, абхазах. Это не было той самодовольной, насмешливой издевкой, с которой, увы, имперские, точнее, империи-носные нации повсюду и испокон веку относились к народам покоренным — впоследствии я был свидетелем именно такого «снисходительного» отношения большинства русских к коренному населению Средней Азии. Здесь чувствовалось нечто иное: каждое слово, каждая интонация, каждый жест были наполнены какой-то нутряной, стихийной, слепой ненавистью и злобой. Две милые женщины рассказывали всякие явные небылицы про коварство и жестокость абхазов, не забывая все снова и снова предупредить нас, чтобы мы вечером ради бога не ходили в такие-то и такие-то районы, а то не дай бог можем наткнуться на абхаза. Дядя Костя, правда, в поношениях и предупреждениях этих не принимал непосредственного участия, но безразличием своим как будто подтверждал

правоту и обоснованность любых обвинений. А рано утром, когда мать еще спала и я, едва проснувшись, ворочался с боку на бок, к нашему окну, в которое дул чудесный, бодрящий, несказанно чистый морской воздух, подошла со стороны балкона старшая Ольга и стала тихо, чтобы не будить нас, закрывать его. Я быстро приподнялся и спросил:

— Зачем же вы?

Она махнула рукой:

— Надо. Сейчас они встают, паразиты, и того гляди, какой-нибудь паразит сюда залезет и не приведи бог заглянет в окно!

После чего она со зла захлопнула окно с такой силой, что я аж испугался, не разбилось ли стекло. Мне потребовалось несколько минут, чтобы сообразить, что «паразиты» — это и есть абхазы.

Очевидно, я сам был чем-то похож на абхаза, может быть, какими-то характерно восточными чертами, унаследованными от библейских предков — скорее всего, пожалуй, носом, который не был типично еврейским, но и далеко не образцово арийским. Дважды я чуть не стал жертвой этого сходства. Как-то раз я шел по краю откоса над пляжем, когда внезапно передо мной выросла группка загорелых, обнаженных по пояс, мускулистых юнцов, и первый из них, судя по всему вожак, без объяснений и церемоний свалил меня с ног. Он уже занес ступню, чтобы ударить меня пяткой в лицо, но тут я неожиданно для самого себя, в качестве какой-то чисто инстинктивной реакции разразился многоэтажной руганью, увенчанной угрозой, что я ему откушу член (разумеется, я употребил другое слово), и это возымело поразительное действие: нога его в последний момент замерла, и я услышал озадаченный голос:

— Ты что, русский?

Не задумываясь, я совершенно искренне, а потому убедительно сказал:

— А ты что, опупел? Не видишь, что ли?

Он коротко свистнул, и вся шайка так же внезапно исчезла, как появилась. В другой раз я дерзко нарушил

запрет и осмелился проникнуть — а может быть, просто заблудился — в один из тех кварталов на склоне горы, где, согласно предостережениям двух Ольг, разгуливали абхазы. На тихой улочке мне здесь встретились два почти уже взрослых, лишь слегка подвыпивших парня, один из которых, преградив дорогу, с ехидной улыбкой схватил меня за подбородок:

— Вот ты и попался, абхазчонок! Не ожидал?

Теперь-то я уже знал, что делать. Я в самых «изысканных» уличных выражениях высказал свое мнение по поводу их состояния, а это их развеселило, они добродушно засмеялись, я получил легонький, почти ласковый шлепок по щеке, и они отправились дальше, продолжая хохотать.

Но тогда эти эпизоды не произвели на меня сколько-нибудь связного, весомого, возбуждающего впечатления, не натолкнули ни на какие обобщающие мысли, не вызвали даже любопытства относительно исторических корней или социальных причин проявившихся в них настроений. Прошло немало времени, пока я узнал хотя бы основные исторические факты: еще до революции, оказалось, а затем в гражданскую войну, особенно же в годы консолидации советской власти этот маленький народец с исключительной цепкостью отстаивал свою самостоятельность, упорно отражая натиск громадной империи, сначала в открытых мятежных действиях, потом в долгой кровопролитной партизанской борьбе, и наконец, в пассивном, но необыкновенно стойком гражданском сопротивлении. Разумеется, большевики приписывали это «проискам классового врага». А русское население, будь то местные уроженцы или вновь поселившиеся мигранты, люди политически «сознательные» или аполитичные, ох как охотно переносило разжигаемую большевистской партией ненависть к мифическому, абстрактному классовому врагу на конкретный, конкурентный и потому неприятный, а значит неприятельский, народ. К тому же, отказ этого народа от исходящей из вечной России мистической мироосвободительной и миротворительной идеи означал непризнание за русской нацией права на ее унаследованное от отцов и

праотцев мессианское самосознание — такое отрицание особой врожденной ценности державной нации, такое уничтожение ее исторической гордости опосредованно доходило даже до недалеких умов случайно осевших здесь обывателей — у них, не имевших даже заслуг колонизаторских, приехавших на все готовое, не мог не выработаться тайный комплекс неполноценности, требовавший тем большей компенсации в виде удвоенной агрессивности, удвоенной ксенофобии, удвоенного плебейского чувства превосходства.

Однако, не только об этой болезненной предыстории я не имел никакого понятия — я тогда просто-напросто честно верил в «сталинскую дружбу народов», как победный принцип, из которого, пусть, до поры до времени еще случаются какие-то досадные исключения. Гагринские гримасы, и те нанесли пока не настоящий удар, а лишь небольшую царапину по поверхности этого прекрасного мифа. Но одно я могу сказать со всей определенностью и сегодня — как раз сегодня, когда это может показаться странным: всю рознь, которую я замечал, вносили русские; на противостояние грузин и абхазов не было и намека. Не было намека на него даже в тех все более страшных историях об абхазах, которыми нас неустанно потчевали наши столь любезные хозяйки.

Между тем, куда больше этой зловещей атмосферы меня задевали повороты и перипетии очень своеобразной, полной внутреннего напряжения и психологической интриги, вполне романной истории, развертывавшейся изо дня в день прямо на моих глазах — флиртов и амурных походов Иды.

Уже на второй день после нашего прибытия дядя Костя пригласил к обеду молодого, долговязого грузина с тонкими, красновато-черными усиками и того же оттенка волнистыми волосами, которого он ничтоже сумняшеся представил как сотрудника местного ГПУ (так назывались тогда органы госбезопасности). Конечно, это буквосочетание еще не вызывало, по крайней мере, в кругах, лояльных к властям предержавшим, того ужаса, который

позже исходил от синонимов его, НКВД или КГБ; но меня откровенность дяди Кости все-таки покорила — может быть, потому, что в моих мальчишеских представлениях секретные службы всегда должны были оставаться секретными — но нет, был в этом чувстве и некий подсознательный, первобытно-магический как бы, подлинный страх, страх перед таинственно-жуткой и грозной силой, нависшей над всеми, и надо мной в особенности. Поэтому меня удивило и смутило непривычное, казалось, поведение Иды, бросавшей молодому человеку то и дело какие-то взгляды-намеки, отвечавшей на любое его остроумно-льстивое замечание признательным смехом, а иногда оборачивавшейся к нему так демонстративно, как будто кроме них за столом никого и не было. Я терялся, недоумевал, нервничал: неужели те три буквы не составляли для нее помехи, были пустым, ничего не несущим в себе звуком? А лицо грузина тем временем все более оживлялось, краснело, глаза засверкали, речь становилась поэтичной... Когда кончился десерт, он встал с подчеркнутой неохотой, сказал «Дела!» и попрощался с каждым из нас таким сердечным кивком головы и восторженным взглядом, что я почувствовал себя участником какого-то заговора, им затеянного.

На следующее утро я встал пораньше, как только услышал возню Ольги-старшей, снова старавшейся предохранить святыню нашу от нашествия «паразитов». Было теплое, солнечное, по-настоящему южное утро. Я бегом спустился по широкой, ослепительно белой лестнице и понесся через парк к спуску, за которым тихо, мелодично плескалось море. И вдруг я остолбенел. Сначала я видел лишь какое-то большое белое пятно на серой гальке, но почему-то уже это подействовало на меня как удар тока. А когда я чуть присмотрелся, у меня едва не вырвался произвольный крик. Там в спокойной наготе лежало роскошное женское тело, и хотя лицо было прижато к земле, я мгновенно знал, что это — Ида. Лишь когда первый испуг прошел, я заметил метрах в двух от нее вчерашнего грузина, осторожно присевшего на корточки — на нем

была другая, более темная рубашка, но главное, другим было выражение лица, оно выдавало смятение, борьбу судорожных эмоций, какой-то внутренний хаос. Неуверенная его фигура составляла своеобразный контраст недвижимой белизне этого тела, в котором было что-то античное, олимпийское. Для меня, впервые вообще увидевшего обнаженную молодую женщину, зрелище это было завораживающим уже само по себе, олицетворением красоты жизни. Но вместе с тем: не мог я не чувствовать, не понимать интуитивно, какой это был вызов — хотя советское общество в то время еще не прониклось таким маниакальным пуританизмом и антиэротизмом, как впоследствии, а я тем более не подозревал ничего о подобной тенденции, я безотчетно знал, что нагота Иды — поступок, дерзкий спор с общественными обычаями. А потом произошло нечто немислимое, ошеломляющее, миропереворачивающее — Ида совершенно хладнокровно, с каким-то философским спокойствием встала, выпрямилась, так что груди стали круглыми и упругими как мячи, размеренным шагом подошла к кромке воды. Когда ленивая, легонькая волна коснулась ее ноги, она чуть отпрянула, но тут же решительно шагнула вперед, в море, стала медленно, равномерно, неуклонно углубляться в него, в какой-то момент слегка подалась вперед, поплыла — неспешным, безмятежным брассом, а в кристально прозрачной, просвечиваемой утренним солнцем воде каждое ритмичное ее движение проступало отчетливо, рельефно. Мне же и в голову не приходило — не знаю, сколько длилось это состояние —, что наблюдаю сцену, не мне предназначенную. Но вот на пляже, недалеко от нас, появились первые курортники с пестрыми полотенцами, переброшенными через плечо или обвитыми вокруг затылка. Увидев их, чекист спохватился, вскочил, замахал рукой — раздраженно, но как-то привычно-повелительно, что-то коротко крикнул, и несколько, видно, растерянные купальщики повернули и стали искать себе другое удобное место, так ничего и не заметив. И только тогда мне стало как-то не по себе, словно я совершил тайный грех, и я тихонько удалился.

В течение ближайших недель дня не проходило, чтобы рядом с Идой не оказывался этот долговязый ее поклонник, будь то утром или днем или вечером, на пляже, в парке или у нас на балконе, а иногда он приезжал за нею и на машине. При этом его глаза становились все покорнее, все просительнее, его тон, вся манера его поведения все мягче, шелковее...

Но несравненно интереснее мне было другое знакомство Иды — в этом случае она именно меня постоянно брала с собой на встречи! Где-то в старой части Гагры она однажды случайно наткнулась на еврейского писателя Давида Бергельсона, которого, судя по всему, знала еще по Берлину. Он несомненно был втайне влюблен в нее, но с трогательной беспомощностью старался не показывать этого, а ей это льстило. Я давно знал его имя — отец неоднократно рассказывал мне, иногда достаточно подробно, о разных его произведениях, но кроме того о нем немало писали и тогдашние газеты и журналы, фамилию его можно было встретить и на афишах, и в радиопередачах. На послеобеденные их свидания, которые обычно назначались в уютном кафе-мороженом на небольшой мощеной площади, окруженной высокими, стройными деревьями, там, где сходились главная улица курорта — она же набережное шоссе — и знаменитое гагринское ущелье, пестревшее своеобразными старыми постройками, она столь охотно приглашала меня, по ее словам, «чтобы не появились никакие слухи», но думаю, не в последнюю очередь и потому, что видела мой несказанный восторг по поводу такого общения — подумать только, с живой литературной знаменитостью! Бергельсон, которому в августе того года исполнилось 51, но который выглядел гораздо старше своего возраста, на встречи приходил усталый, измочаленный многочасовой работой, тяжело садился на белый плетеный стул и не сразу приходил в себя — но присутствие Иды зримо приободряло, будоражило, зажигало, воодушевляло его, часто беседа превращалась в его монолог, при котором он неотрывно и мечтательно смотрел Иде в глаза, хотя говорил он вовсе не о любви. Оживленно жестику-



лируя незажженной трубкой, он рассуждал обо всем, что как раз занимало его, будь это литературные, политические или общеморальные вопросы. После двух-трех часов такого разговора он расставался с нами уже в приподнятом настроении, воспрянув духом, окрыленный. Одна излюбленная, мучительная тема его размышлений затрагивала меня за живое — в такой мере, что углубление и истолкование ее со временем сделалось одним из важных и вечных дел моей жизни: влияние старого русского антисемитизма на идеологию гитлеризма и обратное влияние травли евреев в Германии на латентное русское юдофобство. При этом он сетовал, что ему не дают во весь голос критиковать пассивную линию поведения немецкого еврейства, не оказывающего достойного сопротивления, что «наверху» ему внушают, будто это только «вопрос классовой борьбы». Вместе с тем, он со страстью говорил о тех надеждах, которые возлагает на конгресс Коминтерна, проходивший в те дни в Москве, и отнюдь не только в официально провозглашенной цели — создании «единого фронта» — он видел его смысл: ему казалось, что будет возврат к прежнему «интернационализму» в советской идеологии, пропаганде, внутренней политике, что отхлынет историко-патриотическая, милитаристская, русско-националистическая волна. Уже тогда все это захватывало меня куда больше, чем Иду, но радикальный поворот к империалистической стратегии и риторике, совершенный Сталиным и его партией в середине тридцатых годов, мне еще, разумеется, не дано было видеть так ясно, как несравненно лучше информированному, глубже образованному, больше помнящему, а главное, взрослому Бергельсону. Но затем, все снова и снова возвращаясь в разные годы к тому роковому рубежу, его корням и последствиям, я не мог не удивляться просто-сердечию и доверчивости, политическому самообольщению и исторической близорукости этого многоопытного человека, писателя-реалиста. Но заблуждения его зеркально отражали — в этом все дело — характерное умостояние довольно значительной части еврейской интеллигенции тридцатых годов, умостояние, в котором

сказывалась не только инерция мышления, неспособность решительно и полностью избавиться от благостных представлений времен общееврейского коллаборационизма в период НЭПа, культурной дебольшевизации, национальной эмансипации, не только судорожное стремление спасти собственный покой, принимая желаемое за действительное, но и сугубо поверхностное понимание самой сути событий, как прошлых, так и настоящих, некое укоренившееся внеисторическое толкование современных исторических процессов, более того, унаследованное от нескольких поколений благомыслящих мечтателей возвышенно-иллюзорное видение всего развития цивилизации, проникнутое пафосом так называемого прогресса. Не трусость и даже не опасение вызвать огонь режима на еврейское население, а недопонимание, недооценка, недоосмысление коренной противоположности, несовместимости еврейского и большевистского жизнеощущения, еврейской и сталинской ментальности, еврейско-западнического духа и тоталитарной идеологии — вот что было основной причиной не только пассивности, не только слабости еврейского идейного сопротивления зреющему сталинизму, но и неполноценности психологической самоподготовки, духовного самоворужения перед лицом неизбежного, закономерного поворота официальной советской мифологии и психополитики к открытому антисемитизму. Бергельсон так же, как и сотни тысяч его современников, полностью осознал сущность этого поворота только впоследствии, когда стала заметно меняться пропагандистская лексика и символика всей унифицированной прессы, всех государственных и партийных средств массового воздействия. Но пусть расхожие схемы мышления еще отягчали и искажали тогда его восприятие действующих в стране и мире сил, подлинных соотношений и тенденций — сама его искренняя, глубокая, душевная озабоченность свидетельствовала о недюжинном интуитивном предвидении... Может быть, в нем жило какое-то предчувствие собственной трагической судьбы? А вот какая мысль мне вдруг пришла сейчас, через без малого шестьдесят лет: не могло ли быть,

что он, стремясь бросить в советской печати упрек немецким евреям, на самом деле имел в виду евреев советских, хотел аналогией, обобщением, иносказанием разбудить именно их, предупредить их о грядущей опасности, морально подготовить их к неизбежной духовной конфронтации с режимом?

Почему из множества актуальных и вечных тем, по которым высказывался Бергельсон, мне в душу запало как раз это сочетание, эта связка евреи — неопатриотизм — Коминтерн, почему относившиеся сюда рассуждения и тревоги его вытеснили из памяти даже столь весомую для меня, казалось бы, литературную тематику, которой он ведь безусловно касался — это вовсе не так легко объяснимо, не так очевидно, как должно показаться сегодня, после всего, что мы пережили — и что переживаем. Что-то, вероятно, уже носилось в воздухе — хотя на сознательном уровне, это я могу совершенно определенно сказать, я пока никакого юдофобства вокруг не замечал — ни в какой ситуации, ни в какой среде. Но эпизодические и тем не менее разительные примеры вражды русских к абхазам уже придали, должно быть, моим мыслям и эмоциям подспудно какое-то новое направление.

Но не только с этим, думаю, связана яркость воспоминания и о другом суждении Бергельсона, его словах о грузинской культуре... Однако, это было уже в конце гагринских дней наших.

Между тем, настал срок, когда должен был приехать муж Иды, Михаил Гелибтер. В распоряжении дяди Кости на этот раз не было машины, чтобы привезти нового гостя из Сочи. Не думая долго, Ида устроила несколько странную комедию: она сказалась больной, легла на диван в своей комнате и послала меня к гостинице «Гагрыш», где у нее было назначено свидание с тем самым чекистом. Я нашел его сразу же, он всполошился — это несомненно было искренней реакцией — и без дальнейших вопросов последовал за мной, в уже хорошо знакомую дверь он вежливо постучался, а когда увидел Иду в цветущем состоянии, явно успокоился, обрадовался. А просьба ее,

чтобы он предоставил машину ее мужу, лишь постепенно дошла до него — миновала, наверное, минута, если не больше, прежде чем он взорвался:

— Ни за что! Это невозможно.

Потом добавил уже сдержаннее:

— Не могу я служебную машину, это же ясно, так за- просто...

Однако, Ида не сдавалась:

— А если я очень попрошу?

И тут он впервые, насколько помню, упомянул свою национальность:

— Знаете, мы грузины не любим, когда нас унижают.

К этому аргументу Ида, видно, подготовилась — она ответила тоном неизъяснимо вкрадчивым, ласкательным:

— Если подумать, кто кого здесь унижает?

Наступила неловкая пауза, явно из-за меня — я не знал, как быть, куда мне деться. Спас голос младшей Ольги, который послышался с балкона:

— Ой, картошка какая вкусная! Кто хочет?

Я не оглядываясь выбежал туда. На следующее утро машина, во всяком случае, стояла у подножья нашей лестницы, и я видел, как Ида в нее садилась.

Грузин по-прежнему приходил к нам на ужин, но явственно ощущалось, что изменившаяся ситуация его раздражает, и что это раздражение он невольно начинает переносить и на Иду. Гелибтер, который, естественно, чувствовал натянутую атмосферу, то и дело вдруг воцарявшуюся за столом, старался поднять настроение гостей и хозяев очередными рассказами об Орджоникидзе. Грузин же, не знавший, что это вечный конек нежеланного нового собеседника, воспринял истории эти как национальную лесть и счел за должное реваншироваться похожими, но уж очень неуклюже придуманными героизирующими анекдотами про Кагановича, гремевшего тогда руководителя-еврея. Однако, такой обмен взаимными большевистскими любезностями не мог скрыть нарастающего напряжения — и с какого-то момента длинный чек-кист исчез из моего поля зрения.

Реже Ида стала встречаться и с Бергельсоном. Но одна из последних их встреч оставила яркий след в моей душе, и вот почему. Ида, раздосадованная, видно, потерей власти над своим недавним поклонником, как-то мимоходом бросила слегка пренебрежительное замечание о грузинах, которые-де склонны много воображать о себе. Тогда Бергельсон произнес прекрасную, серьезную, вдумчивую речь о красоте грузинской культуры — о памятниках старины, о самобытной архитектуре, но прежде всего о поэзии... Под впечатлением его слов я сразу же после возвращения в Москву достал томик переводов грузинских стихов — и был очарован, пленен на всю жизнь. Впоследствии, став профессионалом, я всегда буквально дрался с редакторами и издателями за возможность переводить грузинских поэтов! И сегодня, когда человечество забывает свое высокое наследие и даже у нас в России, последнем было оплоте поэтической потрясенности, новое поколение пренебрегает этим извечным источником душевной силы, я нередко нахожу утешение, вновь обращаясь к грузинской лирике. Затем я полюбил красоту грузинской живописи — красоту взгляда, красоту жизни, красоту духа. Но выше всего для меня — грузинское кино, которое я совершенно определенно, однозначно ставлю на первое место среди мировых школ кинематографии, по человеческой, сердечной красоте, по красоте художественного мировоззрения — а самым прекрасным фильмом считаю «Древо желания» Абуладзе. И всегда буду считать.

Именно в те солнечные часы, когда мы втроем сживали под тентом кафе-мороженого на пустынной гагринской площади, мне впервые наглядно, осознанно, понятийно представилась, как важнейший принцип жизни, вездесущая и вековечная борьба двух враждебных начал, двух несовместимых ценностей: красоты и справедливости. Конфронтация эта жила во мне, пусть до поры до времени скрыто, латентно, с самых ранних лет, и всегда я инстинктивно, под влиянием каких-то врожденных импульсов отдавал первенство красоте: и тогда, когда Ида отняла у меня любовь Марии, а я все простил, и когда

девочка Эльснер в Берлине изводила соучениц наших, а я не возмутился подобно Бернштейну, и когда Валя Патковская сияющей улыбкой поощряла мои издевательства над бедным Путаном, а я... Но теперь я стал задумываться — именно задумываться, размышлять — над этим противостоянием, со временем предпочтение мое приняло некую концептуальную форму, оно вошло органическим элементом в мою первоначальную идеологию, пусть еще чрезвычайно незрелую. И вместе с тем — бергельсоновские беседы с их психологическим подтекстом, который я читал с недетским уже интересом, дали первотолчок чему-то в моем уме, что вело дальше, в конечном счете к сознательному построению собственного мировоззрения, ко всему тому, что я представляю собой, как личность, как личность мыслящая. При этом, думаю, безразлично, каким этот психологический подтекст был сам по себе, объективно, и что я в него вкладывал, как его интерпретировал. А ситуация была такая:

По какому-то поводу Бергельсон высказался в том смысле, что подлинный социализм, дескать, устранил социальную несправедливость, заключающуюся в неравном экономическом и материальном состоянии людей, а вот слабость будущего социализма в том, что он не сможет стереть неравенство в природных дарах, а это, мол, неискоренимый источник несправедливости; ибо все внешние и внутренние качества человека представляют-де ценность в себе, но их неравное распределение делает их инструментом унижения человека человеком. При этом в нем говорила, конечно, прежде всего мучительная обида из-за того, что он, такой невзрачный, никогда не сможет добиться взаимности Иды, и эту частную, интимную обиду он обобщал до значения едва не философского — не то не замечая, не то как раз подчеркивая, что сам унижает собственное внутреннее качество, интеллектуальный свой дар, перед внешним качеством, физическим даром Иды. Но именно в этом принижении мне виделась красота, красота духовная. И когда Бергельсон после такого самопринижения, пусть не высказанного, уходил воодушевленный, точно

почерпнул из него новые силы, то я воспринимал это не просто как особого рода катарсис, а как некий закономерный путь самовозвышения Духа.

И если я четыре десятилетия спустя в своих первых самиздатовских «мировоззренческих размышлениях», озаглавленных «Дух как наследие и миссия», попытался построить цельную концепцию «эволюционного оптимизма», в которой вся история и перспектива человечества основывается на пафосе противостояния Духа и Идеологии, то в этом оживало что-то очень существенное из того лета. Но и наоборот: новая идеономия обусловила новый взгляд на старую проблему, по-новому обосновала и мотивировала старую мою оценку ценностей — теперь я уже принципиально во всех своих суждениях, мысленных построениях и поступках исходил из все той же — глубокой, хотя до поры до времени лишь внутренней — убежденности, гласившей:

Красота духотворна.

А справедливость — сугубо идеологична. Представляя собой органический элемент, будь то эксплицитный или имплицитный, любой идеологической системы, она как некое реальное, объективное явление неопределима, немыслима по существу, а потому во всех без исключения идеологиях превращается, к тому же, в пустой девиз, более того, в дубину, бьющую по человеческой индивидуальности, в конечном счете по Духу.

Между тем, самым однозначным, пожалуй, показателем столь ранней моей пристрастности явилось весьма специфическое и несколько странное преломление, которое в моем сознании тогда получил последний гагринский флирт Иды. Приезд Гелибтера отнюдь не сделал ее образцовой супругой и заботливой матерью семейства. По всему чувствовалось, что курортная атмосфера действовала на нее куда сильнее, чем близость мужа. А муж, надо сказать, много потерял в глазах всех нас, когда однажды мы впятером или вшестером навестили Бергельсона в доме отдыха писателей в старой части города. Жена писателя, не подозревавшая, кажется, о привязанности супруга, угощала

нас так радушно и обильно, что глаза разбегались — но общее настроение портил Гелибтер своей патриотической фразеологией, бюрократической самонадеянностью, апломбом «строителя коммунизма», так что у бедного писателя не выдержали нервы и он, сославшись на срочную работу, в разгар застолья удалился в свою комнату. Жалкая роль мужа в этом случае еще более, видно, раззадорила Иду. К моему удивлению, она как будто стала интересоваться нашей с соседом, ленинградским инженером в роговых очках, обязательной предвечерней игрой в шахматы с умеренным «звоном». Как только мы садились за партию, она появлялась на балконе, а затем с чуть наигранным любопытством расспрашивала моего партнера о ходе борьбы, о шансах сторон, о качестве моей игры, которое он всегда щедро расхваливал. Разумеется, я не настолько был наивен, чтобы верить, будто она и на самом деле так уж интересуется моими способностями. Но все же мне казалось, что внимание ее действительно целиком направлено на нас, из чего я заключил, что она взяла на прицел ленинградца, как-никак атлетически сложенного, очень мужественного на вид человека. Однако, вскоре я убедился, что ошибся. В те же часы чуть поодаль от нашего столика обычно возлежал, читая книгу, другой наш сосед, профессор Фролов. Становилось все более ясно, что Ида и громкостью, и интонацией, и какой-то подчеркнутой нарочитостью своих вопросов, замечаний, возгласов старалась привлечь именно его внимание. Если даже и я замечал эти нюансы, то он, естественно, тем более. У меня при этом создалось впечатление, что Ида умеет, не оборачиваясь и не подавая даже вида, направлять исходящие от нее флюиды в совершенно определенную сторону. Так между ними образовалось силовое поле, в котором любое ее движение, любая поза, любой случайный взгляд приобретали некое особое значение — а он и не пытался вырваться из этого поля, он втягивался в него, как мне казалось, без малейшего сопротивления, охотно, даже с каким-то подлым наслаждением. Я был настолько возмущен его предательством, что стал зло огрызаться на вполне благожела-



тельное ко мне участие Иды в нашем шахматном «звоне». Негодование мое не имело ничего общего с праведным гневом какой-нибудь пуритански воспитанной души или хотя бы с тихим неодобрением поведения подруги, проступавшим в некоторых репликах матери моей. Не была права и сама Ида, когда — уже в Москве — смеясь заявила, что я ревновал ее к Фролову. Нет, я был взбешен изменой красоте. Могу с уверенностью сказать, что мне, двенадцатилетнему, было чуждо не только любое морализирование, но и какое-либо по-детски мистифицированное истолкование собственных чувств — Идой я восхищался за внешность, за трезвое и незамутненное восприятие действительности, за здравый смысл, но мальчишеской влюбленностью это не было. Если бы не благородные черты, не сказочные глаза, не роскошные волосы жены Фролова, я остался бы вполне равнодушен к затеянной Идой игре, это несомненно. Я отлично понимал, что Иду прельщал триумф над такой красавицей. Но что нужно было профессору? Я возненавидел его за то, что он оскорбил, осквернил врожденные мне, изначально дорогие мне, неизменно жившие во мне ценностные представления и идеалы.

Продолжение этой интриги, если оно имело место, осталось вне моего поля зрения. Но, во всяком случае, в остававшиеся дни Ида была в приподнятом, ликующем, победном настроении, а однажды я стал свидетелем, как она на балконе подошла к жене Фролова и, испытующе глядя ей в лицо, сказала не без затаенного ехидства:

— Жаль, что такое чудесное время не может продолжаться вечно, правда?

А время, проведенное в Гагре, ведь действительно было чудесным, и память о нем и сейчас пробуждает во мне светлую ностальгию. Тогда еще не вставал передо мной и вечный вопрос совести: как человек может блаженствовать в раю, если он знает, что существует ад?

Ида же, которая не только знала, но и остро сознавала, что в огромной стране вокруг нас — ад, тем не менее ловила момент и поистине блаженствовала. В ней все-таки глубоко сидел бес номенклатурности...

Только что я выключил телевизор: опять говорили о страшных боях в Абхазии. В раю — ад. Мои же чувства и теперь не разделились. Справедливость на стороне абхазов. Но я ни в коей мере не симпатизирую им. Ибо они разрушают высокую красоту Грузии.

## 26.

В те последние августовские дни мы возвращались не просто из каникул, мы возвращались из некоей паузы между двумя непохожими, во многих отношениях, отрезками жизни.

Заметно изменилась сама Москва.

Нас с матерью ждала новая комната, в другом доме, в другом микрорайоне.

Школа наша переехала по новому адресу, в новое здание на Кропоткинской.

Сильно изменился образ жизни нашей семьи, так как мать начала работать...

То, что взгляд в прошлое автобиографа отличается от ретроспекции историка неизбежной ограниченностью, обусловленной самой человеческой позицией, самим углом зрения мемуариста — это истина самоочевидная, банальная донельзя. Но в известном смысле память мемуариста объективнее «памяти» историка, который всегда связан какой-нибудь идейной установкой — пусть это даже будет установка на объективность. Мемуарист черпает из одного единственного источника, в субъективности которого отражается неоднозначность самой жизни в ее объективном течении, историк же подходит к огромному множеству субъективных источников — в случае, если он вообще стремится быть не «партийным» интерпретатором, а бесстрастным исследователем — с предвзятым мнением, что из сотен предвзятостей можно путем синтеза или анализа извлечь одну непредвзятость. Впрочем, лично я никогда не стремился в своих исторических сочинениях быть бесстрастным исследователем — это я всегда подчеркивал и в предисловиях.

Исходя из этого, я считаю, что картина Москвы 1935 года, которую я собираюсь набросать, безусловно ограничена по кругозору и в этом смысле страдает односторонностью, но, сколь это ни парадоксально, как раз в силу этой ограниченности и односторонности она более объективна, чем могло бы быть любое взвешенное и широкоохватное воспроизведение того же периода в жизни города самым знающим и добросовестным историком.

И по внешнему виду, и по ритму и стилю городской жизни Москва второй половины 1935 года стала во многих отношениях неузнаваемой — она приобрела черты более или менее цивилизованной столицы. Исчезли беспризорники, исчезли голодные крестьяне, поредели гроздьи людей на трамваях, уменьшилось число долгополых шинелей на улицах, увеличилось количество чистеньких грузовиков, да и легковых автомобилей на главных магистралях, укоротились очереди за «мануфактурой» (так в народе называли дешевые ткани), и кое-где даже появились цветочные киоски. Все это несомненно производило немалое впечатление на среднего московского обывателя, и что бы там ни говорили сегодняшние историзирующие публицисты — среди большинства московского населения воцарилась атмосфера оптимизма. Эта атмосфера проистекала, однако, не только из очевидных, более того, бросающихся в глаза перемен, но также, с одной стороны, из широко разрекламированных планов внутримосковских преобразований и перестроек, в самом деле весьма привлекательных для той массы горожан, что не имела эмоциональных связей с московским прошлым, а с другой стороны, из крепнущего эгоистического сознания, что столичным жителям предоставляются огромные преимущества по сравнению со всеми остальными гражданами страны, что быть москвичом — это величайшая в условиях советской жизни, неоценимая привилегия.

Сталину, хорошо знавшему историю Ивана Грозного, вряд ли могли показаться заманчивыми итоги безумного разделения державы на Опричнину и Земщину. Почему же он все-таки пошел схожим путем?

Две цели, упоминаемые всеми авторами книг и статей, размышлявшими когда-либо над этим политическим ходом советского вождя, лежат на поверхности, и никто не станет их оспаривать: Москва должна была стать витриной «нового общества», позволяющей пускать пыль в глаза приверженцам кремлевского мессии во всем мире, да и другим иностранцам; а москвичи должны были стать особой, довольной своей судьбой, а потому преданной режиму, охранительной, как бы «гвардейской» или, по-старому, «опричной» частью населения, амортизирующей любое брожение в стране. Однако, при всей бесспорности этих мотивов, решающую роль, думаю, сыграли все же более глуболежащие, исторически более масштабные побуждения. (Многokrатно уже я по разным поводам и под разными углами зрения писал в различных сочинениях своих, как опубликованных – «Неверная память» стр. 217, статья «Самосожжение» в журнале «Родина», № 6-7 за 1992г. –, так и самиздатовских – «Метаморфозы народной души», «Город-спрут и русское сопротивление» –, о психополитическом, символическо-пропагандистском отождествлении и самоотождествлении Сталина с Москвой. Но при этом стержневое значение имело одно обстоятельство, которое в этой связи необходимо специально подчеркнуть: Москва была центральной и единственно неизменной, сквозной идеей Сталина. Именно эта идея соединяла его стратегические линии и тактические курсы двадцатых, тридцатых и сороковых годов. Московская мессианская и имперская традиция всегда оставалась идейным сосудом его маниакального стремления к мировому господству.)

При этом Сталин чувствовал себя и наследником, и пророком. От средневекового русского православия с его психологией осажденной крепости, от веков московско-ордынского союза с его ранне-евразийским мышлением, от московских великодержавных притязаний XV, XVI и XVII столетия, от славянофильской проповеди идеологической исключительности, от первобольшевистского мифа о мировом пожаре из русской искры он

воспринял и для доктрины, и для менталитета, и для самого мироощущения сталинизма общее их ядро, основополагающий их элемент. И чем очевиднее он менял свои экспансионистские лозунги, методы, планы — пройдя извилистый путь от коминтерновского миража всеобщего восстания пролетариата через трамплин «социализма сначала в одной стране», затемнение своей перманентной завоевательной стратегии антифашистским камуфляжем, возврат к национально-милитаристской, ура-патриотической, историко-романтической упаковке былых времен, концепцию союза с Гитлером ради раздела мира, панславистский разбег военного времени и дальше к последней, послевоенной стадии имперского саморасширения при помощи цепи сателлитов —, тем очевиднее становилось и другое: точкой опоры и центром тяжести сталинской политики вопреки всему оставалось всегда одно начало — мистический принцип Москвы. Более того, он предсказывал, возвещал, готовил торжество именно этого начала после своего ухода из жизни, надеясь обрести в этом торжестве личное — сугубо личное! — бессмертие.

Такая полная самоидентификация человека с городом-идеей, городом-принципом, городом-собственной ипостасью приняла характер настоящей мании; понятийное слияние Сталина и Москвы в пропаганде и психополитике превратилось для него лично в слияние сущностное, магическое. И если он всемерно возвышал, укреплял, возвеличивал Москву, то потому, что ощущал ее как воплощенное свое продолжение в пространстве и времени.

Вот почему, думается, не столько реальные изменения в жизни и облике города, сколько осознание — отнюдь не придуманное ведь пропагандистами — особой «отеческой заботы» вождя о своей столице, на зависть всем провинциалам презренным, сделалось для многих источником если не мажорного, то оптимистического умонастроения, надежды если не на светлое будущее, то на вечность привилегий своих. Длилось это минимум года полтора-два...

Нам же отец в то лето сумел выхлопотать новое, более приличное жилье.

Прямо напротив завода «Шарикоподшипник» находился микрорайон с простым названием «красные корпуса», состоявший из пятиэтажных, неоштукатуренных, краснокирпичных построек не очень ухоженного вида, которые наметанный глаз этак тридцать лет спустя наверняка определил бы как «хрущевки». Но несмотря на довольно неприглядный внешний облик, это был, по сравнению с нашим «стандартным городком», вполне городской, по тогдашним советским меркам даже импозантный строй домов. Главное же — здесь в квартирах имелись всякие элементарные удобства, которые тогда казались не такими уж элементарными: центральное отопление (ни в «стандартном», ни в Берлине его не было — правда, немецкая печь зато была сложена из красивых изразцов), туалет (после берлинской-то межэтажки да «стандартной» надворной будки!), телефон (естественно, один на все четыре семьи, обитавшие — во всяком случае, у нас — в такой уютной коммуналке). В подвалах помещались заводские общежития, а чердаков вообще не было — поэтому, как рассказывали, даже в предыдущие годы здесь не появлялись ни беспризорники, ни бродяги, ни другой «элемент». К тому же, наш подъезд находился совсем недалеко от трамвайной остановки — все это было для меня немаловажно, ибо я мог приезжать домой довольно поздно без того, чтобы родители слишком сильно беспокоились — да что там, Москва стала к тому времени и вообще городом достаточно безопасным! В соседнем доме, выходявшем фасадом на широкую магистраль с асфальтированными (какая роскошь после полутора лет «стандартно-городского» лунного ландшафта!) тротуарами, дорожками и проезжей частью, сверкали огромные, хотя порядочно запыленные окна продовольственного магазина, в котором загадочным образом всегда было вдоволь товаров, хотя цены как будто отнюдь не кусались (может быть, я и ошибаюсь, невольно принимая финансовое положение нашей семьи, наших соседей и немногочисленных наших знакомых за средний уровень), чуть дальше находился менее презентабельный овощной с громадными огурцами

из папье-маше в витрине, а в другом конце микрорайона приютилась скромная парикмахерская с приветливой старушкой-мастером, всегда хвалившей меня за внешность. На той стороне главной улицы, в самом здании завода, специальный, общедоступный с улицы вход вел в заводскую библиотеку, где я, помнится, брал и Чехова, и множество шахматных книг. В общем, сплошная идиллия, да и только! Впрочем, безо всякой иронии: для тысяч, десятков тысяч выходцев из деревни, своевременно — в отличие от нашей попутчицы по «спальному» вагону — перекочевавших в Москву и успевших получить комнату в таких вот вновь выстроенных «социалистических» заводских поселках, это было не то что идиллией, а подлинной фантастикой, наглядным исполнением «вековой мечты человечества» — рассуждая о том времени, нельзя этого не учитывать...

Обитатели же нашей квартиры составляли в этом смысле, несомненно, редчайшее исключение — они все относились к местной «аристократии».

Из четырех комнат в квартире три были приблизительно одинаковых размеров, в том числе наша — в ней было помню, 16 квадратных метров. Одна же, предназначенная вероятно для прислуги, представляла собой узенький пенал, где в одном месте хозяева — болгарская супружеская чета Цвиинских — протискивались только бочком, ибо на них напирал собственный шкаф, который они все-таки предпочли настенным вешалкам — «принципиально», как однажды объяснила худенькая, невысокая, невзрачная товарищ Цвиинская. В двух же других комнатах жили Глебовы и Орловы.

Инженер Глебов незадолго до этого провел вместе с женой несколько недель, а возможно, и месяцев в Германии и Швеции, где принимал какие-то машины, закупленные для завода. Сначала он производил и на меня, и на родителей моих впечатление человека крайне необщительного, вечно хмурого, угрюмого по природе. Но мы заблуждались. Подавленное настроение его, оказалось, вызвано было болью, жалостью, отчаянием по поводу

народной нищеты, а в особенности, безнадежной технической отсталости нашей. Мрачные его мысли обнажались, когда он выпивал, а выпивать он стал все чаще — и по выходным, и нередко вечерами. Тогда он, если через дверную щель видел у нас свет, осторожно стучался к нам, чтобы излить душу. Мать выслушивала его сочувственно, и это его успокаивало, утешало, и он уходил тихий, умиротворенный, пусть ненадолго. Когда же дома бывал отец, разговор складывался несколько иначе, так как уверенность отца, что будущее нас ожидает все-таки светлое, желанное, укрепились и усилились в результате явных ведь, неоспоримых сдвигов к лучшему в столице, да под влиянием поднявшегося жизненного тонуса москвичей. Глебову тоже хотелось в это верить, он боролся с собой, но он лучше отца знал советскую жизнь, и упование на будущее не могло его отвлечь от тоскливых раздумий. Жена же его, Татьяна Васильевна, была существом совершенно другого склада. Ее строго овальное, гладкокожее, всегда тщательно покрашенное (нечто крайне необычное, немодное в тогдашней Москве!), миловидное лицо было словно создано для вежливых, вкрадчивых, иногда сияющих улыбок, которыми она одривала всех окружающих — кроме мужа! Собственно, какими-либо внешними знаками, а тем более высказываниями она своей ненависти к нему не обнаруживала, но все соседи, изо дня в день наблюдавшие внутрисемейные отношения друг друга, давно знали, да и я очень скоро почувствовал, до чего эта ненависть бездонна, ядовита. Постепенно все рельефнее обрисовались и причины, как бы социальные корни ее нетерпимости. Очевидно, еще до поездки за границу она принадлежала к тому столь массовому, столь характерному типу советской женщины, который искал спасения от гнетущей беспросветности жизни в накоплении какой-то жалкой, смехотворной «роскоши» — каких-то ковриков, дешевеньких шуб, китчевых картин, вышитых покрывал, шкатулок с ракушками и подобной прелести, «украшавшей» социалистический быт. Но после пребывания в Европе, пусть еще охваченной жестоким кризисом, но для совет-



ского глаза сказочно богатой, блаженствующей, в эту женскую душу вселился бес. Мечта о шикарной жизни полностью поглощала ее, съедала в буквальном смысле слова ум и сердце. В свое время она вышла за внешне малоавантажного Глебова, вероятно, потому, что ожидала от него быстрого продвижения, блестящей карьеры — да ведь в двадцатые и начале тридцатых годов само звание инженера было (трудно сегодня и представить себе!) высокопрестижным, а для честолюбцев и карьеристов весьма многообещающим, к тому же относительно денежным. Однако, Глебов оказался, видно, «слюняем», удовлетворился малым, и к ужасу жены, даже заграничную командировку он использовал далеко не «как настоящий мужчина». Все ее помыслы были поэтому направлены на то, чтобы с одной стороны как можно больнее, при любом удобном и неудобном случае, уязвить и унижить его, отомстить ему за постигшее ее разочарование, а с другой стороны, судорожными усилиями и целенаправленными действиями «исправить» свою ошибку, прежде всего, разумеется, путем подыскания и завоевания более достойного супруга. Ее честные старания вскоре увенчались заслуженным успехом. В один прекрасный день, когда Глебов находился в какой-то командировке, Татьяна Васильевна постучала во все двери и попросила всех жильцов в свою комнату. Был, кажется, выходной, и недоумевающие соседи пришли чуть ли не в полном составе. На покрытом кружевной скатертью столе блестели две бутылки шампанского и целый строй длинношеих шампанок из светло-голубого стекла. С необычайно сияющей улыбкой она разлила содержимое одной из бутылок по бокалам и торжественным голосом попросила «дорогих друзей» выпить за ее счастье. Насладившись озадаченными лицами гостей, она слегка, гортанно хихикнула, но тут же спохватилась и с такой же торжественной серьезностью объявила, что вчера была в ЗАГСе и расторгла брак с Глебовым (в те времена это было проще простого), а завтра распишется с Ивановым, «настоящим мужчиной», который знаком и даже близок самому Андрееву,

члену Политбюро. Когда она произносила эту заурядную русскую фамилию, в голосе ее смешивались победное ликование и подобострастное благоговение — а кто такой этот человек с уморительным именем Андрей Андреевич Андреев, знал каждый из присутствующих, хотя даже раблепная советская пропаганда редко упоминала этого бесцветнейшего из всех бесцветных собутыльников Сталина. Таня Глебова же рассказала нам тоном искренне восхищенным, очень напоминавшим тон Михаила Гелибтера при дифирамбах-анекдотах его в честь Орджоникидзе, о том, как патрон принял их в огромном кабинете («дух захватывало, знаете»), спокойно выслушал просьбу Иванова разрешить ему, «как коммунист коммунисту», развестись с прежней женой и жениться на новой, внимательно осмотрел Татьяну Васильевну с ног до макушки, велел ей повернуться, освидетельствовал сзади, затем «так мило, знаете» улыбнулся ей и изрек: «Что ж, выгони ту шлюху свою к черту и возьми эту, так и быть!» При этих словах Татьяна Васильевна с деланным испугом взглянула на меня, но тотчас сказала, обращаясь уже ко всем: «Такой остроумный, знаете!» В заключение же она стала уверять нас, что будет вечно нам благодарна, что только наша, соседней, моральная поддержка помогла ей выдержать тяжелые годы — «вы же знаете Глебова». На следующее утро она явилась с несколькими одетыми в синие рубахи и комбинезоны, красноносыми, всю вонявшими водкой, но учтиво кивавшими головой даже мне и беспрекословно послушными ей мужиками, которые по ее указаниям осторожно, но большей частью без особого разбору, вперемешку укладывали в чемоданы и ящики платья и мужские рубашки, чайники и скатерти, кофточка и грампластинки, а затем под ее бдительным и мнительным присмотром начали выносить весь этот груз на лестничную площадку. Я спешил в школу и не мог долго наблюдать или размышлять над неприкрытым, как я понимал, разбоем этим, когда же я вечером вернулся домой, дверь в комнату Глебовых была открыта настежь, и я просто не мог не заглянуть: комната, казавшаяся вдруг огромной, стояла совершенно

пустая, даже мебель вся исчезла, лишь под окном валялись изорванное ватное одеяло и грязная простыня, да у самой двери была брошена пара вконец истоптанных шлепанцев. Когда вернулся Глебов, меня дома не было. Мать рассказывала, что он заплакал. Потом одежду свою бросил на то самое одеяло, а сам полуголый лег на пол и несколько часов неподвижно смотрел в потолок. Несколько недель его не было видно. Затем он явился пьяный, и с тех пор у него часто бывали запои. Однажды он зашел к нам, тяжело опустился на стул, обхватил голову, опершись локтями на низкий стол, и застонал:

— Что же это будет? Что же будет? Русской интеллигенции конец, конец, конец

Не раз я замечал, как он вздрагивал, услышав случайно имя Таня — а у нас в квартире была еще одна Таня, Орлова —, когда же мать спросила его несколько месяцев спустя, не чувствует ли он себя скверно в такой запущенной комнате — он притащил только тумбочку, табуретку и маленькую настольную лампу —, он ошеломил ее ответом, что тоскует по одной лишь Тане.

Впоследствии мне не один раз приходила в голову мысль, что Глебову неправдоподобно повезло: он пережил 37-й год более или менее благополучно (во всяком случае, когда нас с матерью во второй половине 38-го выселили из квартиры, он был жив, здоров и на свободе), а ведь кто-кто, а Татьяна Васильевна принадлежала к породе тех баб, что избавлялись тогда от мужей при помощи доноса.

С самого начала очень хорошие, даже доверительные отношения сложились у моей матери с другой соседкой, Таней Орловой. И это несмотря на солидную разницу в возрасте. При переезде нашем на новую квартиру матери было 36, и естественнее, казалось бы, выглядело бы сближение ее с Глебовой, женщиной примерно тридцатилетней, но в первый же вечер я застал ее на кухне в оживленной и притом самой дружеской беседе с загорелой блондинкой лет 22, от силы 23, которая, увидев меня, ласково воскликнула:

— А это и есть сын? Ух, какой большой уже!

Я сразу же почувствовал своеобразную гармоничность этой молодой женщины. И фигура, и лицо ее казались тщательно очерченными и искусно выточенными природой из одного куска, и вместе с ясными, живыми глазами, длинными, слегка вьющимися, какими-то солнечными волосами, размеренно-плавными движениями и богатым, звучным и при обычной речи, и при пении голосом они составляли одно неразъемлемое, органическое целое. То, что я сразу же проникся трепетной симпатией к ней, было только естественно. Но вот отец мой, который никогда в жизни не грезил, как будто, женщинами, однажды сказал матери не без определенного пафоса, что подруге ее Тане с ее внешностью и голосом величайший грех не сниматься в советском кино.

Именно так и сказал, в советском кино. Если прилагательное, явно лишнее здесь по смыслу и по обстоятельствам, странным образом пришло ему в голову как раз при мысли о Тане, то сказала, думаю, не просто привычка к патриотической фразеологии, а некая бессознательная ассоциация: в те годы необычайной популярностью во всех буквально слоях населения пользовался фильм «Веселые ребята», и исполнительница главной роли, Любовь Орлова, сделалась эталоном «советской кинозвезды». Безусловно, по данным своим она была предназначена не для оптимистически-беспроblemных музыкальных комедий подобного рода, ей бы играть женщин непростых, с напряженной душевной жизнью, а может быть, аристократок — и все же уподобление, одно даже ассоциирование Тани Орловой с экранной однофамилицей было несправедливо по отношению к первой. В Тане удивительно явственно ощущалось то трудноопределимое, многозначное, многослойное свойство, которое в предыдущие века называли благородством — его в сыгранных Любовью Орловой образах не могло быть, ибо оно присуще, по исконному значению слова, самоопределившимся, самоценным, своезаконным индивидуальностям. А в Тане, каково бы ни было ее воспитание, жила такая индивиду-

альность. Она была малообразованна, но глубоко культурна. И она это знала, она это сознавала, она стремилась вопреки своей жизненной ситуации к осуществлению — пусть чисто внутреннему, «для себя» — своей личности. Возможно, это было как-то связано с неизвестным нам, соседям, происхождением ее. Во всяком случае, мне так казалось, ибо на эту мысль меня еще в самом начале навел такой эпизод: однажды утром, доставая из почтового ящика газеты, а заодно, как обычно, и письма для всей нашей квартиры, я на одном из конвертов прочел не без удивления «Т.О. Шабадиной»; на кухне как раз была одна Таня, и я спросил ее, не жила ли до нас в нашей комнате некая Шабадина; Таня улыбнулась, но сказала с некоторым нажимом:

— Не Шабадина, а Шабадина. Это я.

И было заметно, что она придает ударению в своей девичьей фамилии какое-то особое значение, выходящее за рамки простых языковых обычаев — для ее уха именно Шабадина звучало гордо. Но безотносительно к происхождению, ее природные дары, не получившие ни должной шлифовки, ни достаточного признания за пределами очень узкого круга случайных знакомых, сами по себе облагораживали ее внутреннюю жизнь, ибо ей, судя по всему, были совершенно чужды и честолюбие, и зависть — но никак не самоуважение, не сознание собственных достоинств, не гордость собой. Мне и по сей день поэтому кажутся все-таки загадочными определенные моменты в ее поведении, в ее жизненной линии, которые родители мои объясняли просто Таниной скромностью.

Она дома очень много пела — вдруг разольется у себя в комнате, потом на кухне. В те времена в этом не было ничего экстраординарного — и у нас, и в Германии люди пели и на улице, и в общественных местах, и в домах несравненно чаще, чем ныне. Я, например, в берлинские свои годы знал наизусть массу модных шлягеров, политических песен, притом не только коммунистических, старинных мелодий на слова классиков, хотя никогда не заучивал их — все это было на слуху у всех. В Москве

некоторые гвозди сезона раздавались чуть ли не на каждом углу, а со временем я узнал, что на периферии поют еще больше и куда разнообразнее. Сегодняшнему человеку трудно себе это представить — запой сейчас кто-нибудь в людном месте, его сочтут за сумасшедшего или уж по меньшей мере за вдрызг пьяного. А ведь в немецком языке существовало даже общепонятное слово, общеупотребительное, естественное понятие — «уличная песня»! Нет, не самой страстью своей к пению поражала окружающих Таня, а редкой музыкальностью и фантастическим для непрофессионала голосом. Она ни в каких консерваториях не училась, и тем не менее, пусть я не знаток и не могу, конечно же, претендовать на серьезную оценку, но до сих пор всерьез придерживаюсь, не скрою, тогдашнего общего мнения жильцов нашей квартиры: куда певице Любви Орловой до певицы Татьяны Орловой! И вот при такой редчайшей одаренности Таня — это я помню совершенно точно, об этом неоднократно с удивлением говорили родители — никогда не стремилась где бы то ни было, в какой бы то ни было форме, в каком бы то ни было качестве, в какой бы то ни было роли, публично выступать — хотя бы только в так называемой самодеятельности, тогда ведь процветавшей и поощрявшейся всемерно. Почему? Непостижимо.

По-своему странным, парадоксальным выглядело и полное, насколько можно было судить, отсутствие у Тани претензий на какое-либо улучшение жилищных условий семьи. Это был случай поистине уникальный в эпоху, когда квази-номенклатура так называемых «выдвиженцев» все более наступательно захватывала и нижние, и средние, и высокие, если не высшие, структуры власти, а вместе с властью и жизненные блага, среди которых во все советское время самым желанным, самым существенным, самым престижным был — и, становясь с течением десятилетий в возрастающей степени реальным, оставался всегда «идеалом» главным, поистине обетованным — жилищный простор, жилищный уют, жилищный шик. А муж Тани являлся именно таким начинающим номенклатурщиком,

которого даже можно было, безо всякой условности, признать неким совершенным воплощением типа. На протяжении трех лет нашего совместного проживания в той незабвенной коммуналке этот приземистый, черноволосый, с правильными, чуть восточными или кавказскими чертами лица, вечно сосредоточенно-серьезный, неразговорчивый человек делал в каких-то неведомых нам сферах, или точнее, кабинетах головокружительную карьеру (вместе со сталинским любимцем Щербаковым, явно протезировавшим ему, секретарствовал, т.е. владычествовал, в Иркутске, затем в Донбассе, а вернувшись в Москву, возглавил один из райкомов партии). Разумеется, у самого партийного функционера Орлова могли быть определенные резоны, чтобы до поры до времени не добиваться осуществления заветной мечты номенклатурщика — нормального номенклатурщика: он, возможно, хотел в глазах кое-каких руководителей старой закалки выглядеть таким настоящим, самозабвенным, подвижническим слугой партии и народа — а кто знает, может быть, и сам представлял себя таковым; куда менее вероятно, но не стопроцентно все же исключено, что он, подобно отцу моему, и впрямь полагался на то, что в ходе «гигантского строительства», о котором неустанно кричала пропаганда, жилищная проблема сама собой разрешится.

Но Таня-то изо дня в день, ежечасно, ежеминутно ощущала — не могла не ощущать — на себе и детях (вскоре после нашего вселения к трехлетнему Юре добавился младший братик) все тягости бедственного жилищного положения. Ведь четверо их было — во время длительных отъездов мужа с нею жила обычно и мать ее —, а когда домработница-няню сменила няня-домработница, то и она гораздо больше трудилась, возилась, вертелась в комнате, чем на кухне. Как же в таких условиях Таня сохраняла себя, не была внутренне раздавлена? Почему так и не возмутилась, не взорвалась? Неужели в самом деле свыклась с гнетущей, сковывающей, оскорбительной этой теснотой? Или же была настолько предана мужу, что ни за что не хотела тревожить его такими «капризами»? А может быть, сама

связывала свое и детей будущее с возможным когда-нибудь вхождением мужа в высший номенклатурный круг и готова была ради этого жертвовать собственными годами жизни, собственным самоосуществлением? Сомневаюсь. Сомневаюсь сегодня. Тогда же я вовсе не задавался подобными вопросами. Тем более не пытался проникнуть в эту нишу ее души, даже позже, когда сошелся с нею очень близко. Но само существование в те годы, которые можно назвать зарей номенклатурной эры, вот такой психологической загадки мне кажется фактом знаменательным.

Если с двумя Танями и их семейной жизнью были связаны для меня чрезвычайно сильные, будоражащие впечатления, то супруги Цвиинские, обитавшие в каморке около кухни, были тихи, смиренны, незаметны. Когда-то, в 1923 году, сосед наш активно участвовал в коммунистическом восстании на своей родине, и он все еще гордился этим. Он не любил, когда его спрашивали об имени-отчестве, а с какой-то жалкой улыбкой просил, чтобы называли его «просто» товарищ Цвиинский. Между тем, жизнь бывшего революционера шла донельзя серо и однообразно, супруги редко куда-нибудь ходили, да и дома большей частью, кажется, скучали. Так они старились в чужой, холодной Москве, и это было единственное, что зримо происходило в их жизни — пока в конце 1937 или начале 1938 года (уже после ареста моего отца) за ним не пришли, и исчез в океане Гулага болгарин Цвиинский...

Квартира наша являлась клеточкой в ткани московской жизни, и хотя ее обитатели во многих отношениях были далеки от подлинных горестей и тревог, надежд и радостей, быта и бытия народа — пусть хотя бы московского —, в ней все-таки отражались и преломлялись по-своему некоторые узловые, сущностные, если и не типичные, то характерные черты рокового времени того — и это выступает в моем сознании особенно рельефно именно сейчас, по прошествии стольких десятилетий... В этом — частица истории. Моей истории, истории Москвы, истории страны, Истории как таковой...



Однако, центром жизни для меня — в большей мере, чем когда-либо раньше или позже — стала школа.

Переезд в новое здание придало школьной жизни какие-то трудноопределимые новые качества, новые импульсы, новые измерения. Это не было просто субъективным моим ощущением — нечто подобное отмечают едва ли не все авторы, писавшие о нашей школе в послевоенной Германии, будь то Западной или Восточной. Но ни у одного автора я не нашел попыток более конкретного истолкования сути и причин этого феномена, не столько практического, сколько психологического.

А дело было, по-моему, вот в чем. Сам факт возведения «в рекордный срок» (как сообщали пресса и радио) необычайно просторного по советским меркам, светлого, современного школьного здания, расположенного совсем близко от Кремля, в самом непосредственном соседстве, даже в тени громко восславлявшегося и всерьез планировавшегося тогда «главного строения мира», фантазмагорического Дворца советов с гигантской статуей Ленина на головокружительной высоте, сам факт переноса в это сверхпривилегированное место Москвы одной лишь немецкоязычной школы, в то время, как другие школы, делившие с нами старое здание — например, англоязычная —, оставались в тесных и плохо приспособленных помещениях — сам этот комплекс фактов не мог в те времена, когда ничто не делалось случайно, без указания «сверху», не наводить на мысль об особенном предназначении школы и ее учеников, не внушать некоего чувства избранности, элитарности, более того, исключительности судьбы. Прежде всего такое чувство, естественно, должно было возникнуть у той части — весьма значительной — учащихся, которая изначально воспитывалась как пополнение ведущего слоя страны, со всеми вытекающими отсюда претензиями, идеалами, самоосмыслениями, жизненными планами. Именно этот контингент, а не «юные тельмановцы», не «щубундовцы» и не дети заезжих специали-

стов и рабочих, создавал в школе атмосферу, порождал определенный менталитет, определенный настрой. Одним из решающих моментов и мотивов этого настроя, этой психологии избранничества по логике вещей должно было стать сознание особого долга перед собой, как личностью, а в тот период и в том возрасте, когда еще не подозревали о значении — все возрастающем значении! — аппаратных игр и «умения жить», это означало безотчетную часто, но тем не менее интенсивную самоподготовку, стремление к соответствующему формированию собственного характера и ума. Так возникал определенный климат интеллектуального соревнования, а это вело к более легкому, более щедрому обнаружению способностей и талантов — но вместе с тем сплошь и рядом и к переоценке своих и чужих возможностей, достижений и перспектив. Такой ощущалась внутренняя жизнь элитарной по замыслу школы в элитарном по замыслу здании, и все это в полной мере относилось и к нашему классу: здесь ярко проявлялись те же тяготения, те же нацеленности, те же упования.

В этой связи, думаю, небезынтересно проследить индивидуальные судьбы некоторых одноклассниц и одноклассников моих, судьбы знаменательные и симптоматические для эпохи, написавшей на своем знамени борьбу против личностного начала, для эпохи, подавлявшей индивидуальность железной пятой, а тем самым выковывывавшей в редких случаях уникальные по крепости и жизнестойкости своей индивидуальности — но именно в редких случаях.

Вот Адик (полное имя Адриан) Розанов. Тогда его фамилия была Попов. Сын знаменитой театральной деятельницы, режиссера с мировым именем Наталии Сац и популярного писателя-педагога Сергея Розанова, он был усыновлен мужем своей матери, управляющим Московским городским банком Поповым, а когда того направили на работу в Германию, оказался — одновременно со мной — в Берлине, ходил — как и я — в немецкую народную школу, только вернулся он в Москву раньше меня. Позже отчимом его стал министр (тьфу, «народный комиссар»!) торговли СССР. С детских лет он постоянно соприкасался с самыми

выдающимися персонажами московской художественной, литературной, культурно-политической жизни, что, естественно, благотворно сказалось на развитии собственных его, наследственных данных — уже в те времена поражала его богатая, литературно отшлифованная, стилистически гибкая, удивительно легкая речь, которой я всегда завидовал, присущая ему добродушно-ироническая интонация, которой он ненавязчиво поднимался над нашим общим ребяческим уровнем, блестящая память, особенно на стихи, о какой я, профессионал, и впоследствии мог только мечтать. Арест матери и отчима еще не лишал его всех возможностей самопроявления — он по-прежнему жил в Москве, у родственников, в атмосфере духовных интересов. Но вот когда началась война, на его судьбе впервые стала сказываться та психологическая черта, которая, на мой взгляд, не дала ему в дальнейшей жизни осуществить себя, реализовать все в нем заложенное: какая-то глубоко укоренившаяся, неистребимая, наивная лояльность по отношению к советской власти, к «социализму». На войне эта лояльность заявляла о себе в прямо-таки анекдотической форме: он неоднократно подавал рапорт и напрямую, и более высокому начальству о том, что в совершенстве владеет немецким, а значит, мог быть использован с куда большим толком, чем в качестве наводчика зенитного орудия, но при этом он «честно» признавался, что в его семье старшее поколение «сидит» (как же лгать родному советскому начальству!) и он языку-то выучился, находясь в Германии с «врагом народа» — нетрудно себе представить, какие подозрения и какой ужас внушали бедным начальникам подобные заявления, и разумеется, он и в своей батарее дослужился за четыре года лишь до младшего сержанта. Но более серьезные, тяжелые последствия эта лояльность имела для раскрытия его человеческих качеств и дарований, когда он вступил — уже в Казахстане, куда он в 1946 году приехал к высланной в Алма-Ату матери своей — на поприще журналистики и литературы. В отличие от алма-атинского друга своего Юрия Домбровского, он не вырос в духовного

борца, не поднялся даже до отчетливого протеста — но ни в коем случае не из трусости, не вследствие какой-либо склонности к приспособленчеству, а исключительно в силу той самой внутренней лояльности, сохранившейся вопреки всем жизненным испытаниям. А время было такое, что все действительно крупное, действительно ценное могло родиться единственно в противостоянии духа, свободного духа «единомыслию», идеологии, власти. Именно лояльность, вылившаяся в некий особый, специфический род интеллектуального конформизма, не давала его подлинной натуре внутренней свободы, внутреннего простора. Лишь в последние годы своего тридцатипятилетнего пребывания в Алма-Ате, а затем Усть-Каменогорске он окунулся в действительно общественно значимую, социально конфликтную проблематику, восстав против двух вопиющих несправедливостей — преследования, в том числе уголовного, инициативных, антидогматических хозяйственников (что тогда практиковалось по всему Советскому Союзу в самых грубых, чудовищных формах, и Адик оказался одним из первых, поднявших голос в защиту осужденных «по экономическим делам») и продолжающейся дискриминации сосланных в Казахстан немцев Поволжья. Это направление его журналистских усилий углубилось и приняло наиболее острые формы после его возвращения в Москву, в начале восьмидесятых годов. А потом... С наступлением так называемой Перестройки все в стране изменилось — черное стало белым, красное коричневым, золотое серым. Сегодня хозяйственная предприимчивость — государственная доктрина, пропагандистский лозунг и путеводная звезда молодежи. А казахстанские немцы стали настолько самостоятельным, мощным и непредсказуемым фактором политической драмы, разыгрывающейся на огромных пространствах Азии и Европы, что в ком-ком, а в защитниках-гуманистах вряд ли нуждаются. Так Адик Розанов, человек очень умный, доброжелательный, полный жизненной энергии даже ныне, в свои 70 лет, так и не стал тем, кем мог и должен был стать, не прожил ту жизнь, которую

мог и должен был прожить, и в этом безусловно виновен был мир, его окружавший и живший в нем самом.

А вот Лина Карина. Еще в старом здании у Сухаревки я помню ее на редкость грациозной, воспитанной, холеной, с красиво уложенной челкой над белым лбом, всегда одетой во что-нибудь светлое, чаще всего жемчужное — и вся она напоминала именно живую жемчужину. Между нами очень скоро возникла взаимная симпатия, и если бы я в это время не был так безумно влюблен в Валю Патковскую, то вполне вероятно, что стал бы добиваться дружбы Лины. Во всяком случае, в весенние месяцы того года я не один раз провожал ее домой — она жила неподалеку от тогдашней нашей школы. Я знал, что отец ее — какой-то крупный военный, что она с родителями подолгу жила в Париже и в Германии и что родители ее и сейчас за границей. Мне поэтому казалось, что отец Лины, наверное, военный атташе или что-то в этом роде. Лишь в иную эпоху, на одной из встреч бывших одноклассников в 1964 году, она рассказала о нем подробнее: резидент военной разведки, затем глава советской шпионской сети, охватившей всю Западную Европу, далее шеф разведывательного управления Красной Армии, весной 1937-го объявлен «врагом народа», вскоре расстрелян. Хотя я в столь богатой у нас литературе «про разведчиков» никогда этого имени не встречал, о ранге этой таинственной личности, мне кажется, свидетельствует такой, и сегодня не совсем понятный мне, но ярко запомнившийся факт: Лина обычно приезжала в новую школу на роскошном, даже по западным стандартам, автомобиле с молодцеватым военным шофером. Эта вычурная демонстрация сверхпривилегированности никак не могла — ни по человеческой сущности Лины, ни по объективным обстоятельствам — отвечать ее собственным желаниям: в ней всегда ощущался какой-то природный моральный инстинкт, который я бы назвал аристократическим и который делал немислимым с ее стороны подобное баловство; вместе с тем, использование личного шофера и служебной, вероятно, машины для такой цели вообще могло, конечно, лишь иметь место с

санкции, а точнее, по специальному указанию ее отца, и кто знает, какие им при этом руководили соображения и побуждения — а может быть, это были соображения его начальства? Закулисные игры советской верхушки уже тогда представляли собой непроницаемое царство темных тайн, и вполне возможно, что эффектные приезды Лины в школу, где училось такое множество детей из высшего круга, являлись своеобразным, трудноразгадаемым тактическим ходом в этих играх. Подлинный же характер Лины, сердцевинный склад ее индивидуальности проявил себя позже, после ареста ее родителей. Вначале ее взяли к себе близкие родственники, но это было делом не таким безопасным — шел 1937-й! Положение ее и здесь оказалось, естественно, чрезвычайно шатким — ведь все знали: для «компетентных органов» еще с первых дней революции критерием отношения человека к советской власти был не столько идеологический, сколько генетический. Однако, когда мы вернулись с каникул, Лина держалась все с тем же достоинством, все так же невозмутимо, уравновешенно. Те немногие в классе, кто знал о ее тревожной судьбе — мне поведал об этом, если не ошибаюсь, Р.А. —, не могли не восхищаться ее неизменным самообладанием и твердостью духа. Когда же очередь арестов дошла до главы приютившего ее семейства, Лину забрали в детский дом НКВД. Дальнейшее я знаю из рассказов ее сына, из ее дневника и от друга моего Виталия Ленского: она неудержимо, неумно, но сохраняя трезвую голову, рвалась на свободу, однажды действительно совершила дерзкую попытку побега, спустившись по водосточной трубе, но была поймана, через несколько месяцев ее разыскала другая родственница, Екатерина Александровна Ленская, и сумела освободить ее, взять ее на свое попечение. Дважды Лина, вопреки всем трудностям, ездила к матери в мордовский лагерь Потьма. Постепенно она вошла в колею обычной, среднесоветской жизни, окончила Медицинский институт, на протяжении ряда десятилетий работала врачом-психиатром — она провела жизнь, заслуживающую, безусловно, уважения, вполне достойную. Умерла она,

едва достигнув пятидесяти. Но при всем пиетете, который вызывает во мне жизненная стойкость ее и многих ей подобных, я не могу примириться с тем, что они в конечном счете покорились тому, что казалось им судьбой, фактически полностью смирились, отреклись от себя. Конечно, женщине труднее быть борцом. Но Лина воспитала сына, который от нее унаследовал и интеллигентность, и живой, приветливый нрав, и привлекательную внешность, и даже прекрасный немецкий язык — однако, нет в нем, не было заложено в его душе, никогда ему не прививали хотя бы как естественный ответ на все унижения его, и матери, и народа — гнева, возмущения, жажды праведного мщения. Это не от мягкости, это от конформизма.

А вот был Ян Фогелер. Немец по отцу и поляк по матери, он все-таки уже в детстве носил в себе что-то типично советское, и я ни в малейшей мере не удивился, узнав по прошествии многих лет, что он вопреки кажущейся логике связал свою судьбу не с Восточной Германией, а с Москвой. Никто в классе и не воспринимал его как «юного тельмановца» — он был именно по-советскому идеологичен, именно по-советскому номенклатурообразен. Таким его сделали и природа, и воспитание. Маленький не по возрасту, тщедушный, но очень живой, юркий, энергичный, пронизательный, не лишенный изобретательности, но вместе с тем по самому складу своему несамостоятельный — такой ум входил и входит в социальный и даже биологический генный код номенклатурных идеологов. Вместе с тем, я был поражен сходством его мальчишеского мировоззрения со старческим мировоззрением отца его. Имя художника Генриха Фогелера мне было знакомо с берлинских лет — и не только было знакомо, оно связывалось с определенным образным строем: сказочные девы среди фантастического мира цветов и солнц, нарисованные мечтательной иглой в изысканно-романтическом графическом стиле начала века — стиле, получившем в Германии условное название «Югендштиль» (что переводилось у нас как «стиль модерн», хотя это течение более всего напоминало некоторых представителей нашего «Ми-

ра искусства»). Фогелер, я знал, когда-то являлся одним из крупнейших мастеров Югендштиля, и мне казалось заманчивым благодаря моему школьному товарищу как-нибудь увидеть новые его работы, нигде, как Ян сообщил с таинственным видом, не выставлявшиеся. Правда, я помнил, с какой радостью отец в свое время рассуждал о том, что вот, мол, даже такой эстет, как Фогелер, стал коммунистом и отошел от «упадочной буржуазной манеры» — но то, что я увидел в оборудованной под мастерскую большой комнате, когда Ян впервые привел меня к себе в Дом на набережной, прямо-таки ошеломило меня: к стенам были прислонены самые что ни на есть стандартные, безлические образцы обыкновеннейшего соцреализма, изображавшие каких-то жизнерадостных лесорубов и дровосеков, занятых жизнерадостным социалистическим трудом. Не стану преувеличивать: и понимание живописи, и духовные запросы, и политические взгляды мои были, естественно, еще далеки от зрелости, я отнюдь не был пока принципиальным противником социалистического реализма. Но все-таки... Я был еще настолько наивен, что и не пытался скрыть недоумение, Ян же воспринял озадаченный вид мой как свидетельство недостаточного интереса к изобразительному искусству, пошутил, что это тебе не поэзия, побыстрее увел меня из комнаты и никогда больше не показывал картин отца. Весь во власти коммунистических мифов и преданий, он благоговел и перед Сталиным — культ вождя, видно, внушали ему сызмала родители, хотя знаменитый дед его Мархлевский, умерший в 1925 году, ни в коей мере не относился, это точно известно, к поклонникам начинающего диктатора. Не раз и не два Ян с сияющими от восторга глазами рассказывал мне легенды о мудрых поступках и высказываниях своего кумира. Никогда не забуду, в каком он был экстазе, когда наш одноклассник Мигель Негрин, сын тогдашнего мадридского премьер-министра, как-то мимоходом упомянул, что во время приема в честь испанских республиканцев Сталин «по-отечески» обнял его, Мигеля! Шутка ли, прикосновение божества! Разумеется, художник Генрих Фоге-



лер, хотя и сделался соцреалистом, не избежал сталинских репрессий. Во время войны он, сосланный в самую глушь Казахстана, прожил в ужасающих условиях приблизительно год «на свободе» и умер от голода — в самом буквальном смысле этого слова. Но это не могло поколебать сына в преданности Сталину, он остался верен себе и после войны. Идеологическая одноустремленность и заскорузлость, смягченная привычкой к четкому и логичному, притом не обязательно монотонному изложению мыслей, да еще уверенная манера речи с отличной дикцией как на русском, так и на немецком — все это предопределяло его жизненное «призвание», его функцию в пропагандистском механизме гигантской партийной машины: он стал марксистским «философом» (кавычки здесь поставлены потому, что я не знаю, когда эти мои записки попадут в руки читателя — людям нынешних поколений не нужно специально разъяснять, что марксистский философ в советском понимании отнюдь не был неким мыслителем, исходящим или отталкивающимся от мировидения и теорий Маркса, а всего лишь разжевывателем и лицезвателем, соответственно партийным потребностям, тщательно отобранных текстов, тезисов и фраз Маркса, Энгельса, Ленина, которому малейшая «самодеятельность», любая собственная мысль ставилась в строку как смертельный грех). Эту функцию Ян и исполнял с некоторым, хотя и не слишком громким, успехом. В московском университете узкой его специальностью стала «марксистская критика современной западногерманской философии». Несмотря на множество публикаций, включая несколько книг, критика эта не обратила на себя подобающего внимания: ни у параллельных «критиков»-марксистов в Восточной, да и Западной Германии, ни у советских исследователей Ясперса и Хайдеггера имя его не в чести — если вообще когда-либо упоминалось. Позже он стал разъезжать по немецкоязычным странам с лекциями о своеобразной советской «марксистской философии». Как-то весной 1990 года я гостил у молодой, очень интеллигентной пары недалеко от баварского города Ландсхута, и оказалось,

что им довелось прослушать несколько докладов Яна. На мой вопрос, как лектор им понравился, супруг страдальчески наморщил лоб и сказал:

— Догматик.

Вскоре после возвращения моего из Душанбе в Москву, в 1964 году, я несколько раз встречался с Яном, дважды был у него дома — все на той же, не забытой мной квартире, в доме, где кое-что существенное переменялось — не было, например, прежней бдительной охраны —, но что-то и витало, что-то неуловимое, нераспознаваемое, от былого духа. Тогда Ян, впрочем, подлинно бесценным советом, за который я ему должен быть благодарен поистине всю жизнь, разрешил мои сомнения относительно выбора дальнейшего профессионального пути, убедительно разъяснив мне огромные преимущества, которые в наших условиях присущи деятельности литературно-переводческой по сравнению с преподавательской (об этом, надеюсь, расскажу еще подробнее). Однако, два момента в тех встречах, столь, казалось бы, дружелюбных и не лишенных ностальгического оттенка, все же поразили и покоробили меня. В первой же нашей непринужденной беседе он с едва скрываемым презрением и едва подавляемым негодованием заметил, что в ГДР (т.е. Восточной Германии) строят не настоящий социализм, а какой-то гибрид, там, мол, остались частные магазины, частные ремесленные мастерские, даже частные туалеты — таким ли подобает быть социализму на родине Маркса? Я, естественно, ничего по этой теме сказать не мог — лишь пять лет спустя я впервые побывал в ГДР, да и тогда менее всего обращал внимание на отношения собственности, а «несоциалистическим» мне показался прежде всего совсем другой характерный штрих — свободный прием телевизионных программ из Западной Германии. Однако, еще куда больше я был смущен, когда Ян, пригласив меня на чашку чая и познакомив с женой, работавшей товароведом в ГУМе, вдруг с торжеством и каким-то чуть игривым злорадством объявил — ошарашив не только меня, но и ее —, что вот-вот будет смещен со всех должностей

Хрущев. Лишь через два дня об этом событии, разорвавшем эпоху, известили город, страну и мир средства массовой информации... На мои потрясенные возгласы он отвечал улыбкой, и только.

Трое из одного класса. Три судьбы совершенно различных по склонностям и задаткам, по характеру и жизненному кредо, по внешней участи людей. И все-таки одно в них общее. Я на протяжении всех этих лет много раз возвращался мыслью к одному и тому же вопросу: почему мое поколение проявило такое беспамятство, такую историческую безропотность, почему оно фактически не отреагировало на трагедию отцов и матерей? Сам я ни в коем случае не составлял при этом исключения — убежденным противником революции, большевизма, сталинизма я стал очень рано, еще до ареста моего отца, а в последующей жизни не могу указать, увы, ни на одно свое действие, которое можно было бы расценить именно как акт возмездия. Если в моей ненависти к режиму и замечен был какой-то элемент семейной обиды, то не столько за вопиющую несправедливость к отцу, сколько за то, что он в свое время был обманут, ослеплен, вовлечен в роковое, зловещее дело, лишен внутренней свободы духа — за то, что он сам участвовал в укреплении этого режима, в его покушении на завоевание мира. Странное отсутствие у меня и сверстников моих настоящей, жгучей жажды мщения вряд ли объяснялось лишь зародившимся в нас сознанием собственной вины наших отцов. Сходную покорность судьбе, сходный конформизм мне неоднократно приходилось наблюдать и у людей, которые ни в чем своих родителей упрекнуть не могли. Корни этой печальной пассивности лежали, думаю, гораздо глубже.

Такова русская история — и даже те, кто совершенно не знал ее, ощущал это инстинктивно. Позднейшее, поощряемое партией стремление популярных литераторов и публицистов винить во всех злодеяниях одного Сталина имело ведь безотчетной целью не только обеление сонмищ приспешников, палачей и доносчиков, но и очищение, выпрямление, облагораживание всего того зловещего наследия —

монголородно-державного, централистски-тиранического, московско-мессианского —, преемником которого по праву видел себя Сталин. Инквизиторы НКВД не могли бы проявить себя, не могли бы вообще действовать, не будь Сталина — это так. Но они не появились бы даже на свет божий, не будь до них баскаков Батыя, головорезов Александра Невского, опричников Грозного, Тайной канцелярии Елизаветы Петровны, чекистов Ленина... Дети жертв сталинской «великой чистки» переживали свое личное несчастье не просто как следствие произвола кучки негодяев или эпизод развязанного в каких-то темных сферах необъяснимого террора, а как органическую часть очередной катастрофы русского мира — даже если о бесчисленных предшествовавших катастрофах у них были представления туманные, искаженные, чаще всего до крайности упрощенные (как их рисовала советская идеологическая историография), ибо дело было ведь вовсе не в каких-то знаниях, не в реальных параллелях и аналогиях, а в том чисто интуитивном общеисторическом чувстве, которое только и делало их детьми русской истории. А над этой их матерью довлел вековой рок. Восставать же против рока не только бессмысленно было — это означало отступление от собственного идентитета, в конечном счете отрицание самих себя, как носителей некой врожденной судьбы, некой трагической общности.

Неслучайно совсем иначе повели себя в ответ на расправу с их отцами те, кто не ощущал себя частицей мощного и мутного потока истории российской — наши одноклассники-немцы. Я коротко остановлюсь здесь только на поведении детей твердокаменных коммунистов — поступки других, менее политизированных или заранее скептически настроенных, не были бы в данном случае вполне показательны, достаточно убедительны. Начну с Рут Томас — я напишу о ней еще отдельно, но в этом контексте не могу не упомянуть о том, что мне лет двадцать или двадцать пять тому назад рассказала покойная Вера Коган: незадолго до войны Рут как-то приехала из Воронежа или Владимира (точное место забыл я, не Вера), куда ее

выслали вместе с матерью, и в Москве на два дня остановилась у Веры — больше нигде было; к тому времени Рут, рано повзрослевшая, полная энергии молодая женщина, выработала свою собственную, в высшей степени зрелую, серьезную, хотя возможно несколько одностороннюю интерпретацию 37-го: старая революционная гвардия и немецкие эмигранты-антифашисты были одновременно устранены для того, чтобы можно было (имен она в своей ярости не называла) безболезненно заключить союз с фашистской Германией — это гнусное предательство по отношению к таким людям, как ее отец, а предательство не прощается никогда, и «они» еще об этом пожалеют; сама Вера, отец которой, архитектор по профессии, каким-то чудом остался нетронутым, относилась к пакту с Гитлером безо всякого энтузиазма, поэтому она не стала спорить, но в тогдашних условиях слова Рут показались ей чуть ли не безумными, и лишь впоследствии она сумела их оценить по достоинству. К сожалению, ни у кого из здравствующих ныне соучеников наших нет сведений, какая участь постигла эту разъяренную душу, когда-то столь близкую многим из нас, в начавшихся вскоре военных вихрях... Или вот Лотар Блох. Несколько недель мы сидели с ним за одной партией, отцы наши были хорошо знакомы, но особого интереса он у меня почему-то не вызывал. И лишь совсем недавно, прочитав книгу Маркуса Вольфа «Трое из тридцатых», я узнал о его дальнейшем жизненном пути. Арест отца раскрыл ему глаза на многое, и постепенно он сделался не только тайным критиком режима, но и сознательным чужаком в советском обществе, так что без возмущения последовал за матерью, кстати, бывшей активнейшей коммунисткой, когда перед войной та вернулась на родину — как и она, он отнюдь не стал ярым поклонником Гитлера, но мысль о замученном отце не давала ему покоя, и он с чем-то вроде чистой совести служил в гитлеровской военной авиации, а после поражения Германии поселился в тогдашнем «фронтовом городе» Западном Берлине, стал предпринимателем, видной фигурой строительной индустрии, вместе с тем неустанно

содействуя распространению своих убеждений — убеждений антикоммунистических, либеральных, европейских. И не смогли его переубедить и самые близкие товарищи детских и юношеских лет — ни знаменитый кинорежиссер из ГДР Конрад Вольф, ни нью-йоркский «левый» философ Фишер... Если Лотар был сыном профессионального, но все же не слишком видного функционера коммунистической партии, то имя отца одного из лучших моих друзей в классе, Роберта Далема, я слышал сотни раз еще в берлинские годы, портреты его я видел в немецких газетах всех направлений, одно время он руководил даже фракцией коммунистов в рейхстаге — а Роберт, воспитанный, разумеется, в самых заскорузлых традициях «классовых борцов» и от молодых ногтей предназначенный когда-нибудь «сменить отца на боевом посту», по какой-то неисповедимой прихоти природы выдался совершенно не в отца, ни по внешности, ни тем более по складу и темпераменту. В нем было что-то мальчишески-солнечное, незамутненно-человеческое, что отличало его — разительно отличало — от других «юных тельмановцев» да от Яна Фогелера и подобных выходцев из «заслуженных семей». Все его отношение к окружающему и окружающим было более раскованным, непосредственным, спонтанным, в нем чувствовалась более открытая и восприимчивая душа. Хотя в его высказываниях и намека пока не было на какой-либо скепсис по отношению к привитым ему буквально с пеленок политическим взглядам, он все-таки не казался пропитанным идеологией до невменяемости. Поэтому его решительные поступки, вся его линия поведения, когда в послевоенных внутривнутрипартийных распрях отец его подвергся остракизму и был оттеснен на обочину общественной жизни более сильной, более яростно-промосковской камарильей, вовсе не явились для меня чем-то очень уж неожиданным, и я в душе лишь благославлял его, когда услышал, что он не только выступил против клики Ульбрихта-Хонеккера с весьма резкими заявлениями, но и демонстративно переселился на Запад (бегством это тогда еще нельзя было назвать — граница пока была фактически открыта).

Очень жалею, что мне так и не удалось составить себе более точное, более детальное представление об идейном развитии и гражданской позиции повзрослевшего Роберта — во время моих поездок в ГДР в семидесятые годы другой Хельмут Эшвеге по моей просьбе специально расспрашивал своих обычно неплохо информированных знакомых, но никто никаких подробностей об этом деле не знал, или не хотел знать. Адресоваться же к более официальным источникам я не стал — это было в то время слишком рискованно. Но внутренне я твердо убежден, что Роберт окончательно покинул тогда идеологическое стадо — этого требовала сама его сущность человеческая...

Однако, шел год 1935-й, и мы все были еще не теми, кем стали со временем — вместе с этим временем. Мы были не более, чем возможностями, и время было лишь возможностью...

## 28.

Удивительнейшие последствия для всего мироощущения, социального самочувствия, а главное, духовного становления моего проистекли из обстоятельства, казалось бы, скорее случайного, второстепенного: где-то с осени мать стала работать художником-оформителем при филиале Большого театра, а так как она к тому же постоянно помогала декораторам, то пропадала там днями и вечерами, отец же почему-то (партийная директива? не знаю) должен был выучиться на рабочую профессию шлифовщика и тоже забегал теперь домой куда реже — не мудрено, что и я проводил отныне чуть ли не все дни допоздна в городе.

Зарботки у родителей были, видно, неплохие, и мне, двенадцатилетнему, суждено было стать неким поистине диковинным персонажем — юным завсегдаем знаменитых московских ресторанов, прежде всего «Националя», «Люкса» (бывшей «Астории», а ныне «Центрального» на Тверской), «Праги» и самого любимого мной, «Гранд-отеля». Тогдашняя атмосфера первоклассных, престижных заведений такого рода сильно отличалась от той, какую

помнит ресторанный публикa пятидесятих-восьмидесятых годов. Несмотря на все случившееся и пережитое, на революционные бури, смертоносные потрясения гражданской войны, лихорадку НЭПа, ледяные ветры первых сталинских лет, несмотря на беспокойную и суровую жизнь, царившую по ту сторону тяжелых, плотных шелковых гардин и портьер, закрывавших широкие окна, здесь все еще господствовал — во всяком случае, в дневное время — дух солидной, достойной буржуазности, официанты и редкие пока официантки были любезными, спокойно-уверенными, знающими себе цену людьми, лишь немногие из накрытых с какой-то подчеркнутой, праздничной тщательностью столов бывали заняты — и то всегда серьезными, безупречно одетыми, задумчивыми мужчинами или тихо разговаривающими парами или же оглядывающимися с некоторым любопытством, но молчаливыми, сдержанными, бонтонными иностранцами. В этом своеобразно изолированном, гордом своими традициями мире появление мальчика такого возраста, который день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем с независимым видом и донельзя самоуверенно входил, ничтоже сумняшеся опускался на какой-нибудь из внушительных, добротнo-красивых стульев в каком-нибудь уютном углу большого зала, привычными движениями брал в руки увесистое меню, словно это рядовая его школьная тетрадь, и запросто, как старому знакомому, кивал официанту, должно было стать для ресторанного персонала неким уникальным, любопытным, забавным, по-своему незабываемым феноменом. И действительно, когда я в 1951 году, находясь проездом в Москве, однажды снова зашел в «Националь», меня узнал один пожилой официант (через четырнадцать лет, да каких лет, со времени последнего моего посещения!) — во взрослом очкастом человеке вдруг узнал того румяного мальчика, подозвал одного из своих коллег, и тот тоже вспомнил меня и даже со смехом рассказал об одном довольно глупом случае, который в самом деле когда-то произошел со мной! И оба они искренне, как мне показалось, сокрушались, узнав, что я живу теперь



далеко от Москвы. Но самое интересное: я в этой среде со временем превратился в своего рода фольклорный образ. Как-то в конце шестидесятых, когда я давно уже вновь стал в кафе-ресторанах «Прага», «Метрополь» и «Националь» своим человеком, миловидная официантка Таня — которой я за внешность всегда давал особенно хорошие чаевые, что она обязательно «отрабатывала» каким-нибудь улыбчивым рассказом, анекдотом или сплетней, большей частью из жизни того же кафе — выдала, вряд ли намекая при этом на меня, небольшой экспромт насчет того, что «есть же и у нас очень богатые люди, но не все они очень щедрые» и вдруг вспомнила легенду из тех довоенных времен, когда «в официантах, знаете, еще мужики ходили», о совсем маленьком, ну совсем маленьком мальчугане, у которого родители были настолько денежные, что посылали его в самые дорогие рестораны заказывать самые дорогие блюда — чтобы, мол, с детства научился не скарденничать. Хотя я в свое время никогда никаких изысканных блюд и не спрашивал, с деньгами обходился бережливо, как наставляли меня родители, да и в кругу знакомых издавна считаюсь скорее расчетливым человеком, чем мотом, я ни на секунду не усомнился, что это предание — про меня. Таню, понятно, я не стал просвещать относительно прототипа ее героя, но мне самому, скажу откровенно, эта самоидентификация в мифе доставила тогда известное удовольствие... Скажи пожалуйста!

Однако, посещение ресторанов составляло отнюдь не главное мое времяпрепровождение в те многоемкие и многоликие послеполуденные часы. В пяти минутах ходьбы от нового здания школы находился Музей изобразительных искусств, и неудивительно, что светлые залы эти, царившая в них торжественная атмосфера, строгая красота классических произведений скоро стали для меня неким мощным магнитом, заветным «убежищем от суетного мира», как любили говорить старомодные поэты прошлого века, очень точно выражая свое настроение — и в мире скульптурных образов Античности и Возрождения меня действительно охватывало именно то, что эти поэты назы-

вали вдохновением — как архаично ни звучит сейчас это слово, оно, как никакое другое, психологически четко и выразительно передает реальное состояние. Во мне как-то самопроизвольно, нечаянно, стихийно рождались — словно из эллинской морской пены, нарисованной моим воображением (такие сравнения и метафоры я тогда очень любил) — стихи о древних островах и жившей на них красоте. Продолжая, по настоятельным просьбам отца, серийно изготавливая для его стенгазеты немецкие актуально-политические вирши — наборы рифмованных лозунгов, я в долгие музейные часы самозабвенно, с искренним воодушевлением сочинял и шлифовал русские строки, передававшие мое восхищение идеализированными веками «детства» Европы. Первичной при этом была именно эстетическая энергия, излучаемая древними изваяниями, и лишь вторичным — это я могу с полным правом особенно оттенить — чтение Щербины, Фета, немца Гельдерлина, у которых я черпал не столько творческие импульсы, сколько оправдание своему странному, казалось бы, для Москвы тридцатых годов занятию. Это увлечение имело, однако, своеобразный побочный эффект: обостренный интерес к скульптуре в ущерб живописи превращал меня подспудно в «европофила», ибо в тех культурах, которыми я жил до тех пор — русской и немецкой — пластическое искусство играло не очень значительную роль и было развито — так я, впрочем, считаю и сейчас — непропорционально слабо.

При всем этом я совершенно не чувствовал себя одиноким. Ощущение одиночества — таков мой жизненный опыт — возникает чаще всего в толпе, даже в кругу друзей, когда разнонаправлены внутренние темы, мыслительные потребности, нервные настроения, когда случайная ситуация общения лишь отвлекает от сущностно необходимого диалога с собой, со временем, с миром, снижает интенсивность этого диалога, нарушает, прерывает его. Я же в те годы такого не испытывал — уличная толпа остро интересовала меня, втягивала в себя, и не столько тем общим психическим зарядом, общим биением пульса, общим

климатом подсознания, о котором так убедительно пишут теоретики массовой психологии, сколько возбуждающей пестротой все новых сближений, углублений в некую родную экзотику, и именно эта идентичность родного и экзотического постоянно возвращала меня к самому себе, к своей собственной идентичности, к еще не вполне осознанным проблемам моего духовного Я; несколько иной нюанс придавало толпе ограниченное пространство трамвая, вагона метро или тогдашней московской новинки — троллейбуса: здесь физическая теснота и несвобода, пусть временная, делала людей более чуждыми друг другу, здесь терялись стимулы к взаимному сближению, но я тем отчетливее чувствовал, что происходит во мне самом как частице этой толпы, и какой-то инстинкт подсказывал мне — это не унижительное слияние с толпой, а как раз приучение к самовыделению, к самоиндивидуализации, к противопоставлению себя слепой стихии множества, и наверно под влиянием таких чисто инстинктивных импульсов во мне развилась — «охота пуще неволи» — какая-то тяга, какой-то особый вкус к поездкам на городском транспорте. А уж тем более я не чувствовал себя, разумеется, одиноким там, куда до поздней осени я отправлялся чаще всего — в шахматном павильоне, представлявшем собой среди опустевшего, меланхоличного в своем полупавшем убранстве, умолкшего парка настоящий, наполненный жизнью улей. Жужжание шахматного «звона» снова и снова возбуждало меня, поднимало дух, зажигало кровь — даже безотносительно к самим шахматам. Но иногда я после ресторанного обеда возвращался и в школу — у нас постепенно начала складываться группа очень разных, казалось бы, по характеру, по склонностям, по кругозору девочек и парней, которым, однако, почему-то было интересно друг с другом и которых в предвечерние часы тянуло назад в школу, благо в новом здании второй смены не было. Мы собирались обычно в нашем же классе, и со временем здесь образовался своего рода клуб, членами которого становились отнюдь не по чьей-либо рекомендации — хотя я чувствовал, что клуб этот тем не менее

носит на себе безотчетную, никем не признаваемую, но достаточно ощутимую печать «только для избранных». Избранных по какому признаку? Трудно было сказать, и столь же трудно было сказать, в чем заключалась суть, в чем цель, в чем тематический стержень наших разговоров, всего нашего оживленного общения — трудно было сказать, что нас собственно притягивало друг к другу, чем мы, именно мы отличались от тех соучеников, которые в наш круг не входили, но многие из которых, как я узнал уже позднее, завидовали нам и с сокровенной тоской мечтали о том, чтобы быть допущенными в нашу компанию. Но одно могу сказать определенно: странным образом я в этом разноликом кружке никогда не чувствовал себя одиноким... Впрочем, пока мы встречались все же относительно нечасто — настоящая, насыщенная жизнь этой «элиты класса» началась лишь в следующем учебном году — 1936-37-м...

Однако, при всем этом центр тяжести моих послешкольных городских досугов исподволь все больше перемещался — подлинным средоточием моих умственных переживаний и идейных поисков становились тихие беседы с Р.А. во время длительных прогулок наших, регулярных визитов моих в его дом да очень редких, насколько помню, приездов его на нашу далекую окраину.

## 29.

Хочу объяснить, почему я предпочитаю не расшифровывать в этих мемуарах инициалов своего школьного товарища.

Жизнь его сложилась парадоксально.

Если в еврейской семье, пусть старомосковской, хранили ностальгические воспоминания об общественном подъеме и экономическом процветании предреволюционной эпохи, берегли культ русского дворянства, его культуры и его преданий, почитали и серьезно, углубленно читали труды историков-классиков прошлого столетия, дорожи-

ли не только прекрасными старинными книгами, но и современными неподцензурными машинописными сочинениями, то это можно было расценить только как духовное неповиновение властвующему идеологическому центру, как интеллектуальную фронду, и ясно, что всему этому не могли не соответствовать и общие, и частные гражданские взгляды. Действительно, именно Р.А. тонкими, меткими замечаниями и наблюдениями натолкнул меня на многие мысли, до которых я иначе дошел бы, вероятно, лишь после нелегких душевных борений — а эти беседы изменили тогда всю мою мировоззренческую ситуацию, мои политические представления и внутренние проблемы, самое умственную эволюцию мою, это несомненно ускорило мое становление, как личности. Но тем трагичнее, тем поразительнее, что сам Р.А. впоследствии поддался обстоятельствам и избрал весьма своеобразный жизненный путь: он сделался винтиком в советской военной машине. Произошло же это вот как. Каким-то чудом (хотя по некоторым позднейшим трактовкам сущности 37-го года — трактовкам, которым нельзя отказать в известной убедительности — такое было не чудом, а скорее закономерностью) отец его, оппозиционность которого ведь, надо думать, не могла оставаться полной тайной, не попал под каток «великой чистки» — наоборот, когда он в 1940 году умер, соболезнование в траурной рамке появилось не где-нибудь, а в «Известиях», официальной газете правительства. Значит, Р.А. был с точки зрения государственно-партийного аппарата «чист». В русской школе, куда он перешел, если не изменяет память, еще в летние каникулы 1937 года — за несколько месяцев до ликвидации нашей родимой —, он вскоре влюбился в свою одноклассницу, дочь видного военного инженера (впоследствии генерал-полковника), и ради поднятия своего престижа в глазах ее родителей поступил, не выбирая долго, в технический вуз — а отсюда уже вполне логично выстроился ряд жизненных шагов, определивших не только его профессиональную карьеру, но и роль его среди людей, в конечном счете его человеческий статус.

Когда-то, в те годы наивных надежд и преувеличенных самооценок, я охотно сравнивал его в уме с Чаадаевым — и что-то в нем на самом деле напоминало основоположника русской философии, каким я его себе представлял и представляю. Но женившись — кажется, в разгар войны — на типично номенклатурной девушке, он, хотел или не хотел он того, изменил себе, более того, изменил себя. Это сказалось даже на политической его позиции: если при последней предвоенной встрече, в июне 1941-го, он еще с отчаянной убежденностью уверял меня, что западные союзники неизбежно сметут Гитлера вместе со Сталиным и всем, что стоит за ними, то летом 1950-го, когда я его впервые вновь увидел через, шутка ли сказать, девять лет — он ради свидания со мной пришел на ту самую квартиру, в ту самую, несколько не изменившуюся комнату, где по-прежнему жила его мать —, он к несказанному моему удивлению производил впечатление безмятежного, довольного жизнью своей, да и всей действительностью человека — человека, попавшего в свою колею; но чем он меня особенно удивил — совершенно не интересуясь духовными моими устремлениями, он с искренней радостью и дружеской завистью похвалил мой цветущий вид (я находился в Москве проездом из Одессы, где действительно набрал небывалую для себя физическую форму), и только со смехом всплеснул руками — экая, мол, детская причуда! — узнав, что я все еще всерьез занимаюсь шахматами. Когда я летом 56-го — будучи в Москве опять проездом, на этот раз из Риги — однажды в самом оживленном месте улицы Горького (так называлась Тверская) как раз собирався через толпу юркнуть в один из переполненных магазинов, меня остановил голос, четко произнесший давно забытое имя «Манфред». Внешне Р.А. ничуть не изменился, и я мгновенно его узнал, хотя прежде никогда не видел его в форме — а теперь передо мной стоял майор. В том, что каждый из нас был искренне рад встрече, не могло быть сомнения. Но каким теплым, оживленным, моментами даже упоенным ни был наш разговор во время долгой прогулки по Страстному, Твер-

скому, Суворовскому бульвару и назад, у меня остался какой-то осадок не столько разочарования, сколько недоумения. То, что я рассказывал о литературных своих планах — а писал я как раз два киносценария, впрочем, так потом и не пошедших в производство —, он воспринял с едва заметным налетом грусти, вспоминая, видно, о годах, когда и он был не чужд гуманитарных поползновений. Разумеется, я его не спрашивал о службе и работе его — это было ведь военной тайной в самом прямом смысле слова —, но он как-то между прочим обронил, что получил степень кандидата наук, и тогда я наивно осведомился, не собирается ли он воспользоваться этим, чтобы занять кафедру в каком-нибудь высшем учебном заведении — мне-то такая возможность представлялась тогда невероятно заманчивой —, а он вместо прямого ответа снисходительно улыбнулся, слегка пожал плечами и, словно застеснявшись, через полминуты тихо бросил, что ему ведь приходится содержать семью. За все время — а гуляли мы с ним часа полтора-два, если не больше — ни одного слова не было сказано о событиях в стране, событиях колоссальных, которые в детстве нам показались бы сказочными, немыслимыми, а вот теперь... В 1964-м, когда мое возвращение в Москву стало поводом для целого ряда встреч старых друзей-одноклассников, устроенных мной на дому у Веры Коган, Р.А. дважды приходил с женой — оказавшейся, кстати, мало похожей на московскую генеральскую дочь, как я рисовал ее в своем воображении провинциала —, а один раз и я навестил его на новой, ничем абсолютно не примечательной квартире его — но хотя мы говорили с ним много и на самые разные темы, разговор внутренне не клеился, и у меня было ощущение, что виной тому не только бдительное око и ухо жены. Был он тогда в чине подполковника... Прошли опять годы и годы. Вера где-то случайно узнала, что Р.А. уже полковник. Что же, очень хорошо. Но потом, а было это в середине или же ближе к концу семидесятых годов, я однажды буквально натолкнулся на него около книжного магазина «Дружба», помещавшегося тогда по соседству с величест-

венным зданием Московского совета все на той же улице Горького. Однако, на этот раз все поведение его выдавало странную растерянность, он встрече был не то что не рад, а как-будто испугался этой случайности, мне даже показалось, что он боязливо оглядывается — хотя в прямом, физическом смысле этого не было, он головы никуда не поворачивал—, улыбка его выглядела натужной, точнее, многослойной — на поверхность выступала привычная, я бы сказал, протокольная вежливость, под ней чувствовался внезапный всплеск давней симпатии ко мне, но еще глубже сидела мертвая отчужденность, которая как бы говорила «мне бы твои заботы». Естественно, эпизод этот оказался мимолетным, через пять или, самое большее, десять минут мы расстались... Но самый, пожалуй, красноречивый казус имел место уже где-то в середине восьмидесятых, когда поженились — сюрприз для всех! — Вера Коган и Адик Розанов. По этому случаю Вера захотела — желание ведь понятное, логичное и очень соблазнительное — спустя два десятилетия снова собрать всю нашу школьную братву. А так как в братве все-таки подавляющее большинство составляли сестры, она, естественно, особенно стремилась залучить в возможно более полном составе еще достижимых, как казалось, мужчин наших — их, увы, можно было пересчитать по пальцам одной руки, и Р.А. был, конечно, не последним среди них. Она разыскала его номер телефона и в самом радужном расположении духа позвонила ему в воскресный день. Трубку подняла его жена, а на просьбу Веры позвать к телефону Р.А., та в резком тоне ответила, что муж занят и не может тратить время на болтовню, когда же Вера, уже несколько расстроенная, передала свое приглашение, то услышала такое, что, как она потом рассказывала, в буквальном смысле слова свалилась со стула: вот, дескать, «собираются всякие выжившие из ума старики, которым нечего делать, думают, что все такие, как они, и в своем маразме еще отвлекают от дела серьезных людей»... Впоследствии прошел слух, что Р.А. вышел в отставку в генеральском звании, но по-прежнему ни с кем из бывших друзей и знакомых не общается... Все это



заставляет меня не называть здесь его полного имени — ведь в случае, если эти мои записки в обозримом будущем попадут-таки к читателям, то описание его тогдашних, пусть сколь угодно давних взглядов, настроений, порывов, и в частности, его глубокого влияния на меня, как-никак будущего активного автора Самиздата и человека далеко не аполитичного, может оказаться неприятным ему, если он еще будет здравствовать к тому времени, и уж во всяком случае членам его семьи — людям, судя по всему, воспитанным в том духе, в той идеологии, в традициях той системы, из мертвящего плена которых именно он когда-то помог мне так решительно освободиться. Да и кто знает, в какой среде он и они живут, или будут жить.

А тогда...

Все началось с летней его поездки в Ленинград (как ни удивительно, даже он, по воззрениям своим петербуржец до мозга костей, называл город на Неве обычно именно так — по тогдашнему официальному, большевистскому его наименованию; так было принято, и никому в голову не приходило связывать это с какими-либо политическими предпочтениями, как ныне). Вернулся он с переполнявшим его новым жизнеощущением, которое ему не терпелось передать и мне. Когда я приходил к нему в гости, место наших несколько приевшихся шахматных баталий (так как я постоянно и занимался, и общался с настоящими игроками, силы наши вскоре стали несоизмеримы) теперь заняли просмотры красивых альбомов с видами обожаемого города, пейзажами его предместий и интерьерами его дворцов, сопровождавшиеся восторженными историческими комментариями с его стороны и не менее восторженными «искусствоведческими» интерпретациями с моей. Любимыми его эпохами были «золотой век» Екатерины и, в чуть меньшей мере, царствование Александра I. Давняя аристократия крови и духа предстала перед нами в небывалом живом блеске, не внешнем, не парадном, не военном, не политическом, и даже не только и не столько творческом, сколько сущностном — она, эта аристократия, олицетворяла в нашем увлеченном, зачарованном сознании

еврорусское, просвещенческое, петербургское начало во всех его гранях, проявлениях и ипостасях, она воплощала в себе идеал элиты, самый феномен элиты, и именно в этом смысле мы ощущали в ней какой-то пример, какой-то зов, нечто родственное нам — нам, таким же ведь далеким, как в мечтаниях наших, в самооценке нам казалось, от низменных интересов плебса, от убогой умонаправленности массы. При всем пиетете нашем к древним фамилиям, овеванным не только исторической, но и культурно-исторической славой — у Р.А., между прочим, была великолепная память на родословные —, мы, два московских еврейских мальчика, ощущали себя наследниками, точнее, искренне хотели быть наследниками той классической петербургской, русской элиты. Это была, может быть, детская фантазия — но не детская игра. Я убежден: именно это действительно по-детски эмоционализированное и все же глубоко сознательное отождествление с миром погибшим, но не исчезнувшим, продолжающимся в духовном нашем бытии вопреки всем ударам, развенчиваниям и фальсификациям, стало со временем первоимпульсом некоторых основных, решающих аспектов сугубо индивидуального моего миропонимания, как и той идеологии, которую я посылно старался изложить, разработать, распространить в исторических, общемировоззренческих, культурно-политических, психолингвистических своих сочинениях: духовный элитаризм как движущее начало всечеловеческой эволюции; исконный европейский идентитет русских как коренная антитеза византийско-монгольско-евразийско-московской структуре русского исторического и геополитического самоистолкования; петербургская идея как основа русского духовного возрождения, подорванная, но не уничтоженная большевизмом; аристократический принцип плюрализма как противовес плебейской психологии единомыслия... Менее прямыми, но существенными были пути отсюда ко всему остальному, всему...

Архитектурные, исторические, бытостилистические откровения, почерпнутые из альбомов, стали завязкой более

интенсивного, ненасытного моего проникновения в этот таинственный и красивый мир. В большом книжном шкафу у Р.А. имелись, наряду с увесистыми томами Костомарова и Ключевского, многочисленные изящные книги, выпускавшиеся замечательным, чудом продолжавшим тогда еще свою деятельность, почти неидеологизированным издательством «Academia» — помню, как года полтора или два спустя Р.А. и его мать были до глубины души потрясены и возмущены известием о закрытии этого последнего в стране очага подлинной культуры. Читая спасенные из забвения, из цензурных ям, из ящичков письменного стола, из заброшенных архивов, из неведомых запыленных изданий, словом, из той вековой и бесконечно богатой сферы русского духовного творчества, которая впоследствии была кем-то обобщенно названа Самиздатом —, спасенные будто специально для меня, как если бы знали о специфическом моем умосостоянии, разнообразные литературные произведения, мемуарные записки, письма, документальные повествования и т. д., содержащиеся в уютных томиках — я не только снова и снова погружался в далекое, но неизъяснимо близкое мне время, я проникался и глубокой симпатией к людям, которые когда-то посвящали долгие часы, дни, годы своей жизни тому, чтобы передать если не современникам, то потомкам свои наблюдения, мысли, знания — я переполнялся глубочайшим уважением ко всему самиздатовскому, к Самиздату как таковому, и это было уже навсегда. Когда через много лет я впервые услышал само это слово, Самиздат, и мне объяснили, что оно означает, я сразу же ассоциировал явление дней нынешних с тем классическим феноменом русской идейной жизни. Совсем недавно, года два тому назад, я попытался проследить историю русского самиздата, как некий сквозной процесс, в коротенькой статье «Россия и самиздат», а затем прочитал доклад на эту тему по немецкому радио из Баден-Бадена.

Но в семье Р.А. хранились и два или три машинописных манускрипта, которые представляли собой как бы самиздат в «натуральной» форме — самиздат в собственном смысле

слова, хотя, правда, семантическое поле этого понятия и сегодня еще не установилось полностью. Листая их, я более всего поражался (во всяком случае, именно это мне врезалось в память, в то время, как конкретное содержание мне помнится лишь очень приблизительно и смутно), что авторы, нигде не затрагивая современности, не споря с нею, не отзываясь на нее, умели беспристрастными рассуждениями на отвлеченные как будто темы закладывать мины замедленного действия под самые устои этой современности, ибо меняли, переворачивали, трансформировали стандартные, идеологически обусловленные мыслительные схемы, языковые привычки, ценностные критерии. В том, что именно такой подход, метод и стиль были вообще характерны для самиздата двадцатых и тридцатых годов, я убедился уже позднее, во время ленинградской блокады, когда впервые соприкоснулся с настоящей коллекцией подобных рукописей. Только тогда, в 41-м, во мне зародилась и мечта когда-нибудь войти в эту подлинную элиту свободных умов, в Секту духа, как я ее назвал много лет спустя в своих «Мировоззренческих размышлениях», и действительно, садясь в начале семидесятых за первые свои самиздатовские сочинения, я постоянно вспоминал ту ленинградскую квартиру — но самые ранние семена этой неосознанной еще тяги были, пожалуй, посеяны во мне гораздо раньше, когда я сидел в покойном кресле на вполне комфортабельной квартире Р.А. и благоговейно держал в руках аккуратно переплетенные тайные труды неведомых авторов.

Но какова ни была привлекательность этой домашней библиотеки, главным для меня оставалось наше живое общение, многомесячный наш диалог. Если превосходство Р.А. в познаниях по русской истории все же кое-как уравновешивалось моей большей литературной эрудицией, то в отношении реальной современной жизни наша осведомленность была просто разнокачественна: я, конечно же, ближе и непосредственнее соприкасался с этой жизнью, так или иначе участвовал в ее сутолоке, сталкивался ежедневно, ежечасно с ее уродствами, но я буквально

представления не имел о подлинных ее пружинах, о действующих в ней силах, о движущих и управляющих ею интересах, а компетентность в этой области Р.А., наоборот, была ошеломляющей — отец его не только до тонкости, до мелочей знал все механизмы, все параметры, все ходы и выходы советской системы, советских общественных отношений — он абсолютно ничего не скрывал от сына, более того, учил его никогда не поддаваться первым впечатлениям, смотреть вглубь, трезво оценивать окружающее. Сам Р.А. любил говорить, что относится к советской действительности «скептически».

При всем том, нельзя сказать, чтобы Р.А. меня «распропагандировал». Я в самом деле исподволь превратился в убежденного «антисоветчика» именно под влиянием нашего общения, но думаю, не столько само критическое проникновение в суть набравшего силу сталинского социализма, сколько боль за разрушенную революцией красоту, боль за извращенное, перелицованное, перекошенное наследие, причастность к которому я чувствовал со временем все острее — не столько настоящее, сколько прошлое определяло мою складывавшуюся тогда жизненную позицию, мои формировавшиеся общественные и политические взгляды. Что же касается знаменитого поворота сталинской пропаганды и мифологии к «славному прошлому», когда в середине тридцатых годов, через без малого двадцать лет после большевистского переворота, вдруг не революционные, а военные герои, не трудящиеся массы, а древние князья, не прогрессисты-западники, а традиционалисты-евразийцы сделались носителями положительных начал русской истории, то мы ни на секунду не впадали в легковерное заблуждение, не принимали за чистую монету ни одной из любовных клятв партийной власти над могилой старой культуры — при этом и Р.А., и я считали весь этот шум просто сплошным блефом, чистой мистификацией, и лишь намного позже, несравненно глубже забираясь в лабиринты истории, готовясь уже к написанию целого цикла работ о переломных эпохах в судьбе России, я понял, что все было не так элементарно,

что Сталин в известном смысле, действительно, являлся закономерным преемником и предельным выразителем некоей вековой линии русского государственного мышления, соединившей в себе геттоистскую манию самоизоляции, имперскую волю к экспансии и мистическую веру в собственное мессианское предназначение...

И все же: как ни важны были для меня все эти внешние и внутренние перемены, та долгая зима, когда мне исполнилось тринадцать, оказалась лишь первой стадией тернистого моего взросления, лишь вступлением к чему-то, что можно считать поиском собственного пути в мире человеческого духа...

### 30.

Так подошло лето 1936 года. Лето, полное пестрых событий, но и неясных, неизъяснимых тогда предчувствий — неизъяснимых для меня, незрелого паренька —, хотя были же люди, которые достаточно ясно предвидели многое, и я таких людей знал, я не столь уж редко с ними сталкивался, но не до конца еще понимал их правоту, значимость их предвещаний.

Те летние каникулы мои разделились на три приблизительно равные части, и каждая из них оставила свои особые, неоднозначные воспоминания — июнь с необычными «выездами на природу», достопамятными возвращениями в город и тревожными впечатлениями от внемосковской жизни; июль в дачном поселке вблизи Архангельского со странными, как тогда казалось, соседями; и август в «панской» Польше.

То, что мой отец устраивал загородные прогулки для все еще многочисленных иностранных рабочих и специалистов своего завода, никого не удивляло, это было в порядке вещей — заезжие рабочие, а тем более эмигранты из фашистских и полуфашистских стран, пока не считались этакими изначально подозрительными чужаками, как всего год спустя, многовостпетая «бдительность» была далеко еще не на такой высоте. Но когда я сегодня припоминаю отдель-

ные эпизоды этих — довольно регулярных — «мероприятий выходного дня», то поражаюсь, до чего доходила идеологическая доверчивость, безоблачная наивность людей, принимавших Россию за «родину всех трудящихся мира» и видевших в любом советском человеке друга, единомышленника, боевого товарища! Им и в голову не приходила мысль, что в местах менее благополучных, чем сытая и гордая собой Москва, и общие настроения могут быть иными, и внезапное вторжение шумной, мощным хором поющей какие-то непонятные песни, не по-здешнему броско одетой ватаги, располагающейся вполне похозяйски на недокошенной лужайке, может вызвать недоумение, отчужденность, даже невысказанный протест со стороны окружающего люда. Сколько раз я наблюдал, как вдоль дороги, по которой шагала группа веселых итальянцев, четко, звучно, чуть ли не профессионально поставленными голосами провозглашая «Вперед, о народ, красное знамя, красное знамя пусть победит!» — вдоль запущенной и грязной дороги выстраивались хмурые прохожие, озадаченно разглядывая этих ребят, непонятно откуда явившихся, непонятно куда марширующих, непонятно чему радующихся, непонятно зачем так громко распевających все равно никому не понятную песню, а ребята совершенно не замечали этой озадаченности, они находились психологически просто в другом мире — в бесплотном пространстве своей идеологии. Еще большее замешательство и настоящее внутреннее отталкивание неизбежно должно было сопровождать куда более многочисленные колонны и группки немцев, хотя бы уже потому, что песни их были не такие мелодичные, хоры далеко не такие стройные, голоса, мягко выражаясь, не такие звонкие — и счастьем можно было считать, что нечаянные слушатели не понимали многократно повторявшегося рефрена излюбленной песни этих горлодеров: «Крови, крови, крови! Кровь должна литься потоком густым! Да здравствует свобода, республика советов!»

Но ведь не только пели. Развлекались на все лады, играли, забавлялись с криком и гамом, флиртовали, обнима-

лись, кое-где выпивали, мужчины ходили в плавках, женщины в купальниках. Именно по последнему поводу иногда вслух возмущались проходившие мимо бабы:

– Бесстыдницы, ах какие бесстыдницы!

Это слышали, это переводилось, но разницу в обычаях воспринимали лишь как отсталость, как беду оторванных от современности жительниц деревень, и утешались тем, что скоро с укреплением колхозного строя советская деревня преодолеет и эти устарелые нравы и допотопные представления. Вся атмосфера этих невинных как будто поездок как раз из-за невинной самоуверенности участников являла собой некое гротескное отрицание действительности, а в этом можно было уловить уже знаки грядущей катастрофы — ни в коем случае не стану утверждать, что я предчувствовал близость этой катастрофы, но зловещую несовместимость двух выдаваемых за «братские», то есть за равно коммунистические, человеческих существ этих я видел достаточно отчетливо, и какие-то тревожные мысли у меня появлялись.

С неузнаванием, неосознанием, непризнанием разных психологических токов, разнообразных, заложенных в социальных генах сил притяжения, уподобления, раздвоения, расхождения, отрыва, действовавших между миром коммунистическим и миром народным, были связаны, думаю, многие крупнейшие катастрофы века, включая сталинизм, вторую мировую войну — во всяком случае, 22 июня 1941 —, послевоенное разделение и устройство Европы, затяжная восточно-западная конфронтация, не говоря уже о роковых просчетах, неурядицах и провалах, придавших посткоммунистическому периоду во всем этом регионе мира такой хаотический характер — по сравнению с этим трагедия милых энтузиастов тех загородных экскурсий, да и весь 1937-й год, кажутся частностью...

Нередко в таких выездах принимали участие и отдельные «товарищи из Коминтерна», не то специально приставленные, не то решившие таким образом просто развлечься или поправить здоровье. С этим, между прочим, был связан единственный случай в моей жизни, когда я сопри-



коснулся с одним из видных персонажей европейской политической истории. Как только мы в то утро подъехали к Казанскому вокзалу, мне в глаза бросился человек необычного, чуть диковатого и все же не лишнего какой-то труднообъяснимой значительности облика — он был крепко сколочен, полон грубой силы, кожа его лица, обветренная и негладкая, никак не гармонировала с густой, тщательно причесанной назад, блестящей, даже, может быть, напомаженной гривой каштановых волос. Но каким своеобразным, в чем-то незаурядным ни было внешнее впечатление, производимое этим спутником нашим, большинство присутствующих не обращало на него особого внимания, он никоим образом не был центром притяжения группы, да и я вряд ли так отчетливо, так рельефно запомнил бы эту случайную встречу, если бы не коротенький эпизод в вагоне пригородного поезда. О чем кругом говорили, не помню, но вот будто обухом по голове меня ударила единственная фраза, брошенная не слишком словоохотливым крепышом этим на грамматически правильном, но очень сильно окрашенном акцентом немецком языке:

«Увидите, скоро умрет Максим Горький, и никто не знает, что это будет означать».

Я порывался что-то спросить или возразить, но не решился — в душе полагая, что он должен заметить мой порыв, а значит, сам адресоваться ко мне. Надежда оказалась напрасной. Когда мы сходили с поезда, я спросил отца, кто такой этот товарищ. Он не знал, но осведомился у кого-то, потом сказал:

– Он из Югославии.

Прошло восемь лет, и я увидел фотографию широколицего человека в пилотке на первой (шутка ли сказать!) странице главной, диктаторской газеты, «Правды», и мгновенно узнал его. Это был Тито. Хотя — к тому времени, как эти строки попадутся на глаза какому-нибудь читателю, имя это, возможно, ничего не будет говорить среднему современнику, а то, кто знает, многолетнего руководителя Югославии даже будут приравнивать к Сталину,

как это было в телевизионной передаче, которую я как раз вчера слышал. Но для моего поколения имя Тито было таким же общеизвестным и однозначным понятием, как апрель или Париж. И звучало оно, в общем и целом, отнюдь не жупелом, наоборот, были периоды, когда сердца наши отзывались на него с благоговением и надеждой — как-никак во время великой войны Тито с относительно немногочисленной своей партизанской армией являлся одним из столпов антигитлеровской коалиции, а в 1948 году с изумительной смелостью бросил вызов гигантской кремлевской сверхимперии, став тем самым ключевой фигурой мировых событий. Но к чему я это — неужели считаю мимолетное соприкосновение в поезде чем-то знаменательным, неким достопамятным фактом своей жизни? Нет, конечно, достойным упоминания я считаю его по несколько иной причине.

В один из светлых летних вечеров, когда мы после такой коллективной поездки выходили из мрачного здания вокзала, нам сразу бросились в глаза развешанные повсюду флаги с траурной каймой. Предсказание Тито оправдалось: уже несколько дней ходили слухи, что Горький умирает, и теперь при виде всех этих флагов отец лишь печально констатировал:

– Это Горький, Максим Горький.

Я очень болезненно воспринял эту смерть. И не только в силу сугубо личного своего отношения к прославленному писателю, о чем скажу ниже, но и потому, что к сердцу подступила новая волна неясных страхов и тревог. Подступила не только у меня. В этом я имел случай убедиться в один из последующих дней.

Вместе с сотнями тысяч я в ужасную жару стоял на Большой Дмитровке в очереди-потоке, разливавшемся от Охотного ряда до Страстного бульвара и дальше, через Трубную и Пушкинскую площади, и всех этих людей никто не гнал и не звал сюда, как гнали и звали в то время на все демонстрации, собрания и прочие «мероприятия», это было совершенно стихийное стечение колоссального числа людей, движимых исключительно искренней, сти-

хийной потребностью отдать последний долг тому, кто олицетворял для них, каково бы ни было общее мироотношение каждого из них, добро, дух, достоинство человеческое. Там были люди всех возрастов, всех социальных категорий, москвичи и явные провинциалы, интеллигенты и не совсем. Очередь к Колонному залу двигалась мучительно медленно, изнывающие от зноя женщины, старики, дети кое-где садились, расстелив газеты, прямо на кромку тротуара, другие спасались в темных и затхлых, но зато прохладных подъездах окружающих зданий. Я выбрал несколько необычный путь — зашел в Столешников переулок, где толпа была не такой густой, пробрался через один из дворов и в его глубине нашел небольшую дверь — очевидно, черный ход старого господского дома. Открыв ее, я налетел, еще ослепленный ярким солнечным светом, на мелкорослую пухлую женщину, которая, однако, едва обратила внимание на неожиданно ворвавшегося мальчишку, так как вся была поглощена речами своей собеседницы — женщины с тончайшими, интеллигентнейшими чертами немолодого уже лица, отмеченного знаками бессонных, полных, должно быть, тягостных мыслей ночей — таково было уже самое первое мое впечатление, как только глаз мой привык к темноте. Но и я остолбенел от этого хрипловато-пронзительного, горячего голоса, шедшего из самых глубин ее существа, от этого страстного пафоса, от тревожного смысла ее слов: Горький, говорила она, был последним заступником истинной, старой интеллигенции, последним из могикан настоящей, старой духовной элиты (мне кажется, я тогда впервые услышал это словосочетание, а может быть, и само слово «элита»), он — единственный, кто мог воспрепятствовать наступлению невообразимых черных времен, невообразимых черных сил. Сколько раз мне впоследствии вспоминались и сцена эта, и эти предупреждения, и это мнение о Горьком, об исключительной его роли! Вспоминались в 37-м, в первые послевоенные годы, вспоминаются особенно отчетливо и мучительно как раз сейчас... Сегодня меня волнуют в этой связи два взаимодополняющих момента: оценка Горького

и оценка специфической ситуации и поведения гуманистической русской интеллигенции в середине тридцатых годов и в период Перестройки и постперестройки.

Я никак не могу согласиться, никак не могу примириться с тем третированием и оплевыванием памяти Горького, которое сейчас вошло в моду и в литературоведении, и в расхожей журналистике, и в общественном сознании. Нет, само собой разумеется — возвращение исконных, народных, богатых историей, теплых имен Нижнему Новгороду или Тверской — московской улице-символу — меня ни в какой мере не огорчило, наоборот, я это воспринял в одном ряду с возрождением традиционных названий Санкт-Петербурга, Самары, Хамовнического района, Пречистенки родной. Но нарочитое, настойчивое, маниакально-одностороннее выпячивание в творческом и жизненном пути писателя самых темных аспектов, самых трагических заблуждений, самых тенденциозных произведений, насильственная концентрация всеобщего внимания на одном единственном периоде его деятельности вызывает у меня отвращение — и дело не в том, что это несправедливо, хотя это безусловно несправедливо, дело в том, что это не что иное, как попытка исторического самооправдания некоего преемственного интеллигентского слоя, интеллигентской среды, оказавшейся неспособной породить сколько-нибудь заметное, сколько-нибудь широкое, сколько-нибудь гуманистически действенное направление народного мышления и чувствования и готовой свалить вину за собственное фиаско на кого угодно и на что угодно. В противовес множеству частных обвинений в адрес Горького, каждое из которых само по себе неуязвимо, можно было бы привести — и более уравновешенные и беспристрастные, прежде всего иностранные, авторы охотно их приводят — бесчисленные заслуги Горького, спасшего в разное время от рук большевиков и немалое число людей, и значительные культурные ценности, и саму возможность духовного творчества в России. Но не это для меня главное в данном контексте. Главное — пафос этой личности.

Вот мое убеждение: не было в истории русской цивили-

зации другого художника, мыслителя или проповедника, который с таким страстным горением, с такой единоплавленной идейной энергией стремился приобщить народ русский, весь народ в его целостности и цельности, к всечеловеческой красоте, рожденной духом, элитой, Европой. Горький был в этом смысле эстетом из эстетов, идеалистом из идеалистов, западником из западников. И если падение его в тридцатые годы кажется чудовищным, то потому, что его нельзя отделить в мыслях от такой высочайшей высоты.

Очень уж своевременно для Сталина умер Горький — трудно сказать, удастся ли когда-нибудь однозначно и неопровержимо доказать вину диктатора в этой смерти, но версия о его сопричастности более чем естественна, ибо извечный криминалистический вопрос «Кому выгодно?» напрашивается здесь сам собой. Если та взволнованная пожилая интеллигентка в темном подъезде только почувствовала «великий террор», то Сталин планировал его, и ничего нет удивительного в том, что ее разбитые надежды на заступничество со стороны писателя-гуманиста совпадали с опасениями вождя. По прошествии стольких десятилетий мне яснее, чем когда-либо, видится основательность этих надежд и этих опасений: нельзя себе представить 37-й год и молчащего Горького; а уж тем паче немислим молчащий Горький, доживи он до восьмидесяти, во время послевоенных культурофобских, антизападных и антисемитских кампаний.

Нынешний крестовый поход против Горького коренится — разумеется, на подсознательном, подкорковом уровне — не в последнюю очередь в угрызениях генной совести, во внутренней необходимости хотя бы косвенного самооправдания, хотя бы опосредованной самореабилитации за моральное, идейное и духовное фиаско на рубеже девяностых годов. Давнюю измену духу, совершенную собственными легитимными предшественниками, стараются обелить ссылкой на сходную измену, совершенную их современником-титаном. С этим же связан и другой, не признанный, неосознанный — и неотпущенный — истори-

ко-духовный грех интеллигенции, трагический провал в духовной памяти России: игнорирование подвижнического, подпольного самиздатовского сопротивления свободного духа в тридцатые и сороковые годы (исключения, наподобие вырванным из забвения видениям Даниила Андреева, лишь подтверждают правило).

Весь этот комплекс скрещивающихся и переплетающихся факторов и фактов стал первостепенным моментом не только в юношеском моем развитии, но и во всем моем мировоззрении и мироотношении. Это — моя кровная проблематика. Поэтому хочу остановиться на этом подробнее, цитируя неоконченное (не знаю, окончу ли когда-либо) свое недавнее эссе, посвященное специально этой теме.

### 31.

«... Глубинный исторический идеализм, привитый русской душе не только религиозным веком, сохранявшим силу свою значительно дольше, чем в Европе, но и всем строем и ходом национальной жизни, отнюдь не был разъеден неумолчной пропагандой «исторического материализма» в советский период — наоборот, именно идеальное слагаемое коммунистического учения привлекло к нему в свое время столько умов и сердец. Да и нараставшее в десятилетия так называемого Застоя глухое сопротивление интеллигенции коммунистическому режиму вызвано было прежде всего внутренним протестом против «жизни во лжи», против навязываемого единомыслия и безмыслия, против подавления органического культурного процесса и свободного духовного самовыражения. Интеллектуальная элита вела весьма своеобразную, исторически, пожалуй, уникальную, многослойную и многоуровневую игру: на первом плане — соблюдение свода общеизвестных официальных правил, причем каждый читатель, зритель, слушатель заранее знал, увидит ли он при сем лицо или маску автора; за этой оболочкой — некая «эзопова оппозиция», критика и философствование как бы для посвя-

щенных (правда, «посвящена» была фактически вся общественность, умевшая и привыкшая читать между строк); на третьем уровне, в потайном творчестве и восприятии творчества, жила древнейшая стихия русской идейной борьбы и интеллектуального общения — Самиздат, Тамиздат и Намиздат (так я называю характерное и традиционное для нашей страны средство интеллигентской коммуникации — сотни произведений философской, исторической, политологической, художественной литературы писались для узкого круга единомышленников и обсуждались, оценивались, развивались в закрытых, полуконспиративных дискуссиях и семинарах)... Приход Гласности, а затем и подлинной свободы слова, не мог не означать катастрофу для всего этого специфического мира интеллектуальной деятельности, интеллектуальных контактов: «эзопова оппозиция» потеряла самый смысл существования, а с ней погибла и вся атмосфера, вся традиция чуткого ожидания «хитрого» подтекста; свобода печати лишила аутентичный Самиздат читателя, а тем самым всякого общественного влияния, что вскоре привело к его фактическому исчезновению; внезапная общедоступность Тамиздата обусловила резкое падение интереса к нему после недолгого жадного освоения; в условиях, когда обилие публичных диспутов и форумов по самым жгучим вопросам дня повлекло за собой оскудение кружковой жизни, а со временем и распад большинства прежних дискуссионных групп, функцию свою утратил и текущий Намиздат. Так умерла целая культура, оставив в смутной пустоте и творцов, и их общины, и всех умственно причастных и заинтересованных. Ее расцвет в период Застоя, являвшийся плодом крайне своеобразной, неповторимой объективной ситуации, неизбежно должен был кончиться с крутым изменением самой ситуации — но полноценного продолжения, осмысленной замены не оказалось. Естественное порождение новой свободы слова, небывалый бум публицистики был обречен, ему не хватало воздуха — воздуха своей культуры. Он поэтому быстро выдохся, нет, задохся. Лишенные привычной почвы, привычной

среды, привычных целей, привычных адресатов, публицисты времен Гласности не смогли выдвинуть идеалов, соответствовавших изменившейся политической, а главное, идейно-психологической обстановке, не смогли выработать подлинной, цельной идеологии. И они пошли на поводу у большинства, которое отвернулось от культуроцентристского жизнепонимания и как раз теперь, после краха официального марксистского «материализма», бросилось в омут отчаяннейшего экономоцентризма — а это означало крушение интеллектуальной элиты, как исторического и цивилизационного фактора, как некой смысловосодержащей общности. Клеймя парадоксальным образом прежний литературоцентризм общественного мышления, развенчивая жертвенность, подвижничество, духовное горение, как черты изжившей себя русской элитарной психологии, эти апостолы спекулятивного антиидеала торжественно и торжествуя отступают от собственного идентитета. Как сказано, «каждому свое»...

Отказ от служения духу, который стал столь обычным явлением сегодня, образует, по логике вещей и понятий, параллель к подобной же капитуляции в тридцатые годы. Если тогдашний путь к примирению, союзу, самоотжествлению с господствующей идеологией казался неким хождением в Каноссу вчерашних знаменосцев западного гуманизма, то несостоятельность нынешних глашатаев тех же гуманистических идей уже не может быть оправдана тотальным террором и смертоносным давлением со стороны государственно-партийного колосса — голос же духовной совести, оттесняемый вглубь, но живучий, заставляет искать моральное спасение и душеуспокаивающие мотивы в грехопадении того поколения — а такой вид самоутешения удастся обрести психотактическими действиями на трех направлениях: наряду с концентрацией на одном Горьком огня, в принципе имеющего в виду эпидемическое идейное пораженчество давних интеллектуалов, идет концентрация апологетики — признания, как героев духа, не поддавшихся страшной этой эпидемии — лишь на двух или трех канонических, общеизвестных



именах — Ахматова, Мандельштам, Пастернак —, а это означает исключение из духовной истории безвестных, часто безымянных подвижников культурного и идейного подполья тридцатых годов — так совести легче...»

Продолжу, под этим углом зрения, цитаты из того же неоконченного эссе.

«На другом уровне, в другом измерении человеческого мира протекает жизнедеятельность той элиты, которую я называю духовной. Здесь другие ценности, другие предназначения. Именно поэтому здесь и речи не может быть о фиаско, подобном тому, какое потерпела на этом историческом рубеже интеллектуальная элита наша. Дух — выше любых успехов и поражений. Этос духовный элиты иной, чем общий этос элиты интеллектуальной — ибо по самой сути вещей он заключен в ее духовном эросе, сводится к духовному эросу, тождествен эросу как вечному, единостремленному стремлению к познанию и человеческому самопознанию, к творчеству и человеческому самотворению. Но была ли, есть ли в России подобная элита?»

Была. И есть. И именно в России.

...Насильственный конец эпилога Серебряного века, эпилога, длившегося вопреки явной, казалось бы, немыслимости до середины тридцатых годов, отнюдь не оборвал полностью движения русской духовности, отнюдь не убил ее. Всеобщая и постоянная недооценка уникальной метаморфозы, которую претерпела духовная жизнь России на том рубеже, вспоминающемся сегодня лишь большой ложью и большой кровью, искажает представление о сущности духовной элиты, о ее этосе, о ее судьбах. Между тем, именно последующие годы стали свидетелями исключительно преданного, святого, поистине героического служения духу, подлинного элитарного подвижничества. Новое поколение элиты не ушло «в кусты», оно ушло в глубокое подполье. В то время, как «черные вороны» устремились по адресам наиболее известных среди честных носителей духовных заветов, не пошедших на уступки, не согласившихся на позор членства и сотрудничества в

официальных, унифицированных «творческих союзах» и подобных учреждениях — в это время начался незримый, сокровенный процесс становления новой элитарной литературы, охватывавшей самые разные сферы мысли и творчества — литературы анонимной или псевдонимной, тщательно скрываемой от вездесущего, мнительного ока идеологов и инквизиторов, но иногда и распространяемой, по великой русской традиции, как самиздат — из рук в руки... Хотя в военные и первые послевоенные годы внутренний террор стал чуть менее маниакальным, чуть менее тотальным, куда более расчетливым, положение духовной элиты в целом сделалось в известном смысле даже более тягостным. Мифологизация войны и победы, всезатемняющий искусственный ореол, созданный не только вокруг фигуры Сталина, но и всего того, что он собою воплощал, психологическое влияние характерного для интеллигенции военной поры неразличения оттенков — все это требовало огромных дополнительных усилий по сохранению строгости мысли, чистоты духа. О том, что духовная элита прошла через эти исторические испытания нераздавленной, неоглушенной, непоколебленной, свидетельствовали начавшиеся где-то в 1947 году и набравшие в последующие годы дьявольскую силу кампании-свистопляски против «низкопоклонства», «космополитизма», и так далее, и тому подобное — кампании, истинной мишенью которых всегда был свободный дух, но которые при той трудноуловимости, безымянности, недосыгаемости элитарного подполья превращались Сталиным и его подручными просто-напросто в сплошной антисемитский шабаш. Послевоенное сталинское юдофобство было не чем иным, как признанием бессилия идеологии перед вечностью духа.»

Эти цитаты я привожу потому, что они — выстраданные. Безусловно, переходы, перерастания, метаморфозы элит духовных и интеллектуальных при сменах советских эпох — феномен общепознавательный, предельно характерный, симптоматичный для всего развития страны и народа, для всех путей русской — и не только русской — куль-

туры, более того, для всей истории нашей, в пространственном и временном ее измерениях. Но для меня они, наряду со всем этим, содержат и другой смысл, нечто сугубо личное, интимное — они этапы моей человеческой судьбы!

Самопредательство и подвижничество второй половины тридцатых — это неосознанная атмосфера моего мальчишеского выбора; опьянение Победой и отрезвление поздним сталинизмом — всепронизывающее силовое поле моей окончательной умственной кристаллизации. Но по сравнению с большинством сверстников я находился в исключительном положении, ибо случай подарил мне возможность реального ознакомления с мышлением и творчеством духовного подполья тридцатых.

Да, волчье око ГБ, военные вихри и страхи, слишком человеческие страхи добровольных хранителей погубили, вероятно, основную часть самиздатовского наследия героического того духовного поколения. Но тем более, казалось бы, интенсивными должны были бы стать поиски сохранившегося. И если я здесь изливаю горечь свою по поводу пренебрежения потомков этим достоянием, то потому, что мне так и не дали публично выступить с призывом к таким поискам, с упреками в адрес тех, кто в несравнимо более благоприятных условиях предал — и предаёт — надежды и труды самозабвенных людей тех страшных лет.

Позиция, занятая всевластной сегодня в литературном мире нашем, хотя и обанкротившейся околодуховной «элитой» по отношению к оставшимся свидетельствам тайной жизни духа, делает особенно неприглядными нападки различных клик и кланов этой «элиты» на Горького. Попытка самореабилитации путем диффамации никогда не окажется успешной.

Наоборот.

В июле родители сняли комнату в хорошем крестьянском доме большой подмосковной деревни Воронки, расположенной среди привольных полей и роскошных лесов недалеко от знаменитого юсуповского дворца Архангельское.

Сняли они ее, в основном, ради меня. У них же постоянно были дела в городе, и большую часть времени я был предоставлен самому себе. Разумеется, я едва ли не каждый день отправлялся на длительные прогулки по любимым лесным дорожкам, где возвышались древние и гордые деревья разных пород, и прогулки эти неизменно кончались в том самом, воспетом поэтами парке, в тех самых, прославленных Пушкиным чертогах. Все это было в то время широко открыто для посетителей, но публики было мало, и ничто не отвлекало от погружения в атмосферу давних времен.

Вдохновение, которое я черпал из этого окружения, вылилось, однако, все в такие же стихи на античные темы — во все более смелых своих мечтаниях я мыслил себя русским Гельдерлином или хотя бы современным Щербиной, а вместе с тем чувствовал некое почти мистическое родство душ с тем первым из князей Юсуповых, который наряду со всякими оригинальными произведениями эпохи собирал прежде всего слепки древних изваяний, подражания классическому искусству Эллады.

Странно: когда я лет 35 спустя ездил в Архангельское с Джеммой, а затем неоднократно с Лидой, впечатление оказалось совершенно иным, не только куда менее ярким, но и куда менее однозначным — не ощущал я более в пестрых этих коллекциях того благоговения перед рукотворной красотой, которым когда-то заражался и вдохновлялся. Безусловно, это в первую очередь объяснялось и изменившимся жизненным моим тонусом, и тем, что к тому времени я успел воочию увидеть и Царское Село, и Павловск, и Веймар, и Потсдам, а все-таки мне показалось — конечно, я мог ошибиться —, что самое ценное для

меня, самое прекрасное в памятном мне дворцовом собрании исчезло. Унесено не временем, а чьей-то злой волей...

Но это не значит, что я все дни, все часы проводил один. Отнюдь. Вскоре я стал как раз неким центром притяжения для небольшой группы московских детей, также отдохавших в Воронках. А произошло это вот как.

У меня, разумеется, была с собой складная доска с шахматами, и я каждое утро в саду анализировал дебютные варианты сицилианской, которую собирался сделать основным своим оружием за черных. Такая игра с самим собой показалась курьезной соседним ребятишкам, и некоторые с любопытством стали наблюдать за мной. Особенно острый интерес к моим занятиям почему-то проявляли две двоюродные сестрички, Наташа и Надя, жившие в доме через дорогу и явно не имевшие никакого понятия об этой игре. Через несколько дней я уже привык к тому, что за оградой вдруг появляются две загорелые физиономии, одна довольно красивая, другая простовато-бесцветная — и тем не менее чем-то похожие друг на дружку —, и начинают как будто бы напряженно следить за движениями моих рук, а затем временами хихикать. Я решил не обращать на них внимания, и это мне удавалось. Но тут в мою шахматную идиллию вторглась более грубая сила — рослый парень лет пятнадцати-шестнадцати, который стал через калитку задавать глупейшие вопросы: «Кто тут выигрывает? Ты? Или не ты? А может быть, я? Или кто-нибудь другой?»

Потом он вдруг предложил сыграть партию с ним. Чтобы отвязаться, я согласился. Ради такого зрелища я пригласил за колченогий наш садовый стол и двух сестричек, и даже бритоголового Юру, мальчугана лет десяти, жившего с матерью в нашем же доме — он солидно морщил лоб, но было непонятно, знал ли он ходы фигур. Естественно, я легко справился с неожиданным своим партнером, однако, он оказался все же не таким безграмотным, как я ожидал. Получив мат (а играл он до мата уже без двух или трех фигур), он вдруг затрясся и заявил, что на таких дрянных шахматах он играть не может, вот завтра он принесет свои, и

тогда посмотрим, кто кого. На следующее утро он действительно притащил какой-то большой ящик, а когда стал вынимать из него — без чрезмерной осторожности — одну за другой фигуры, я обомлел. Это был комплект тончайшей художественной работы из какого-то непривычного, загадочного материала, некие серебристо-серые и черные с переливающимися блестками безделушки —, а в заключение он достал из недр того же ящика еще и увесистую перламутровую доску. Девочки, видно было, сразу прониклись неподдельным почтением к игре, ради которой выдвигают такие красивые вещички. А когда я и на этот раз легко обыграл его, они стали смотреть на меня, как на диковинного юного героя, смело проникшего в таинственный мир, доступный даже не всем взрослым. Я же был потрясен: кто станет вывозить подобный, как мне казалось, музейный комплект шахмат на дачу?

Однако, это оказалось лишь началом приключения. В тот же вечер с тем же ящиком в наш сад явился полный отец моего утреннего партнера и предложил «побаловаться». Играл он ничуть не лучше сына, но кричал честно, а временами бормотал что-то не очень понятное, из чего, все-таки, можно было заключить, что он неплохо знает шахматную нотацию. И тогда мне пришла шальная мысль: я вызвался дать им сеанс одновременной игры на двух досках вслепую. К слепой игре я к тому времени привык, но всегда сражался лишь с одним противником, так что возможность такого сеанса привлекала, прельщала меня, как заманчивая авантюра. У окружающих же такое дерзостное предложение вызвало сначала шок, перешедший затем в недоверчивое любопытство и, наконец, в лихорадочный интерес. Играть на двух досках вслепую не намного труднее, чем на одной, и мне не составило особого труда довести обе партии до победного конца. Но на побежденных и зрителей это произвело прямо-таки впечатление чуда. Мне пришлось объяснять, что Алехин и Рети проводили сеансы вслепую на тридцати досках одновременно, и ничего, одолевали куда более сильных противников, даже чем я. Мой рассказ вызвал удивленное

восхищение тучного обладателя музейных шахмат, но в ответ он произнес лишь очень модное тогда слово: «Надо же, конгениально!» Однако, и этим дело отнюдь не кончилось. На следующий вечер меня заставили повторить тот же «подвиг», на этот раз при большом стечении дачников и даже местных жителей. Оказалось, что известие о необычном спектакле распространилось по всей деревне и породило своеобразный ажиотаж! А Наташа, более красивая из тех двоюродных сестричек соседских, подошла и с вполне искренним пиететом, даже каким-то энтузиазмом проговорила:

— А ты, выходит, настоящий гений!

То, что я только пожал плечами, она восприняла, видно, как излишнюю скромность. (Я и впоследствии, в душанбинские свои годы, охотно играл вслепую, но никогда не мог перейти поставленный мне природой, что ли, предел шести досок одновременно — когда же приходилось читать о рекордах Найдорфа и других, достигших фантастического числа в 50 досок, то на моем лице, должно быть, отражалось такое же наивное изумление и неверие, как в те июльские вечера на лицах разношерстных и разновозрастных гостей нашего сада).

Вскоре я стал замечать, что при моих ежедневных папаничествах к юсуповскому дворцу меня чуть поодаль преследуют Наташа с Надей. С одной стороны, это совсем некстати отвлекало меня от дорогих, сокровенных мыслей, временами даже нервировало, но с другой, льстило моему самолюбию, ибо я отлично понимал, что окружен в их глазах своего рода ореолом, что действую на них невольно, как магнит. Однажды, когда я лег на траву, чтобы, как я сам определял свое умосостояние, «предаться мечтаниям», они все-таки подошли, и Наташа не то игривым, не то просительным тоном, но как-то несмело, точно переступала какую-то грань, сказала:

— Давай вместе дворец посмотрим, а?

В глубине души я был рад этому предложению, но, конечно же, для вида минуту-другую отнекивался.

И вот в одном из залов дворца, перед одним из самых

роскошных экспонатов, кажется, каминными часами конца XVIII века, произошла презанятная сценка. Я напрягал все свое красноречие, чтобы передать свое восхищение стародавним стилем жизни, искусством старинных мастеров, и не без искренней ностальгии добавил, что теперь таких тонких художников не сыскать. Мои спутницы осматривали все это великолепие сияющими глазами, но вдруг Надя что-то вспомнила и сказала голосом отличницы, отвечающей хорошо выученный урок:

— Но все это за счет народа, народ-то из-за этого страдал.

Я не сразу нашелся, что возразить, однако, от такой необходимости меня совершенно неожиданно избавила Наташа. Она с неподражаемым презрением, как-то поособому растягивая первый слог, с едва заметной усмешкой в уголках рта произнесла:

— На-а-арод!

Для меня это был словно гром среди ясного неба. Как я ни поклонялся всяким элитам, самому элитарному началу, как ни был зачарован блеском русского дворянства, мне все же с молоком матери был внушен некий условный рефлекс на слово «народ», заставлявший воспринимать его — совершенно бессознательно — как понятие неприкосновенно-положительное, как однозначный языковой сигнал признания, сочувствия, причастности. Но тут из растерянности меня вывела Надя, бросившая:

— Перестань! Таких, как ты, убивать надо!

После этой милой реплики две сестрички, как ни в чем не бывало, в самом любовном согласии и непринужденном общении продолжали кружить около меня, прислушиваясь к моим словам, как мне казалось, с еще большим интересом, а то и восторгом. Не впервые, значит...

Но неожиданно для меня самого, рискованно-саркастическое замечание Наташи дало толчок странной игре моей фантазии: в последующие дни я стал представлять ее себе то в домашнем облике княжны Юсуповой, то одетой в блестящие шелка екатерининской придворной дамы, то в длинном белом бальном платье начала XIX века, то



в усеянном бриллиантами туалете из фильмов об эпохе Николая I. Это причудливое творение воображения моего приобретало все большую жизненность, все большую телесность, я постепенно влюблялся в него — но вместе с тем оно как-то понемногу, незаметно теряло черты реальной Наташи. Более того, по сравнению с многоликим этим образом улыбчивая соседская девочка стала мне казаться слишком обыкновенной, временами и чуть-чуть банальной, а неразлучность ее с совсем простецкой Надей вызывала уже досаду.

Трудно сказать, чем бы вся эта история могла кончиться, если бы не была прервана в один прекрасный день, ближе к концу июля, удивительным известием, привезенным из Москвы матерью в очередной ее приезд: мне, дескать, оставалось провести в Воронках неделю, не больше, у нас готовы документы, и в начале августа мы с ней едем в Польшу. Здесь нелишне, пожалуй, дать небольшое пояснение: в то время заграничные поездки советских граждан еще не были такой редчайшей редкостью, таким свидетельством исключительной привилегированности, каким они стали всего лишь год спустя (а в отношении так называемых капиталистических стран оставались и вплоть до середины восьмидесятых); но вместе с тем, они не были никоим образом столь повседневным, массовым явлением, каким стали сегодня — путешествие в Варшаву все-таки являлось для такого мальчика, как я, событием, и не только в моем собственном представлении!

В последний же день пребывания в Воронках я был жестоко наказан за фокусы своего воображения. На прощание я пригласил всю детвору поселка на «культпоход» во дворец, и когда мы, этак человек десять, в веселом настроении проходили по лесу, мне вдруг взбрело в голову спросить Надю, вышагивавшую рядом со мной, кто у них с Наташей родители. Она сделала какое-то небрежное движение рукой, но в голосе ее я уловил явственный оттенок гордости:

— У нас отцы чекисты.

И она посмотрела на меня так, будто ожидала крик вос-

хищения. Я был настолько ошарашен, что никак, кажется, не выдал своего содрогания.

Вот так-то!

### 33.

Когда отец вносил в купе наши чемоданы, от одинокой согбенной фигуры у окна, которую я в полутьме сразу и не различил, донесся возглас:

— Ой, как хорошо, что не иностранцы! Я так боюсь иностранцев!

Спутницей нашей оказалась древняя, но достаточно живая и весьма разговорчивая старуха.

А разговор между нею и матерью в тот вечер кое в чем сделался камертонным для нашего путешествия. Мать спросила:

— Вы тоже до Варшавы?

— Нет, я аж до Парижа, миленькая!

В голосе матери появился намек на грусть, на мечтательную зависть:

— До Парижа? Вот интересно! А не будет тяжело? Все-таки возраст...

— Ну, а что поделаешь? Каждый год вот думаю: это уж точно последний раз. Ан нет. Подходит лето, и опять тянет к сыну. Перед смертью, думаю, еще разочек посмотрю на него, да на внуков.

— Значит, каждое лето бываете в Париже? Сын, наверное, в посольстве работает?

— Да нет, эмигрант он.

Мы с матерью оторопели. Как это, родительница белого эмигранта, будто так и надо, навещает сына, и к тому же не раз и не два? Невозможно, немислимо... Заметив нашу растерянность, старуха улыбнулась:

— Да он уехал еще при покойном императоре Николае. До германской войны, значит. Хотел дело расширить, меховщик он у меня. А там, гляди, появилась француженка. Поженились они, значит; хотя и не православная она, все равно поженились. Ведь как теперь получается: не жена к

мужу, а муж к жене. Ну да ладно. Хорошо живут, богато, а все равно на чужбине. Вот и хочет, чтобы я почаще приезжала, все-таки поговорить хочется. Поговорить по-русски. Деньги посылает, не скупится, дорога-то знаете сколько стоит.

— Так у вас, наверно, и в Москве дети, да и внучата?

— Что вы, что вы, одна я. И не в Москве я живу, а в Самаре.

— А не лучше тогда совсем к сыну переехать?

— Как можно! Да я же вся трясусь, когда кто-нибудь по-французски обращается. Я ведь даже в гимназию не ходила. Не-ет. Вот что я вам скажу: живи где хочешь, а умирай на родине. Пусть сын приедет и похоронит здесь. Не хочу я лежать в чужой земле, даже на самом распрекрасном кладбище. Не хочу.

Эта архетипно-мистическая тяга к родной земле, эта столь необычная для советских условий откровенная связь с «родственником, живущим за границей» (как гласил один из самых каверзных пунктов тогдашних анкет), это нежелание путешественницы-провинциалки вживаться в большой мир произвели, в слитности своей, какое-то смутно-противоречивое впечатление не столько на сознание мое, сколько на некоторые «горячие точки» моего неустоявшегося эмоционального мира. Это сказалось, когда в первый же день пришлось столкнуться с весьма специфичной тогда картиной варшавской еврейской жизни.

Конечно, я знал, что евреи составляют треть населения польской столицы, слышал я и о том, что они в куда большей степени, чем сильно ассимилированные евреи Германии и Советского Союза, сохранили национальные и религиозные обычаи, не только знали и постоянно употребляли язык идиш, но в обязательном порядке изучали и древнееврейский, и так далее. И тем не менее — то, что я увидел, поразило меня до глубины души.

Не берусь сказать, какая часть варшавских евреев жила вне особых, как бы автономных еврейских кварталов, одевалась по-европейски, участвовала в польской культурной,

общественной, а может быть, и политической жизни. Но обитатели того района, в котором мы очутились в вечер нашего приезда (у матери, судя по всему, имелся заранее намеченный адрес, по которому мы могли остановиться — это была совершенно обычная, среднего достатка и среднего культурного уровня, типичная во всем семья), представляли собой как бы анклав былых веков в современном мире, город в городе, где подчеркнуто, демонстративно сохранялась не только одежда, не только речь, не только вся окраска, ритм, стиль жизни, но в значительной мере и сама ментальность гетто. Самоидентификация на основе непризнания того великого отрыва от веков гетто, разрыва с миром гетто, который еврейство совершило в предыдущее столетие — вот что было стержнем мироощущения, альтернативного как историческому движению европеизации, модернизации, космополитизации, так и сионистской идее возвращения на древнюю родину.

Для этой части евреев исторической родиной было гетто. В отличие от еврея нового времени, боровшегося для себя и народа своего за новую родину и тем самым за место под общечеловеческим солнцем, будь эта новая родина Израилем, Америкой, Германией, Польшей или Россией советской — патриоты гетто, ностальгики гетто всем укладом жизни и образом мыслей отстаивали свое право «умереть на родной земле», как сказала бы наша соседка по купе — а этой родной землей было именно кладбище гетто...

Хотя внезапное парадоксально-ассоциативное сопоставление варшавских евреев и сына нашей попутчицы, внезапная мысль о внутренней родственности, как бы мета-исторической схожести их судеб промелькнула тогда в моей голове мгновенно и казалась совершенно случайной, мне этот момент отчетливо запомнился — в последующие годы и десятилетия я неоднократно возвращался к нему, когда думал о роли диаспор и эмиграций в эволюции человеческих обществ вообще и в развитии духа, в развитии цивилизаций и культур в особенности.

Эти размышления находили явное или не столь явное

отражение во многих сочинениях (хотя бы «Дух перед лицом мировой катастрофы», «Кровавое родство душ», «Сокрытая очевидность», «Конфронтация сущностей»), но как отдельную трактовку отдельной темы, как последовательный, более или менее стройный ряд мнений и суждений я их еще ни разу не излагал. Поэтому, описывая здесь воздействие на меня тех начальных варшавских дней, буду, по логике вещей, комментировать живые впечатления своими позднейшими соображениями и тезисами, а разрозненные тогдашние наития рисовать уже в виде более или менее связных построений.

Внеизраильское еврейство всегда считалось — и на протяжении многих веков действительно являлось — наиболее характерным, самым рельефно выраженным, подлинно классическим примером национальной диаспоры, какой только знает мировая история. Правда, картина ухода из тысячелетней родины и постепенного всемирного рассеивания осложнялась здесь целым рядом очень существенных черт, не присущих, во всяком случае в таком предельно ярком виде, другим историческим феноменам подобного рода, другим случаям массового исхода и расселения этнических общностей — как во времена великих переселений народов, так и в более уравновешенные, геополитически более стабильные эпохи.

Прежде всего такой чертой, естественно, является глубоко укоренившееся, унаследованное бесчисленными поколениями и самого народа, и окружавших его наций, во многих отношениях вполне закономерное представление, что евреи — не столько этнос, сколько религиозная община. Как раз в изгнании, где дедовская вера всегда оставалась решающим фактором, обеспечивавшим выживание еврейства, как некой целостности, как субъекта и объекта истории, такое представление находило, казалось бы, безусловное и очевидное подтверждение.

В самом деле, если одним из краеугольных народообразующих и народонесущих начал — пусть во многих случаях подспудно — является некая национальная идея, точнее, некая цивилизационная идея, определяющая место народа

в человечестве, в эволюции человеческого духа, то ведущая идея древнееврейской цивилизации, Единобожие, представляла собой именно такую идею в наивысшем воплощении, национальную идею *par excellence* — воздействовавшую, однако, на ход духовной эволюции внешнего мира с предельной, ни с чем не сравнимой силой как раз тогда, когда сам народ утратил не только свою государственность, но и свой естественный этнический центр, изначальную свою этническую целостность, свое геополитическое существование — сохранив при этом в полной мере цивилизационную свою идентичность, сохранив свою национальную идею.

Но наряду с этой, наиболее знаменательной чертой еврейской диаспоры, существовали еще и другие специфические особенности, отличавшие ее во все эпохи от большинства сходных исторических явлений. Особенностью, как будто тесно связанной с основным, религиозным пафосом еврейской национальной жизни, но в действительности отнюдь не полностью сливавшейся с ним, выходявшей многими гранями своими за его пределы, особенностью глубоко органичной, сущностной, генетически закрепленной, было неотступное чувство национальной миссии другого рода, постоянное переживание некой другой национальной идеи — идеи Книги. В раннем Средневековье идея эта, действительно, не жила отдельной жизнью, она реально срасталась, совпадала с идеей религиозной, и Книга отождествлялась с Священным писанием и последующей догматической, экзегетической и обрядовой литературой. Однако, уже в недрах средневековой общины культ Книги приобретал все более самостоятельное, общедуховное, общечеловеческое содержание, и психологическое развитие это все более интенсивно взаимодействовало с аналогичными процессами в христианском и мусульманском мирах. Но в то время, как вне еврейства культ этот всегда оставался уделом различных духовных и интеллектуальных элит, он в еврейском обществе, относительно менее резко разделенном на касты по степени грамотности и приобщенности к духовным интересам,

сделался стержневым моментом всего формирования социальных генов — а может быть, и генов биологических. Именно социально-биологический генный фонд народа, порожденный Культот Книги, превратил эту уникальную диаспору в один из решающих ферментов того взрывоподобного нарастания интеллектуально-творческого напряжения, которое преобразило в последние века почти все человечество. И это несомненно было связано с далеко идущей секуляризацией еврейского менталитета, с все более ясно обозначавшимся размежеванием между культом Бога и культом Книги.

Национальные диаспоры, в отличие от эмиграций политических, идеологических или экономических, всегда играли значимую культурно-посредническую, культуроносную роль, безотносительно к тому, были ли принимающие цивилизации высокоразвитыми или полуварварскими, родственными или чуждыми. Но вряд ли даже классическая греческая диаспора начальных веков европейской цивилизации могла сравниться по духовным импульсам, по духотворности на протяжении столь длительного периода человеческой эволюции с рассеявшимся по всему свету народом Книги.

Однако, чуть ли не самой броской, многоупоминаемой особенностью этой диаспоры была дискриминация ее, в самом широком, неоднозначном, противоречивом смысле этого слова — от пресловутого запрета на профессии, на покупку земли и так далее, до институционализации оболбления ее через самые разные ограничения — прежде всего в жилище, одежде, участии в общественной жизни. При этом, правда, речь шла о весьма двойственном, переменчивом процессе. Если в первой, раннесредневековой стадии активной стороной выступали скорее сами евреи, которых инстинкт духовного самосохранения побуждал селиться вместе и выделять себя из окружения внешним обликом, как это делали и представители многих других исторических диаспор, то после крестовых походов и диких наветов во время эпидемий чумы изоляция стала принудительной, насильственной, обусловленной не только

политической волей церковных и светских властителей, но и фанатизмом местного населения. Однако, опосредованно, потенциально, в исторической перспективе мучительная эра гетто оказалась необходимой, узловым фазой гигантского подвига — подвига отнюдь не религиозного, а вполне земного, сугубо человеческого. И дело было не только в том (как это обычно изображают), что гетто, заставляя евреев сосредоточиться на относительно узком спектре занятий и профессий, породило исключительные традиции и потомственную высочайшую квалификацию в таких областях, как медицина, финансы, книжное дело, ювелирное искусство и т. п. И не только в том, что гетто, дескать, дало всей еврейской диаспоре некую коллективистскую, демократическую, либерально-гуманистическую закваску, инстинкт солидарности и взаимопомощи, что со временем сказалось на идейных, общественных и политических установках большинства народа. Несравненно большее, однако, в известном смысле сверхисторическое значение приобрело на самом деле другое воздействие гетто на психологию и общенациональную устремленность еврейства: реакцией на тотальное ограничение свободы личности неизбежно должно было стать то титаническое усилие по самоосвобождению, по тотальной самоэмансипации и самоиндивидуализации, по разрушению гетто как объективной реальности и как субъективного психического наследия, которое и превратило еврея нового времени в самого радикального и деятельного носителя гуманистического идеала, плюралистической культуры, новоевропейского начала. В том, что еврейский динамизм, развившийся в ходе многовековой борьбы с недвижимостью гетто, оказался одной из движущих сил модернизации и рационализации национальных экономик и мирового хозяйства, превращения их в современные рыночные структуры; крайнего ускорения ритма жизни, приведшего к размыву некоторых традиционных устоев традиционных обществ; далеко идущей интернационализации и космополитизации ключевых цивилизационных процессов, предвещающей возможность постепенного слияния всей



ойкумены в некую единую цивилизацию — во всем этом ретрограды-антисемиты не без известного основания усматривают один из решающих аспектов еврейского влияния на мировое развитие последних столетий. Они считают подобное влияние тлетворным, и с точки зрения романтической привязанности к Средневековью такое суждение не лишено логики. Правда, можно было бы напомнить, что аналогичную миссию во множестве стран всех континентов выполняла в свое время и немецкая диаспора, носительница этоса и пафоса протестантского мировоззрения.

Хотя в Варшаве 1936 года я был еще далек от мысли, что демонстративная ностальгия по гетто — не что иное, как своеобразное дублирование антисемитской позиции, поразившая меня картина и атмосфера еврейских кварталов вызывала во мне не только и не столько недоумение или внутренний протест, сколько недобрые предчувствия. С подобными предчувствиями связано и все позднейшее — по сей день — отношение мое к этому странному феномену. Сформулирую это так: есть одна наука, которой следует изучать и довоенные, и нынешние проявления столь стойкого тяготения к гетто, менталитета гетто, запоздалого патриотизма гетто — виктимология.

Подлинной диаспорой нового времени я считаю — и так я ощущал это уже тогда — именно ту общность, которая стала мощным источником энергии, а во многих случаях инициатором именно тех тенденций и линий мирового развития, которые охотно обозначались до недавних пор сомнительным словом «прогресс». Люди этой диаспоры являлись, да и являются, воплощением современного европейца или американца, не столько потому, что полностью ассимилировались с европейской или американской средой, восприняли стиль, темп, ритм эпохи, сколько потому, что ассимилировали эту среду, в своем отчаянном бегстве от Средневековья увлекли за собой эпоху.

В этом смысле те из евреев, что, оторвавшись от мира гетто, почувствовали себя потерянными в мире индивидуальной свободы и прибились к какому-нибудь новому сообществу, к какой-нибудь секте — в частности, к комму-

нистической —, заняли положение как бы промежуточное, но все же близкое по духу, по структуре, по самому типу к положению обитателей гетто. Наоборот, нерелигиозные сионисты, стремящиеся создать не государство-кибуц, а современную нацию, в моем понимании всегда были родными братьями, по воззрениям и душевному строю, тех, кто искал полноценную новую родину в странах изгнания.

Но мелькнувшее тогда сравнение с русским меховщиком в Париже повлекло за собой и другой ряд мыслей. Существовала ли когда-нибудь настоящая русская диаспора? А если существовала или существует, то какая ей выпала роль в общем движении истории?

Думаю, что отвечать на эти вопросы можно только с одной принципиальной оговоркой: здесь, как ни в каком ином случае, необходимо уметь различать между диаспорой и эмиграцией — и учитывать, что эмиграция, даже вынужденная, даже изгнанничество, лишь тогда принимает форму диаспоры, когда относительно большое число выходцев из какой-либо страны, из какого-либо этнического ареала поколениями оседает в ряде других стран, среди чужих этносов, и пуская корни, вживаясь, все же остается самим собой. Нельзя не видеть, что волны русских переселенцев прошлых столетий, будь то беглые крестьяне, казаки, первопроходцы сибирских далей или колонисты на вновь присоединенных землях, устремляясь почти исключительно на восточные и южные окраины Империи, поглощали фактически весь миграционный потенциал народа. Русские же завсегдатаи европейских гостинных да политические эмигранты царских времен ни по количеству своему, ни по статусу, ни по самой сути своей не могли подняться до роли цивилизационного фактора, каковым — и в результате прямого влияния, и в силу подспудной эманации — всегда оказывались диаспоры великих культурных народов. Но вот революция «вымела» из страны громадную часть интеллектуально и общественно активного, хозяйственно предприимчивого, европейски образованного, исторически сознательного

костяка нации. Иных изгнанников судьба забросила тогда в самые отдаленные углы обитаемого мира, где их силы могли, при благоприятных обстоятельствах, развернуться во-всю. В Западную Европу же буквально потоком хлынул цвет одной из мировых культур, к тому же переживавшей период беспримерного подъема и находившейся вот уже в течение нескольких десятилетий в фокусе заинтересованного внимания всего духовного сообщества мира. Тем не менее, диаспора, внезапно появившаяся на Западе при констелляции, казалось бы, по-своему весьма благоприятной, так и не переросла в нечто, сравнимое по историческому значению с диаспорами еврейской или той же немецкой. Почему?

Одна причина лежит на поверхности и приводится, наверное, всеми авторами, когда-либо рассуждавшими на эту тему: в послереволюционной эмиграции на передний план выступали идеологические и политические страсти, настолько плотно переплетавшиеся с идеологическими бурями и политическими бедами эпохи, что подлинное, духовное призвание зарождавшейся диаспоры не воспринималось, не могло восприниматься окружающими народами в полной мере и в должной перспективе. Жизнедеятельность диаспоры, как самостоятельного, саморазвивающегося организма, терпела от этого непоправимый урон: ее стали оценивать преимущественно, если не исключительно, с точки зрения воздействия на текущие — а ведь действительно судьбоносные для европейской цивилизации — события. И было лишь естественно, что в известной части духовной элиты это непонимание глубинной сути «русской миссии», истолковывавшееся несколько примитивно, как грубое нежелание понимать, вызывало все большее отчуждение... А потом, в тридцатые уже годы, предвоенное напряжение вылилось в острейшую конфронтацию внутри самой эмиграции — прежде всего между собственными фашистами и антифашистами; а среди последних оказались, как известно, и такие, которые поверили, будто Сталин — главный антифашист, и с болью в душе за прошлые свои «заблуждения» решили «иску-

пить» их верной — иногда и секретной — службой. Так диаспора, вырвавшаяся из первой волны эмиграции, была внутренне обессилена и внешне ущемлена, оттеснена, исключена из магистральных процессов истории.

А так называемая вторая волна эмиграции, образовавшаяся в ходе послевоенных пертурбаций из невозвращенцев и из остатков гитлеровских приспешников, благополучно ушедших от сетей союзнического розыска, по многим своим характерным, изначальным чертам не могла стать ни ростком новой диаспоры, ни таким пополнением первой эмиграции, которое придало бы ей новый качественный статус, новое историческое, цивилизационное дыхание. Во-первых, общий духовный уровень, духовный потенциал новопришельцев был совершенно несоизмерим с уровнем и потенциалом того поистине великого, послереволюционного Исхода, и о каких-либо импульсах или стимулах, исходивших от военных беженцев, смешно было бы и говорить. Во-вторых, в атмосфере всеобщего ужаса перед преступлениями фашизма люди, оказавшиеся хотя бы косвенно, хотя бы в силу несправедливых подозрений связанными с этой мрачайшей страницей современной истории, предпочитали «не высовываться», удовлетворяясь устройством личной, семейной, узкопрофессиональной своей жизни и избегая, как правило, объединений не только организационных, но и чисто умозрительных. В-третьих, в самой же первой эмиграции произошли перемены, как социальные, так и идейные, заставлявшие старых эмигрантов смотреть на новых с крайней настороженностью, не говоря уже о том, что и старая эмиграция частично стала отказываться от самой себя, от своего исторического идентитета, от врожденной своей сущности (даже возникло довольно широкое движение возврата на сталинистскую родину), а частично полностью ассимилировалась, рассосалась, утратила и язык, и психологическую связь с русским миром. В-четвертых, в условиях «холодной войны» широчайшие круги Запада стали относиться с подозрением и недоброжелательством ко всему русскому, опасаясь, в частности, да не без основания, как потом вы-

яснилось, и проникновения вместе с беглецами хорошо замаскированных советских агентов...

Напротив, известное возрождение, выпрямление, новоосмысление русского зарубежья наступило с нарастанием третьей, диссидентской волны эмиграции, внесшей сначала лишь некоторое возбуждение в застоявшуюся атмосферу, но потом, с резким скачком числа вырвавшихся из страны интеллектуалов, в особенности же после изгнания Солженицына и начала массового выезда евреев, ставшей одним из весьма ощутимых, существенных моментов международной политической, идейной и общественной жизни. Воскресли прежние надежды, стремления, интересы, начали восстанавливаться прежние внутридигаспорные связи, прежние каналы взаимовлияния с духовным миром Запада. Характерной, многозначительной движущей силой в становлении этого нового феномена сделался как раз еврейский компонент, который не отрешался ни от своего еврейства, ни от своей русскости, распространяя русские духовные страсти, русскую культурную диаспору даже на Израиль. Но настоящую, полноценную жизнь вдохнул в диаспору лишь небывалый поток искателей богатства, спасения или спокойствия, хлынувший на Запад, Юг и Восток в самые последние годы, с крахом Перестройки и облегчением выездных формальностей. Неслучайно одновременно беспрецедентные масштабы приняла заинтересованность самых разных кругов внутри страны в возведении мостов к старым, давно сложившимся в чужих краях островам и островкам русской оседлости, русской наследственной культуры. Сейчас самарский меховщик, выехавший в Париж, отнюдь не обязательно должен был бы офранцузиться, женившись, пусть, на француженке и даже получив гражданство Республики. Он в Диаспоре!

Но тогда, в Варшаве, я жалел тоскующего по матушке своей и по волжским берегам, не восхищающегося ни Лувром, ни Сенной, стареющего на чужбине меховщика.

Вместе с тем, я остро сознавал несравнимо большие потенции и возможности, заложенные в еврейской диаспоре — и тем сильнее был обескуражен геттообразным

бытом и бытием этих душных кварталов и улочек. Удивление же по поводу сквозившего из любых бесед наших с хозяевами квартиры, с кучером, с лавочником упорного нежелания их как-то всерьез задуматься над опасностями, таившимися в этом бескрылом, незащищенном, безвыходном образе существования — это удивление мое достигло предельной мучительности и потому заставило меня несколько раз вступать в довольно-таки странные споры с обитателями этого квази-гетто — однако, было это лишь недели две спустя, когда мы с матерью вернулись в польскую столицу после не совсем понятной поездки в курортный городок Чехочинек.

#### 34.

Хотя цель поездки была мне заранее известна — мать хотела встретиться с одним из своих братьев, с которым не виделась уже бог знает сколько лет —, мне и поныне неясно, почему для этого потребовалось исключить из нашего скудного, четырехнедельного бюджета времени половину или около того, почему брат не мог приехать в Варшаву или, напротив, мы не могли навестить его по пути, скажем, в Краков, который я так жаждал посмотреть — и не разу в жизни так и не увидел!

Брат матери действительно приехал как-то под вечер, это был невысокого роста, лысоватый, с глубокими морщинами на лбу и очень живыми, очень добрыми глазами человек лет сорока, он прослезился, целуя меня, затем провел всю ночь в оживленной, тысячетемной, беспорядочной беседе с матерью, то и дело вспоминая какой-нибудь эпизод детства или какого-нибудь общего знакомого — я ближе к полуночи заснул, а на следующее утро было долгое, тяжелое, почти молчаливое прощание. Не знаю, успели ли они поговорить и о будущем. Но без слов было ясно, что они никогда больше не увидятся. В последний момент, на вокзале, дядя нежно обвел рукой мой подбородок, щеку, висок...

Сам же курорт Чехочинек вспоминается уютным го-

родком с красивым белым зданием курзала и спокойными, ухоженными, большей частью малолюдными улицами. В парках и по аллеям медленно, размеренной походкой, с важным видом разгуливали пожилые и не очень мужчины и женщины, поляки и евреи вперемежку, а когда встречались знакомые, то господа целовали дамам руку. Таких городков в Европе сотни и сотни, в них хорошо отдыхать, но мне всегда больше по нраву были черноморские курорты типа Сочи, прежней Гагры или Мисхора — а тут еще разочарование, связанное с Краковом! И все же, все же... Как раз на этом фоне выделяются тем рельефнее два или три памятных эпизода.

На привокзальной площади стоял в ожидании пассажиров длинный ряд извозчиков с легкими, изящными дрожками. Мы подошли к переднему, и он, видно, сразу же распознал в нас новых посетителей славного курорта — а то, может быть, и иностранцев. Во всяком случае, первое, что он сказал матери (настолько я все-таки улавливал смысл польской речи): что он может порекомендовать «пани» отличную небольшую гостиницу, где все «подомашнему». Мать согласилась, и буквально через несколько минут лошадь сама — похоже, по привычке — остановилась перед симпатичным, обвитым плющом, двухэтажным домом с какой-то затейливой надписью. В глубине двора виднелся большой сад с развесистыми старыми деревьями. Да и кругом вся улица была в зелени.

Хозяйкой отеля оказалась молодая, красивая, с утонченными чертами лица и подчеркнута грациозными движениями холеных рук, любезно улыбающаяся женщина, неплохо, хотя и с акцентом говорившая по-немецки. Я сразу почувствовал к ней расположение. А когда она своим четким и вместе с тем мелодичным голосом попыталась произнести фразу-другую по-русски, специально для меня ведь, она окончательно завоевала мое сердце.

Прошло несколько дней. И вот я нечаянно стал свидетелем потрясающей сцены, показавшейся мне вначале, правда, чуть театральной, пока я не понял, что она — обыденна, заурядна, предусмотрена «правилами игры». Перед

хозяйкой, одетой теперь не в элегантно-будничное платье, в котором она принимала постояльцев, а в стилизованно старомодный, с золотой тесьмой и шнурами, темносиний халат, стояла, спокойно и неподвижно, крепкотелая, с большими серьезными глазами и правильными чертами лица, загорелая девушка в простом платье без рукавов — а хозяйка с поразительной ритмичностью и неожиданной силой хлестала, снова и снова хлестала ее всей ладонью по щеке. За все годы в Германии, где каждая уважающая себя семья обязательно держала служанку, и в Москве, где в любой коммунальной квартире можно было встретить домработниц, в тех условиях полностью зависевших от хозяек-москвичек, мне ни разу не приходилось наблюдать такого рода наказание, напоминавшее известные романтические описания помещичьих нравов времен крепостного права. А вот — в столь благополучном и благопристойном польском городке... Картина эта не только взволновала меня тем, что переносила как будто во времена, культурным, эстетическим, поэтическим образом которых я бредил, не только смутила мой взгляд на красоту и справедливость тем, что обе женщины были красивы, не только задела привитое мне представление о классовой ненависти тем, что жертва не проявляла ни малейшего признака возмущения или даже простого недовольства — меня буквально взорвал контраст между видимой привычностью, будничностью, приземленностью происходящего и его символическими смыслами. А вместе с тем: какая откровенность! И какое лицемерие и фарисейство у нас дома, в стране «без эксплуатации человека человеком», где почему-то десятки, сотни тысяч девушек добровольно идут в услужение к хозяйкам, которые сами-то как живут! Нет, везде и всюду и всегда, во всех обществах и всех нациях царил и царит инстинкт господства человека над человеком! Среди зеленых изгородей и пышных деревьев Чехочинка эта мысль преследовала, тревожила и чем-то — утешала меня.

Менее абстрактны были недоуменно-беспокойные размышления, вызванные другим, случайным знакомством.



В нашем же отеле остановилась супружеская пара из Берлина с двумя дочерьми, одной из которых было лет десять-одиннадцать, а другой не больше девяти. Высокий, статный, молодцеватого вида, несмотря на свои 35 или 40 лет, господин этот и его почти столь же высокая, стройная, хотя несколько пухлощекая супруга да их белокурые, с длинными вьющимися волосами, чистенькие, пышущие здоровьем девочки, казалось, прямо сошли с пропагандистского плаката доктора Геббельса, прославляющего превосходство чистой арийской расы. Я ничуть не сомневался, что это самые что ни на есть густопсовыые нацисты, и старался как можно меньше попадаться им на глаза, а когда все-таки встреча становилась неизбежной, я демонстративно отворачивался. Как же я был ошеломлен, когда однажды мать — а по ее удивленному лицу я понял, что она не шутит — шепотом сообщила мне, что я ошибаюсь: господин Готлиб, оказывается, немецкий еврей, владелец мебельного магазина в фешенебельном берлинском районе Шарлоттенбурге! После такого сюрприза, показавшегося мне все же уж слишком невероятным, я стал невольно чуть более внимательно приглядываться к девочкам, и тогда я заметил на шее у старшей, Софьи, тоненькую золотую цепочку, на конце которой сверкала маленькая шестиконечная звездочка — звезда Давида. Вскоре Готлибы пригласили нас к себе на ужин. Угнетенный, временами меланхоличный голос, которым господин Готлиб рассказывал о своих невзгодах и горестных думах, странно контрастировал с его спортивной внешностью и ловкими, уверенными движениями. Вновь и вновь он повторял, что не видит выхода, что нигде в мире он не сумеет «начать все сначала», что ему лишь бы пристроить за границей детей, а там хоть возвращайся к профессии резчика по дереву, и то — навыки он наверняка давно утратил. Меня раздражала тоскливая беспомощность, безропотность этого столь энергичного на первый взгляд человека перед лицом не столько злой судьбы, сколько злых политических сил — против которых он, как я себе представлял, мог и должен был восстать. Только как? Я не

мог не сознавать, что этот вопрос относился отнюдь не к нему одному, что вообще один в поле не воин, что какой-нибудь единичный, пусть громкий, героический акт протеста скорее всего никаких результатов не даст. И все-таки я не мог примириться с тем, что такой вот человек не ищет путей борьбы, не думает о сопротивлении, не помышляет о каком бы то ни было объединении с другими, точно так же доведенными до отчаяния людьми ради отчаянной самозащиты, ради отчаянных актов возмущения. Но я не решался высказать эти обуревавшие меня мысли вслух. А тут у меня вдруг блеснула идея, бездонную глупость которой я уяснил себе уже десять минут спустя — она могла появиться только у сущего ребенка, который при всей склонности к критическому сверлению действительности и прекраснодушному историческому умозрению все-таки оставался продуктом советской среды, существом сугубо советским: я преподнес бедному оторопевшему берлинцу на полном серьезе целое поистине дикое рассуждение, почему ему лучше всего переехать к нам, в Советский Союз — у нас-де ценят искусных людей, особенно художников, вот и резчиков по дереву, конечно, но главное, в нынешних условиях как-никак наша страна оказалась основным оплотом антифашистских сил, и только таким образом он сможет непосредственно участвовать в уничтожении гитлеризма — как подобает мужчине. Какой ужас обуял мою мать, до этого не без озабоченности наблюдавшую постепенное мое превращение в «антисоветчика», можно вообразить — к счастью, она проявила замечательное присутствие духа и незаурядный такт, обращая мою идиотскую речь в некую не совсем удачную шутку.

Но с тем же господином Готлибом был связан и другой эпизод, когда, наоборот, я спас положение после его наивного ляпсуса. В дождливый день мы сидели вчетвером с его дочерьми в каком-то маленьком кафе — кажется, мы были и единственные посетители. На небольшом возвышении в конце зала смычковый квартет, состоявший из грустного пожилого человека и трех модно одетых серьезных парней, разучивал какую-то танцевальную музыку. Я

сразу же обратил внимание, что они, к тому же довольно громко, говорят между собой по-русски. Вдруг один из них кивнул в нашу сторону, улыбнулся девочкам и с огненным темпераментом, лихо и виртуозно исполнил какую-то разудалую скрипичную пьесу. Господин Готлиб был в восторге. Когда отзвучала последняя нота, он захлопал в ладоши и произнес самым благожелательным, даже слегка торжественным тоном, безбожно, разумеется, искажая русские звуки:

– Спасибо, товарищ!

Музыканты застыли и побледнели, как мертвецы, а скрипач тут же густо покраснел. Я от стыда не знал, куда деться — хотелось исчезнуть, залезть под стол, что ли. Но тут что-то нашло на меня, нечто похожее на вдохновение, и я к изумлению окаменевшего квартета выдал небольшую речь в нарочито напыщенном стиле посредственных поэтов прошлого века: русскому человеку, что и говорить, несладко слышать, как иноземцы не к месту употребляют подобные слова, но я душевно прошу отпустить просто-душному моему взрослому другу невольный грех, ведь он никому обиды наносить не хотел, да если подумать, то ведь «товарищ» — древнее, почтенное и сердечное русское слово. Эффект моего короткого выступления превзошел все ожидания, виолончелист громко и весело рассмеялся, остальные заулыбались, напряженности как не бывало... А ведь они меня наверняка приняли за самонадеянное дитя эмигрантов!

### 35.

Вернулись мы в ту же еврейскую часть Варшавы — но обстановка, атмосфера, люди, с которыми мы сталкивались, были не совсем те, не совсем такими же. Чуть-чуть, казалось, изменилось дыхание города, его цвета, гамма его звуков. С одной стороны, мы и сами в остававшиеся две недели вели куда более подвижную, активную, живую жизнь, чем в те мгновенно промелькнувшие немногие

дни после прибытия, с другой же стороны, евреи Варшавы были взбудоражены — взбудоражены целым рядом действительно необычных, незаурядных событий, происходивших за пределами их города и их страны.

Да, с одной стороны, нам надо было купить одежду — много одежды, ибо мои трехгодичной давности представления, что в Москве все вещи красивее, добротнее и дешевле, чем в гнилом мире капитала, давно были, увы, наглядно, слишком наглядно опровергнуты жестокой реальностью. А чтобы купить много одежды — и для отца, и для меня, и для себя —, матери необходимо было продать, да повыгоднее, тяжелую каракулеву шубу, которую мы привезли с собой. Очевидно, она еще в самом начале, сразу же по приезде, завязала какие-то связи или попросила какого-то знакомого разведать почву, нащупать возможных покупателей, а может быть, дала объявление в газету. Потому мы «по делу» встречались с самыми разнотипными людьми — богатыми панями и пани, которые не прочь были обзавестись по случаю лишней шубой — естественно, их мы «из уважения» посещали в их апартаментах —, и посредниками, комиссионерами, торговцами, которые сами приходили, как правило, к нам в номер (теперь мы остановились в небольшой дешевой гостинице посреди еврейского квартала). Так мне в самом деле повезло — я увидел польскую столицу в разных ее обличьях, в разных ракурсах, в разных ипостасях.

С другой стороны, меня, как и всех вокруг, изо дня в день тербили огромные, сплошь и рядом истерические заголовки и кричащие подзаголовки газет: разгоралась гражданская война в Испании — о военном мятеже я слышал еще в Воронках, но теперь пресса захлебывалась сообщениями о крупных (польское слово было того же корня, что русское «великий»!) битвах, да начали поступать и тревожные сведения о германской и итальянской поддержке мятежников; в Берлине апогея достигали олимпийские игры, и верх над арийскими спортсменами брал негр Джесси Оуэнс — назло Гитлеру, как говорили варшавские евреи; в далекой Палестине все свирепее становились воору-

женные столкновения между еврейскими поселенцами и местными арабами, фанатизированными проповедями муфтия Иерусалимского, и за этой, самой первой, арабо-израильской войной здесь следили с лихорадочным беспорядком. Но как ни возбуждали людей все эти экстраординарные известия, подлинное потрясение, высший накал страстей вызвали два всезатягивающих события: в Швейцарии студент-еврей убил вождя фашистской партии; а в Москве вдруг разразился судебный процесс, где обвиняемыми были те, кого здесь считали воплощением самой идеи коммунизма, самого понятия революции — два еврея-вождя, имена которых вот уже почти два десятилетия обосновались на страницах газет, да в совершенно другом качестве, вызывая совершенно другие ассоциации и другие чувства. Именно об этих двух новостях всюду и везде — в коридорах отеля, у стойки в буфете, у ящика с ключами в вестибюле, перед газетными киосками, в трамвае — вспыхивали горячие дискуссии, обменивались не столько мнениями, сколько тезисами и теориями. Я прислушивался — при этом отлично понимал евреев, так как варшавский выговор идиша был очень близок немецкому, но лишь догадывался, о чем говорили при мне по-польски, хотя я газеты сразу же читал довольно бегло, перескакивая через все слова, не напомиравшие, так или иначе, какие-нибудь русские корни — общий смысл, уверен, я всегда улавливал при этом правильно!

Но то, как окружающие трактовали, в большинстве своем, эти две жгучие темы, как они видели мотивы, суть, контекст этих действий, какие предсказывали последствия — это настолько вывело меня из себя, что я стал вмешиваться в разговоры, вставляя замечания то агрессивные, то ядовитые, то назидательные, причем таким уверенным, решительным тоном, что во многих случаях ко мне отнеслись как к серьезному собеседнику, не замечая не только возраста и языка, но и ребяческой горячности, запала улично-школьного спорщика. Но и я вкладывал во все, что говорил, серьезный смысл.

В реакции на известие о швейцарском выстреле пре-

обладала вьезшаяся веками психология гетто. «Это бумерангом ударит по евреям», «Теперь Гитлер окончательно взбесится», «Как бы нам не пришлось расплатиться за такое безумство», «Что теперь сделают наши польские антисемиты?» — это были наиболее типичные реплики. Правда, встречалось иногда и противоположное настроение: «Только таким образом можно отбить у них охоту травить евреев», на что обычно возражали «Таким путем ничего не добьешься» или «Второй раз это уже невозможно». Меня же постоянно мучило свежее еще воспоминание о господине Готлибе в Чехочинке, о ярости моей при виде его беспомощности, о постыдно нелепом моем совете по поводу его жизненных планов. И я в Варшаве стал твердить всем, кто готов был меня слушать, что евреи должны сами уметь постоять за себя, должны сделаться настоящей силой, с которой бы все считались. Никто не относился к этим призывам моим иронично, но все вздыхали скептически, все отвечали, точно мудрецы, примирившиеся с судьбой, что это в условиях Польши невозможно. А ведь были в это время в Варшаве и другие евреи, о которых я не знал, которых мне встречать так и не посчастливилось, и готовился там к своему подвигу юноша по фамилии Анелевич... Где-то совсем рядом...

Иной была ситуация, когда речь заходила о московском процессе. Нетрудно было предвидеть, что советскую гражданку, случайно попавшую в эти дни в Варшаву, будут осаждать всякими вопросами знакомые и незнакомые — как-никак в этой сенсации всеми ощущалось нечто большее, чем обычный уже для нашего бурного века крутой политический поворот. Мать заранее решила избегать, как бы не замечать вопросов на каверзную эту тему, а в случае невозможности, отделяться безобидными, ничего не говорящими формулами. Однако, оказалось, что такой путь самозащиты не столь гладок, как она надеялась. Люди были вьедчивы, задеты за живое, действительно страстно заинтересованы в происходящем — и не отставали. Тогда ей пришла здравая мысль использовать меня в качестве своего рода громоотвода — когда к ней обраща-

лись за очередным разъяснением, она всякий раз кивала на меня и утверждала, что именно я осведомлен о всех тонкостях дела, как никто другой. И я с жаром бросался в бой — прежде всего, мне страшно льстило сосредоточенное внимание взрослых, но вместе с тем меня бесили почерпнутые, конечно же, из газет представления о советской жизни, которые преобладали буквально во всех слоях варшавского населения. А газеты ничтоже сумняшеся писали о возмущении русских людей процессом, о слухах насчет каких-то демонстраций протеста, а то даже бунтов в различных городах, да чуть ли не в самой Москве! Как было слушателей моих убедить, что это абсолютно невысказано, что все это дикая фантазия, попытка выдать желаемое за сущее? Я постоянно сознавал, что для тридцатилетних, а тем более сорокалетних и старше варшавян имена Зиновьева и Каменева, не говоря уже о непрерывно упоминавшемся и на заседаниях суда, и в комментариях прессы имени Троцкого, являлись в куда большей мере, чем для меня, московского мальчика, символами, а невероятная скоротечность процесса и смертный приговор всем обвиняемым — умопомрачительным вызовом любому правосознанию, любой политической и юридической этике. Поэтому я направлял все свои усилия, все свое мальчишеское красноречие на то, чтобы доказать этим людям одну истину: у нас никто уже не отождествляет, как они, Троцкого, Зиновьева и Каменева с советской властью, у нас давно привыкли к быстрым и жестоким судебным расправам, у нас, одним словом, мозги другие... Потом, в Москве, мать говорила Иде (а та впоследствии рассказала об этом мне), что все мои собеседники в Варшаве, к каким кругам они бы ни принадлежали по социальному или интеллектуальному уровню, и считали ли они себя друзьями или критиками Советского Союза, были едины во мнении, что я — политический вундеркинд! Значит, и здесь они не понимали разницы между своим миром и нашим миром — не догадывались, что в том и в другом мире политик должен обладать диаметрально противоположными качествами...

Разумеется, варшавские переживания отнюдь не ограничивались политическими диспутами. И не ежедневной бегом по еврейскому району. И не посещениями роскошных квартир потенциальных покупателей нашей шубы — хотя и это было делом по-своему захватывающим. И не гордым хождением по магазинам, где нас, ставших наконец людьми денежными, встречали как ангелов небесных.

Меня удивляло собственное мое ощущение польской столицы, в корне изменившееся по сравнению с тем незабытым днем первого знакомства — зимним днем идиллического 1934 года, когда мы проезжали через Варшаву по дороге в Москву. Конечно, тогда мы по воле случая, а может быть, по выбору матери оказались в исключительной, аристократической, нереальной части города, представлявшей как бы исторический идеал Варшавы; теперь же мне открылись другие места, другие люди, другие интересы, другая жизнь — это была современность в обрамлении средневековой памяти и ностальгия в суете повседневных забот, живописность красоты и живописность безобразного, необыкновенность и обыденность в одном лице. И конечно же, тогда я был еще сущим ребенком, воспринимавшим все новое как некую экзотическую картинку, совершенно лишенным третьего измерения в мышлении, за прошедшие же два с половиной года я успел сделать, в этом нет никакой похвальбы, гигантский скачок в своем развитии, стал, без преувеличения, самостоятельным, кое-что знающим, многое видящим и все обдумывающим человеком. К тому же, конечно, приезд из Берлина и приезд из Москвы — две психологически далеко не одинаковые ситуации, а эта разница уже сама по себе обуславливала различное восприятие всего и всех. Но главное все-таки расхождение в конечном счете носило чисто умственный, оценочный характер: тогда мне чудилось, что благостно-мирная, озаренная солнцем картина, называемая Варшавой — лишь некий намек, лишь предвестие беспредельно солнечного края, который ждет меня к востоку от Польши, который я, счастливый, увижу на следую-



ший же день! — теперь же, наоборот, я неосознанно, безотчетно, интуитивно искал здесь, в Польше, что-то вроде примера, вроде альтернативы для своей родины, оказавшейся не столь уж солнечной — и я такой альтернативы не видел, не ощущал. Какой интересной Варшава ни была, как жадно я ни впитывал ее токи и ритмы, как активно ни пытался воздействовать на ее людей — жизнь ее оставалась мне чужой и глубоко чуждой, и я знал, что в такой жизни всегда чувствовал бы себя посторонним. Но это не означало, что я мог бы относиться к ней, как в тот первый раз, равнодушно — как к чему-то для меня умственно постороннему, нейтральному, мимолетному.

Были вещи, которые меня раздражали, были такие, которые казались мне просто смешными, были и такие, которые вызывали — с высоты моего мальчишеского превосходства — презрение.

Самой, пожалуй, гротескной особенностью варшавян — мужчин и женщин, поляков, евреев и немцев, действительно состоятельных и очевидно нищих — выглядело их страстное, навязчивое, вошедшее в плоть и кровь стремление показаться богатыми, как можно более богатыми, выдать себя за родственников чуть ли не рокфеллеров, притвориться обладателями каких-то таинственных, никому не ведомых сокровищ. Высшим предметом гордости человека им представлялась тугая мошна, будь она унаследованной или нажитой честным или не совсем честным путем. А они хотели гордиться собой, или на худой конец заставить других поверить, что они имеют право гордиться собой.

Вот, помнится, жена поляка-торговца, кажется, фарфоровыми и стеклянными изделиями, принимавшая нас в своем салоне, увешанном старыми, мещански-китчеватыми масляными картинами в бидермейерском стиле прошлого века. Она долго, на довольно приличном немецком языке уверяла нас, что несмотря на свое происхождение из «превосходного австрийского католического рода» никогда ничего не имела против евреев, а затем потчевала нас бесконечными рассказами о блестящих торговых операциях

своего супруга во Франции, Англии и даже Америке («да, да, в Америке, в самой Америке!»), о еще более блестящих былых делах своего отца, который, оказывается, в свое время был поставщиком российского императорского двора и самых что ни на есть сливок русского аристократического высшего света, о миллионах в царских бумажных деньгах, которые она по сей день хранит в чугунном сундуке в подвале вместе с другими сказочными ценностями («Может быть, вам пригодятся? Я охотно вам дам некоторую толику — попытка не пытка. Что вы говорите? Абсолютно ничего эти деньги больше не стоят в России? Невероятно!»), о неописуемо роскошном лимузине, который она подарила своему сыну, ведь тот учится в Швейцарии на банкира. А шубу нашу она все-таки не купила — к сожалению, как она выразилась, та показалась ей чуть-чуть короткой, возможно она и не права, но люди сейчас так критически смотрят, как кто одевается! Чтобы мы не дай бог не подумали, что она стеснена в деньгах или жадничает, она достала из пузатого стеклянного шкафа с резными, позолоченными ножками («Подлинное барокко!» бросила она как бы походя) действительно красивую немецкую книгу и широким жестом протянула ее мне («Люблю дарить! Если даже одарить всех детей в мире, все равно бедной не стану!»).

Или вот тяжеловесный, лысый, весь лоснящийся от жира купец-еврей, который, наконец, купил нашу шубу. Когда он расплачивался, то как будто невзначай так широко открыл бумажник, что мы не могли не заметить, как в нем туго набита каждая ячейка, набита крупными банкнотами, да не только польскими, так что в этом маленьком кожаном деньгохранилище и на самом деле наличествовала, по-видимому, сумма, во много раз превосходившая стоимость шубы. Но и этого ему показалось недостаточно. С небрежной улыбкой, как будто вспомнил о каком-нибудь не стоящем особого внимания пустяке, он заметил, что, конечно, среди мехов его супруги и много каракулевых, но не совсем такого оттенка, как наша шуба, поэтому он решил устроить ей небольшой сюрприз и заодно помочь

немного и нам. Но впрочем, еще больше, чем меха, его супруга любит бриллианты, и вот он много раз слышал, что Россия очень богата драгоценными камнями, так он подумал, не поехать ли ему разок в Москву и закупить там побольше камней и ювелирных изделий, чтобы доставить супруге настоящую радость? Что мать на этот счет может посоветовать? Ах, она ничего не знает о таких делах? Как жаль! А то ведь так трудно стало по-настоящему, с размахом тратить деньги...

Однако, поистине жалкое впечатление производили потуги мелких лавочников, владельцев небольших, иногда крохотных магазинов, набитых доверху товарами, но явно не процветающих, изобразить из себя если не баснословных богачей, то людей, связанных родственными или деловыми узами с самыми высокими финансовыми сферами. А ведь экономический кризис, кризис перепроизводства бросался в глаза здесь буквально на каждом шагу, и фанфаронады наивных лицедеев, неспособных сбывать свой действительно первоклассный, но уже порядком залежалый товар, составляли на этом фоне печальный, плачевный спектакль. До чего доходило их отчаянное стремление продать, продать, продать, с прямо-таки умопомрачительной живостью показала случившаяся с нами курьезная сцена.

Когда мать нашла долгоискомого покупателя на шубу, она поделилась своей радостью с хозяином гостиницы, а тот, видно, не преминул рассказать об этом своим друзьям — торговцам одеждой, обувью, галантереей. Во всяком случае, на следующий же день нас стали останавливать на улице, с восторженными или умоляющими глазами приглашать «хоть на минутку» к себе в «самый лучший, с самыми модными товарами, самый дешевый магазин во всей Варшаве». А как-то вечером — мы только что, помнится, вернулись из города — в наш номер постучали. Мать открывать не хотела, но мужской голос за дверью настаивал, а затем, перейдя с польского на идиш и с авторитетной интонации на таинственный шепот, сообщил, что ему поручено сказать что-то очень важное,

от чего зависит наше благополучие, наша жизнь. Когда мать в конце концов решила и приоткрыла дверь, в комнату с непостижимой быстротой ворвались двое, на которых непостижимым образом были нагружены целые горы самых разных костюмов, фуфаяк, пальто, пуловеров, брюк, юбок и бог знает еще чего, и все это они в мгновение ока вывалили на наш не очень-то массивный стол. Мать, ошеломленная, сначала донельзя возмущенная, хотела их выпроводить, но они не отступали, один из них что-то возбужденно, горячо доказывал ей по-польски, и волею-неволею ей пришлось, чтобы избавиться от них, кое-что купить, сперва всякие мелочи, а потом и серо-коричневое мелкоячеистое теплое пальто для меня — в котором я затем проходил пять московских зим, прожил ленинградскую блокаду, гулял в морозные дни и ночи в далеком Самарканде и в октябре сорок третьего приехал, вконец потрепанный, в Ленинабад.

Но лихорадочная погоня за деньгами, судорожные фантазии о богатстве, болезненная гордость доходами — все это имело еще один, весьма специфический аспект: некое истерическое презрение к бедности. Озадачивающий и вместе с тем показательный, омерзительный эпизод запомнился мне чрезвычайно ярко:

Как-то раз ближе к вечеру мы с матерью забрели на улицу еврейской бедноты, которая называлась Ставки. Одна из дверей, на уровне тротуара, была широко открыта. Я взглянул вовнутрь, но в первое мгновение увидел только согбенную фигуру старика в ермолке, с длинной седой бородой и длиннущими пейсами, который с огромным напряжением вгонял увесистым молотком гвоздь в подошву какого-то башмака; тут я заметил валявшуюся вокруг него по всему полу обувь, а уже затем в глубине помещения худенькую, не столь старую женщину в черном халатце, сидевшую на кровати и дававшую грудь младенцу; вокруг нее возились трое или четверо ребятишек, тельца которых были едва прикрыты какой-то неопределенной, не по росту одеждой; кровать оказалась единственным предметом мебели, занимавшим чуть ли не половину всего

пространства; второй двери, кроме выходявшей на улицу, в комнате как будто не было. Такой картины я никогда не видел — как-никак, люди в лохмотьях, валявшиеся за два года до этого на улицах и в подъездах Москвы, были беженцами, выгнанными из родных мест страшной катастрофой коллективизации, а вот эта нищета, эта вот катастрофа производила такое тягостное впечатление прежде всего потому, что в ней чувствовалась привычность, неизменность, безысходность, вечность. Мать заметила мою удрученность и, сказав «На этой улице можно многое понять, здесь все без исключения так живут», взяла за плечо и повела дальше. Уж мне ли не было знать, какие жилищные условия господствовали в Москве, но у нас сверхперенаселенность приобрела характер некоего естественного бедствия, от которого так или иначе страдало подавляющее большинство, здесь же это было каким-то демонстративным уделом изгоев. И как бы в подтверждение моим мыслям произошло вот что. Нам навстречу шли трое — коренастый молодой человек в элегантно, прекрасно сидящем на его широких плечах, светло-сером костюме, и с обеих сторон под руку с ним две девицы чуть выше ростом, в пестрых или переливчатых платьях, тщательно покрашенные и искусно причесанные, и они чему-то шумно смеялись! Уже само появление этой веселой и явно благополучной компании именно в этом месте сразу показалось мне своего рода вызовом, а когда молодой человек что-то невнятно сказал — говорил он по-польски — и его спутницы разразились нарочито громким залпом смеха, я не сомневался более, что они специально пришли сюда, чтобы этим своим хохотом, всем своим поведением дразнить и унижать бедных. И я не ошибся. Они остановились перед той самой открытой дверью, за которой сидел сапожник, и стали развязно, с явно издевательским гоготанием, подчеркнуто бесцеремонно показывая пальцем внутрь комнаты, что-то во весь голос обсуждать. Психологической подоплекой этой сцены мог, безусловно, стать антисемитизм — однако, трио это как-никак прошло и мимо нас, и мимо высокого, представительного, добротного одетого бо-

родача в широкополой черной шляпе, стоявшего на углу, ничем нас не задевая, не обращая на нас ни малейшего внимания.

Впоследствии мне не один раз приходила мысль: а ведь мои родители выросли в подобной же среде, и то, что они сумели от нее освободиться — освободиться и в сознании своем, и в самих инстинктах, привычках, рефлексках —, нельзя не расценить как знак исторического пробуждения, всеодолевающей духовной жажды, огромной силы воли...

Другой Варшавы, послевоенной, я так и не увидел. Однажды — в 1976 или же в 1979 году —, когда мы с Джеммой возвращались из Восточной Германии, была объявлена часовая стоянка поезда на одном из варшавских вокзалов. Очень хотелось съездить на такси в город, но мы все-таки не решились — вдруг не найдем обратного такси, это была бы катастрофа... А поезд простоял битых три с половиной часа.

### 36.

Если тревожные мои предчувствия при виде такой своеобразной, вневременной, диковинной, чтобы не сказать нереальной, еврейской жизни в Варшаве были несомненно — и логически, и чисто эмоционально — связаны с той подлинной, непосредственно нависшей над всем этим миром смертельной угрозой, о которой не могли не думать ежедневно, ежечасно и сами обитатели этих геттообразных кварталов, то совсем иными были странно неуютные, не менее тревожные чувства, которые пронизывали тогда многих — а меня очень остро — при погружении в московскую жизнь. Могу свидетельствовать: у средних людей — и у меня в том числе — не возникало еще предощущения 37-го года.

Дело было в другом.

У всех, кто подвергался воздействию — и был хоть в какой-то мере чувствительным к этому воздействию — гигантского пропагандистского аппарата, разнообразных

средств массовой манипуляции умов, да и общей идеологической атмосферы, именно тогда, во второй половине 36-го, должна была уходить из-под ног твердая почва. Ибо во свODE внушаемых обществу идей, понятий и целеустановок исподволь произошел — но в момент полного проявления казался внезапным, ошеломляющим — некий крутой разлом, раскол, разброд. Во мне резкие колебания официального идеологического маятника порождали не столько недоумение или путаницу — ведь я уже давно вышел за круг привитых и прививаемых народу представлений и стремлений, а сферы моих истинных интересов все это не могло ведь никоим образом коснуться —, сколько какие-то неясные опасения, безотчетные страхи. Опасения и страхи, которые лишь много лет спустя оказались, действительно, обоснованными — увы, полностью обоснованными.

В самом деле, перемена психополитических ориентаций и установок сталинизма, его сигналов и символов, всей его лексики и семантики, не могла не представляться некоей революцией — или, если угодно, контрреволюцией — на фоне предшествовавшей ей неизменной, твердо и неуклонно целенаправленной, большевистской психополитики сталинской партии. Если гегемон-класс вытеснялся гегемоном-государством, социальный идеал национальной славой, лозунг «мировой революции» ударным словом «отечество», если отныне воспевались не польские и венгерские революционеры, а победившие их царские генералы, не матросы с «Потемкина», а матросы «Варяга», то это должно было казаться, по крайней мере поверхностному взгляду, коренным поворотом не только во всей стратегии, но и в самой сущности сталинизма, как исторической идеи и исторического феномена.

Неуверенность в такую оценку, в такое ощущение вносил, однако, ряд параллельных событий с их специфическим пропагандистским освещением. Первое место среди этих событий занимала, безусловно, гражданская война в Испании. Сегодняшнему человеку трудно и вообразить, трудно даже и поверить, какое внимание тогда было сосредоточено на далекой той войне. Ведь казалось бы, и

после 1945 года немало войн знали и Европа, и Африка, и особенно Азия — но кто у нас за ними всерьез следил? Разве какие-нибудь профессионалы, занимавшиеся данным регионом, или любители, превратившие наблюдение за ходом международных дел в некое хобби, схожее с наблюдением за футбольным чемпионатом. Тогда же на протяжении почти трех лет сообщения о больших и мелких сражениях становились фокусом страстного интереса, глубокого, драматического сопереживания десятков миллионов людей — это отнюдь не преувеличение, почерпнутое из саморекламы агитационной машины советского государства: всюду, где я бывал, я слышал озабоченные или уверенно-оптимистичные, но во всех случаях искренне заинтересованные, даже взволнованные разговоры об испанских военных делах — и на кухне дома, и на уроках и переменах в школе, и в шахматном клубе, и среди случайных встречных на улице, в метро, на трамвайной остановке, в очереди... Это было отдаленно сравнимо с душевным состоянием времен Отечественной. Вместе с тем, подобную же ноту былого интернационализма вносили в господствующий общественный настрой и некоторые другие моменты и мотивы вездесущей официальной пропаганды: так, в любых информациях о любых фактах международной жизни выпячивалась последовательная как будто антифашистская позиция советского правительства, и люди свято верили, что речь при этом идет о коренном, сердцевинном принципе этой власти, что иначе и быть не может. Теперь редко кто вспомнит, что и 37-й год проводился под знаком — точнее под предлогом — «борьбы с фашизмом» и это большинству отнюдь не казалось дикой ложью, что Кремль и впрямь поддерживал созданные в разных странах правительства «народного фронта», главной задачей которых объявлялось именно сопротивление наступающему фашизму, что и в официальных заявлениях, и в дипломатических нотах, и в газетных статьях советская сторона, почти в одиночестве, бурно протестовала против пресловутого мюнхенского договора и оккупации Гитлером Чехословакии, что была развернута — в это сегодня



особенно трудно поверить — широкая кампания возмущения по поводу еврейских погромов в «хрустальную ночь» 1938 года...

Такая двойственность идеологической ситуации в условиях диктаторского режима не могла остаться без последствий для умосостояния и душевного состояния людей, и только естественно, что постепенно нарастала волна различных химер, миражей и фобий. Правда, насколько я мог судить по своему все же ограниченному опыту, тогда, на пороге 37-го, в головах большинства еще преобладала инерция интернационализма, как-никак насаждавшегося и внушавшегося всеми средствами и силами в течение двух десятилетий. А историко-патриотическое наступление приобрело все более германофобский характер и поэтому легко воспринималось как особый элемент все того же антифашистского идейного похода.

И я был еще бесконечно далек от будущих своих осмыслений и толкований сталинских геополитических планов и психополитической тактики, которые жаждавший всемирного господства тиран (как я пытался в последние годы показать уже в целом ряде сочинений) менял в соответствии с реальным положением дел и соотношением сил, двигаясь от непритворного упования на некую эпидемию «пролетарских революций» вследствие катастрофического хозяйственного кризиса на Западе к надеждам на Гитлера, как разрушителя существующей «капиталистической» мировой системы, будто бы бессильного построить собственную жизнеспособную форму общества, а теперь, когда и кризис, и Гитлер обманули его ожидания, готовился к «священной войне» за те же цели уже под флагом антифашизма (но что он, убедившись затем в опережающем нарастании военной мощи Германии, вскоре решится на союз с Гитлером для совместного покорения человечества и раздела мира — этого никто, а тем более я, тринадцатилетний, тогда не мог предвидеть, предчувствовать, даже в минуты буйного раскрепощения фантазии!). И все же, мне кажется, я был менее наивен, чем окружавшие меня дома и в городе доверчивые души.

Может быть, это был след тех полных беспокойства гагринских речей Бергельсона, подспудный смысл которых принял тем временем осязаемые, достаточно отчетливые формы. А может быть, сказывалось опять-таки влияние Р.А., который воспринимал новое направление в советской идеологии с сарказмом, убежденный, что это лишь тактический трюк, а на подлинное восстановление исторической памяти имеют право только прирожденные противники идеологической «власти черни» — аристократы духа. Но во всяком случае, раздвоение официального спектра исторических, идейных и культурных ценностей, с одной стороны, окончательно лишило меня всяких иллюзий насчет политической честности наших правителей, а с другой, заставило уяснить, пусть пока на уровне чувства и интуиции, всю шаткость, ломкость, непредсказуемость советской эпохи, самого существования нашего, нашей общей судьбы в этой стране... Поэтому я, несмотря на постоянное общение с десятками близких и менее близких людей, несмотря на прямо-таки сумасшедшую сверхзанятость (как я только все успевал?), я начал чувствовать себя временами странно-одиноким — и наверно это было одной из главных причин, почему меня стала мучить бессонница, внезапно появившаяся и периодически преследовавшая меня затем в течение многих лет...

Неясность и неустойчивость общей атмосферы отражалась на мне еще и в другом плане: совершенно непроизвольно, не анализируя самого себя, я по несколько раз на дню превращался как бы в другого человека — одним я был с Р.А., другим в нашей все более оживленной послеобеденной школьной компании, третьим в захватившей меня несколько неожиданно, весьма своеобразной деятельности школьного театрального кружка, опять другим в шахматном павильоне парка, а затем в шахматной секции так называемого Дома пионеров, и совсем уже другим дома, где начали складываться какие-то особые, не совсем обычные отношения с Таней Орловой...

Дружба с Р.А. приобрела в ту осень и зиму новые черты,

связанные с острым, прямо-таки фанатичным нашим интересом к Пушкину, переходившим в некую одержимость. Эта одержимость, надо признать, возникла прежде всего под внешним влиянием. К столетию со дня гибели поэта, которое исполнялось в феврале 1937 года, заранее, еще с лета, началась такая грандиозная подготовка — не в последнюю очередь психологическая —, какой наверно ни один литературный юбилей в анналах человечества не знал. На этот раз сталинский пропагандистский, культурный и научный персонал поистине превзошел сам себя, соревнуясь с теми старыми и новыми силами интеллигенции, духовной элиты, которые в чествовании Пушкина видели узловой, исторический момент в долгих усилиях своих по спасению, сбережению, возвращению духовного наследия России. У Сталина же, от которого бесспорно исходила инициатива таких небывалых, ни с чем не сравнимых торжеств, побудительные мотивы и соображения были достаточно очевидны: разумеется, он стремился связать, ассоциировать, пусть хотя бы косвенно, опосредованно, намеком, самое народное имя русской традиции с своим собственным образом и именем, вековой культ поэта с своим собственным, едва укоренившимся культом; разумеется, величием Пушкина он стремился обосновать особую, высокую, духовную миссию России, но тем самым и освятить идейно-политическую и социально-политическую, в конечном же счете геополитическую миссию своей империи — величием последовательного петербуржца он стремился обосновать московский messiанизм собственной чеканки; разумеется, ссылкой на Пушкина он стремился подкрепить новый свой идеологический курс, озадачивавший и настораживавший столько людей из наиболее образованных и политически чутких, представив выбор новой агрессивной стратегии как возврат к устоям, преемственности, началам традиционной национальной жизни — но вместе с тем, он несомненно надеялся таким путем примирить, соединить, слить в массовом уме два несовместимых, по логике вещей, принципа — «революционный» и «государственный» —, всячески подчеркивая в аристо-

крате, человеке света, носителе классической культуры мятежника и певца низов — в царедворце цареворца. Однако, с годами мне все яснее виделось и другое вероятное побуждение «вождя народов», служившее стимулом к предельному раздуванию ажиотажа вокруг годовщины столь трагического события: он пытался морально подготовить 37-й, выставляя себя в глазах общественности, прежде всего международной, этаким гуманистом, хранителем вечных ценностей, покровителем наук и искусств, «лучшим другом поэзии» — и никак нельзя сказать, что эта подготовка не удалась, наоборот, во многих заявлениях, рассуждениях и аргументациях просоветских писателей, журналистов, общественных деятелей, даже политиков того времени, старавшихся так или иначе, прямо или косвенно, безусловно или с оговорками оправдать, приукрасить или толерантно, «с пониманием» объяснить нарастающую волну террора в стране «социалистической демократии», имеются непосредственные указания или хотя бы мельком оброненные ссылки на эту беспримерную демонстрацию глубокого уважения режима к творческому гению нации, к духовным ценностям прошлого — вот бы поучиться западным обвинителям кремлевского корифея! Тем не менее, я стопроцентно уверен, что торжества эти, вся незабываемая тогдашняя пушкинская лихорадка, распространявшиеся в самых широких кругах красочные описания пушкинского времени принесли и совсем другие, не предусмотренные Сталиным плоды. Для многих, в первую очередь же для молодежи, выросшей при советской власти, а тем более для той, что выросла уже при сталинизме, это был прорыв — возможность высвободиться из идеологической клетки, возможность погрузиться в ушедший мир, возможность сопереживать, сравнивать, осмыслять и самоосмыляться. А для духовной элиты, пережившей эпилог Серебряного века, это был миг надежды. И веры — веры в будущее. Поэтому я убежден: те пушкинские празднества явились колыбелью шестидесятичества.

Мы с Р.А. ходили по выставкам и музеям, показывавшим в эти месяцы все разнообразные свои экспонаты, имевшие

какое бы то ни было отношение если не к самому поэту, то к его эпохе. И буквально у каждого экспоната мы подолгу останавливались и обсуждали не то его достоинства, не то его значение для Пушкина, не то его характерность для милого нашему сердцу блестящего века. А дома у Р.А. книги и альбомы, воспоминания и статьи о Пушкине, его друзьях и современниках потеснили все остальные, еще недавно столь серьезно увлекавшие нас издания. Своего рода настольной книгой для нас стал могучий том Вересаева «Пушкин в жизни», а затем Р.А. не без труда достал и внешне похожий труд того же автора «Спутники Пушкина». Мы с душевным трепетом вдыхали атмосферу этого общества, такого далекого по времени и такого близкого нам по духу, и оторвавшись от действительности, мы чувствовали себя отлично в Москве 1936 года и, увы, начала 37-го. До чего досконально я тогда знал не только жизненный и творческий путь самого Пушкина, но и предшественников его в век русского Просвещения, и товарищей его по лицу и литературным кружкам, и все окружение Натальи Гончаровой, и придворных друзей и врагов поэта, и даже случайных его знакомых — это я не без удивления осознал совсем недавно, месяцев восемь-девять тому назад, когда зашел в музей Пушкина на Пречистенке и там на меня с портретов глянули малоизвестные люди, о которых я вот уже 55 лет не вспоминал, не читал, не слышал, не думал, а у меня вспыхнули в памяти все подробности их встреч и отношений с Пушкиным! Конечно, Чаадаева и декабристское движение я изучил впоследствии куда более углубленно, чем тогда, но основные, элементарные знания о них, их идеях и стремлениях были заложены все же в те по-своему счастливые месяцы. Само собой разумеется, и мои собственные стихотворные упражнения стали отходить от подражания античности, Щербине и Гельдерлину, и я, сам того не замечая, становился рабским эпигоном пушкинского стиля, вплоть до прямого заимствования отдельных речевых оборотов и метафор — но в то же время исподволь я увлекся занятием, о потенциальном значении которого для зрелых лет своих я, естественно, и

подозревать не мог: по ночам я при свете карманного фонаря, чтобы не мешать спать родителям, усиленно переводил Пушкина на немецкий язык, а днем читал свои переводы и Р.А., и матери, и друзьям в школьной компании, и, помнится, два или три раза даже на уроках литературы перед всем классом. К сожалению, переводы эти не сохранились — сожалею я об этом потому, что они еще незадолго до войны, когда я их как-то перечитывал, показались мне очень интересными, а ведь в огромной массе опубликованных моих переводов пушкинские стихи занимают, как это ни парадоксально и грустно, совершенно ничтожное место. Кажется, пять или шесть стихотворений да одна из сказок, и та не вся — уму непостижимо! Правда, популярное «К Чаадаеву» появилось в разных изданиях аж четырежды — жалкое утешение..

Естественно, мы с Р.А. прогуливали школу. Поклонение русской дворянской культуре плохо согласовалось с учебной программой не только по духу и смыслу, но и по времени. Не могли же мы пожертвовать посещением новой выставки ради какого-то очередного вдалбливания биологических фактов или политических фантазий. Когда же классный руководитель со всей решительностью потребовал у нас объяснений по поводу наших странно совпадающих пропусков, Р.А. притворился нездоровым, мгновенно отправился домой, позвонил оттуда директору школы и измененным голосом попросил его «простить моему сыну, что он стал часто пропускать уроки из-за болезненного состояния моей жены, но он обещает твердо, что обязательно наверстает упущенное». Сверхпрозрачная эта комедия к моему удивлению не повлекла за собой катастрофических последствий — очевидно, слишком непоколебим был престиж Р.А., как абсолютно образцового ученика, и всех, наверное, умилило обещание школьника, заведомо знавшего по всем почти предметам куда больше, чем сами учителя, «обязательно наверстать упущенное». Я же выпросил у матери «подлинную» оправдательную записку — это не составило большого труда, так как ей очень импонировала моя основанная целиком на интеллек-

туальных интересах дружба с Р.А. Но катастрофа все-таки разразилась. Однажды, когда мы пришли на урок математики, оказалось, что сегодня — контрольная работа по алгебре. К тому времени прошло уже месяца два, если не больше, с начала учебного года, но я из всего того, чем преподаватель Поллак старался поразить класс, уловил разве лишь одно, что речь идет о каких-то сочетаниях букв с цифрами. Для меня до сих пор психологическая загадка, почему я не только что-то написал в тот день — разумеется, сущий бред —, но сдал учителю эту «работу». Через несколько дней — как назло, мы опять присутствовали на уроке — высокий, солидный, серьезный Поллак возвращал контрольные с комментариями, а наши с Р.А. оставил — конечно, нарочно — на самый конец. Класс так и ахнул, когда он сказал, что ставит Р.А. тройку — у какого-нибудь другого ученика, мол, работа тянула бы и на четверку, но для Р.А. это должно быть предупреждением, что получение сплошных пятерок не является его прирожденной привилегией. А затем он так долго и пристально смотрел на меня, что весь класс — одна голова за другой — обернулся в мою сторону. Наконец, он каким-то трагическим голосом проговорил, что рад видеть меня в здравом, судя по всему, уме, а что касается моей работы, то она не заслуживает даже отметки «очень плохо» (в то время «кол», как называлась такая отметка в ученическом жаргоне, еще официально употреблялся — двойка не считалась еще наихудшем баллом), почему и придумал, и вот специально для меня вводит особую отметку: «неслыханно».

Школьным честолюбием я, право же, никогда не отличался. Получая по гуманитарным предметам само собой разумеющиеся «нетрудовые» пятерки, я в дисциплинах естественных и математике всегда держался на весьма среднем уровне, так как память была у меня неплохая, но интересы далеко не универсальные. Тогда я не придавал этому никакого значения, даже, насколько помню, вообще никогда не задумывался над проблемами успеваемости, но впоследствии проникся убеждением, что статус «круглого отличника», как таковой — гибельный.

Я и сейчас думаю, что первокорень человеческого неосуществления Р.А. таится в его школьной всеядности, сверхаккуратности и безусловной добросовестности, переходившей иногда в некий учебный педантизм. В чем-то это сказалось уже в ближайшие после пушкинских торжеств месяцы.

Дело было в том, что Р.А. должен был в тот год перейти, по желанию родителей, в русскую школу, и он начал самым тщательным образом готовиться к этому еще за несколько месяцев до летних каникул. Мне такая озабоченность будущими успехами в заурядных школьных занятиях показалась по меньшей мере преувеличенной — и действительно, когда в конце 37-го «осиное гнездо на Кропоткинской» было по распоряжению чуть ли не самого Сталина ликвидировано и нам всем пришлось переменить место учебы, я, например, в новой школе не испытывал ни малейших затруднений, хотя русская терминология во многих дисциплинах и впрямь очень сильно отличалась от немецкой. Но как раз «моральная обязанность» быть круглым отличником, давившая на Р.А., явилась наверняка одной из причин, если не основной, почему при всей его интеллектуальной чуткости и духовной устремленности пушкинские празднества не стали в его жизни такой вехой, таким толчком к напряженному общемировоззренческому поиску, каким они стали для меня.

Речь не только о том, что более основательное, более сущностное самослияние со старой культурой сделало меня и более основательным, более сущностным противником революции и всех ее последствий, чем это могли сделать любые предшествовавшие переживания, любые, даже самые мрачные явления советской жизни, более того, даже многочисленные впечатляющие разоблачения и сильное идейное влияние Р.А. — хотя все это, бесспорно, явилось необходимой психологической и моральной подготовкой. Если раньше мое постепенное внутреннее преобразование как-никак происходило случайными зигзагами и скачками, неуверенными продвижениями в неясных направлениях, полупрорывами и полуостановками,



полусознательно и полуинтуитивно, то теперь во мне интенсивно и целеустремленно работала какая-то сила, создававшая, складывавшая, формировавшая нечто цельное — именно личную, личностную идеологию.

И еще что-то. Даже более глубинное.

Мне всегда чуждо и смешно было слово «мировоззрение» (хотя, каюсь, нередко и сам употреблял его — в контекстах, где внимание читателя не должно было оставаться на нем). Оно неизменно вызывает у меня одно и то же представление: стоит вот человек и зрит на мир — так что же? Издавна я предпочитал слова «миропонимание», «мироосмысление», «миротолкование», просто «мироотношение» или хотя бы «мировидение». Но в основе зарождавшейся, впервые принимавшей более или менее четкие очертания, угловатой еще идеологии моей лежало не просто новое мироотношение или мироосмысление, а некое особое состояние, которое хотелось бы назвать духовным мировоплощением — в том смысле, что я, впитывая и по-своему интерпретируя весь внешний мир фактов и идей, всегда сознавал, что заново и своеорганично воплощаю его в собственном своем, саможивущем духовном мире. На первый взгляд такое сознание кажется банальным, но оно наполняло меня, действительно, пафосом духа, настоящим, смею думать, эросом духа.

Конечно, то, что я под влиянием сугубо внутреннего своего культа Пушкина стал отождествлять поэта с понятием «духа», претворяя это тождество в некий мысленный полюс, неизбежно противостоящий тождеству «Сталин — идеология», было в тех условиях только естественно — тем более, что при всем своем увлечении миром Пушкина я все же успевал регулярно читать выходившие в Москве немецкоязычные литературные журналы «Дас Ворт» и «Интернационале литератур», где понятие и концепция «духа» — притом, как ни странно, именно в близком мне, антиидеологическом смысле — выдвигались своего рода знаменем, а защита «духа» считалась темой самой жгучей актуальности (впрочем, близкая мне семантика слова в московских изданиях была не столь

уж и странной, она объяснялась в первую очередь широким сотрудничеством в них немецких либерально-гуманистических писателей, эмигрировавших после 1933 года на Запад, включая Томаса, Генриха, Клауса Манна и других живых классиков). Однако, то, что противостояние духа и идеологии, как решающее явление всей человеческой эволюции, тогда настолько глубоко вошло в самую ткань моего миропонимания, что со временем сделалось ядром сложившейся уже, «взрослой» моей идеологии, более того, всех самиздатовских моих философских опытов — это свидетельствует о том, что именно пушкинская зима стала для меня порой собственно духовного рождения.

Но антитеза «дух-идеология», символическая поляризация этих понятий отнюдь не была единственной созревшей в те месяцы идейной позицией, которая сделалась впоследствии моим жизненным кредо. Так, настоящим событием оказалось для меня открытие истинной сути западничества и славянофильства. До тех пор я просто-душно верил, что (как мне внушали в школе и в газетах) никаких других западников никогда и не существовало, кроме царя Петра, «прорубившего», да вот нескольких «революционных демократов», боровшихся против крепостного строя и николаевского застоя, предвосхищавших если не Маркса, то Энгельса, а главное, разбудивших в России кого-то, кто в свою очередь повлиял на Ленина. Сейчас иронизировать над подобной официально принятой тогда схемой, конечно, легко, но надо иметь в виду, что она играла далеко не шуточную роль в чреватых последствиями теоретических изысках, в «ученой» пропаганде, в «идейном воспитании трудящихся», ибо связывала Петра и Чернышевского для того, чтобы подкрепить право Сталина, будто бы объединявшего в себе обе эти ипостаси единого целого, на их наследие — на наследование России. Когда же передо мной раскрылись подлинные корни, сердцевинный характер и богатая история русского западничества, я понял, что в нем — моя вера, моя единственная духовная, политическая, человеческая вера. В своих размышлениях, в противоположениях школьно-газетно-

му западничеству я стал называть его «высоким». А в том, что центральной, осевой фигурой высокого западничества явился именно Пушкин, я увидел и подтверждение всем своим новым прозрениям, и некий знак исторической надежды. А из осознания надежды во мне родилась мечта о собственной моей миссии в будущей деидеологизации, пушкинизации русского менталитета, русской жизни, русского мира.

Так я в возрасте неполных четырнадцати лет решительно отнес себя к духовной элите. Безусловно, к этому давно уже вело и столь раннее, пусть ребяческое мое литературное честолюбие, заветное видение неостановимого восхождения к вершинам поэтической славы, и многолетнее мое углубление, влюбленность в творчество отвергнутых режимом и обществом, но тем ярче сиявших надо мной и надо тьмой продолжателей Серебряного века — однако, как раз теперь, всей душой погружаясь в пушкинскую среду, я сделался сознательным, принципиальным, убежденным элитаристом.

Хотя отрицание приторного и притворного российского «народолюбия» для меня никоим образом не представляло собой некой переоценки всех ценностей, оно все же предполагало и включало известную переоценку относительной цены разных ценностей — и это определило в ближайшие месяцы и мое отношение к окружавшим меня реалиям и людям, и направленность моей внутренней работы, и подход к прочитанному и услышанному, и в какой-то мере восприятие грозных событий в стране и в мире.

37.

Итак, начался 1937 год.

Должен сразу сказать: о том, что уже во второй половине 1936 года проводились многочисленные аресты и массовые расстрелы, я узнал лишь десятилетия спустя, когда это стало достоянием широкой общественности. Не имел представления о масштабах тогдашних репрессий, по-

видимому, даже Р.А. Если я именно в это время окончательно стал безоговорочным и бескомпромиссным, по крайней мере в душе, противником советского общественного и жизненного строя, то менее всего потому, что предвидел, предчувствовал или предугадывал надвигавшийся ужас. Даже в первые два-три месяца 37-го года я не подозревал еще ничего исключительного...

Хочу подчеркнуть, что не стану описывать здесь то чудовищное время в общих чертах, как и в дальнейшем не собираюсь давать какую-либо обобщенную картину войны, ленинградской блокады, послевоенных сталинских кампаний и так далее — все это ведь изображалось сотни раз под различными углами зрения самыми разными авторами. Я же намереваюсь, с одной стороны, подробно рассказывать о тех перипетиях собственной лишь, личной своей жизни, которые могут чем-то заинтересовать, по моим представлениям, будущих читателей, а с другой, излагать по ходу повествования те свои мысли о времени и судьбах наших, которые мне кажутся неизбежными, сугубо индивидуальными, отчасти парадоксальными, вносящими в общеизвестное неизвестные краски, смыслы, нюансы.

Естественно, я на протяжении своей жизни, много размышляя над сутью 37-го, не один раз уточнял свои подходы, толкования и оценки. Но в конце концов я решающий момент усмотрел во всесокрушающей, роковой игре вечных исторических сил — в том взаимном притяжении, том мистическом, магическом «родстве душ», которое в тоталитарных социумах испокон веку связывало, спланивало, отождествляло друг с другом самый верх и самый низ пирамиды, темную силу власти и темную силу массы. Много уже написано и сказано о причинах, толкнувших Сталина на самую колоссальную свою оргию кровавых преступлений: он хотел окончательно разделаться со всеми партийцами, не считавшими его в глубине души легитимным вождем; он хотел навсегда запугать всех способных к какой-либо самостоятельной мысли; он хотел устранить любое возможное несогласие с новым идеологическим курсом; он хотел заблаговременно развязать себе

руки для союза с Гитлером... Все эти и некоторые однотипные «рациональные» расчеты и мотивы несомненно двигали Сталиным в немалой мере — но иррациональные побуждения, подкорковые реакции и стимулы, неоспоримо также игравшие существенную роль, изображаются обычно крайне односторонне — как маниакальный звериный страх, как безудержный патологический садизм, как болезненная некрофилия. Между тем, одним из ключевых моментов, а для понимания общеисторической природы этой катастрофы решающим, являлось, на мой взгляд, как раз чувство почвы, чувство массовой опоры, инстинкт единения с той бездной шевелящегося червя, которую выделяли из всего населения и высокопарно называли «народом». Он тонко улавливал две затаенные страсти, владевшие в низах огромными множествами людей: одна разновидность их любимыми путями и средствами стремилась подняться по социальной лестнице, и ей именно уничтожение, с одной стороны, большевистского истэблшмента, а с другой, пережитков старого — технократических прослоек и остатков универсально образованных кругов общества, было необходимо жизненно, как обязательное условие исполнения жгучих желаний; другая же разновидность, одержимая вечной плебейской завистью и ненавистью ко всему благоуродившемуся и благосотворенному, безошибочным чутьем угадывавшая в самых высших сферах власти особое с собой «родство душ», стихийно стремилась отомстить за разочарование, вызванное неполной революцией, обещавшей ведь сделать всех, «кто был ничем», «всем» — и Сталин не только в своих целях прямо использовал низменные страсти и своекорыстные соображения потенциально всесильной и готовой на все — буквально на все — черни. Нет, при всем своем цинизме он в каких-то глубинах психики искренне полагал себя историческим волеисполнителем черни, с гениальной чуткостью улавливая тождественность характерных черт, типа ума, эмоциональной нацеленности, словом, всего склада своего и человека черни. Знаменитая его неприязнь к аристократам духа не была узконаправленной — она

имела в виду не индивидуальности, а явление, не плод общественного развития, а ступень общечеловеческой эволюции, и здесь он полностью смыкался с самым неандертальским из плебеев. Проводя 37-й, он не только преследовал явные и тайные психополитические, кадровые и идеологические цели, не только стремился отвлечь действительные, возможные или воображаемые опасности для себя и своего режима, не только давал волю извращениям своим — он с подлинным, трепетным восторгом исполнял мистический обряд единения с «народом», служения «народу», осуществления оккультно-исторической миссии, возложенной на него «народом». И точно так же партийные выдвиженцы, следователи НКВД, пропагандисты-обличители «вражеской агентуры» не только ради личной карьеры и группового, «классового» возвышения, не только ради полного устранения интеллектуально и морально превосходящей их социальной конкуренции, не только ради наслаждения собственной внезапно приобретенной властью шли по трупам — нет, и они с искренним, по-своему чистым восторгом служили Ему, земному божеству, воплощавшему в идеальной ипостаси их же человеческую, и не только человеческую, суть. И точно так же толпы плебса, требовавшие кровавой расправы с «наймитам капитализма» и бурно приветствовавшие смертные приговоры и массовые аресты, обуреваемы были не только архетипной нетерпимостью низкой психики ко всему высокому, не только вожделием получить за счет репрессированных какой-то кусок от казавшегося жирным революционного пирога, не только неистовым, безоглядным стремлением удовлетворить свою похотливую жажду крови и страданий, но и поистине религиозным в некотором смысле, оргиастически-восторженным чувством слияния с Тем, кому приносятся все эти жертвы — происходила подсознательная идентификация и самоидентификация «вождя» и «народа» под знаком исконного, органического двуединства, органической парности двух неразделимых в самой своей жизнедеятельности эхо-начал.

Поэтому 37-й год, хотя он разгромил, изничтожил, смел — и физически, и структурно — основной массив послереволюционного «нового класса» и сложившихся к тому времени устоев общественной жизни, по глубинной сущности своей представляется мне фактом не столько политическим или даже социальным, сколько духовно-историческим, ибо его мишенью в конечном счете была все же духовная элита, были два фундаментальных феномена — духовность и элитарность, два основополагающих для человеческой эволюции, сверхисторических принципа — первородство духа и элитаризм духа...

### 38.

Плебеизация культуры меня тогда, однако, мало затрагивала и мало трогала. Более того, на фоне пестроты и постоянной смены моих занятий да специфичности моего круга чтения я пока почти и не замечал ее. Такие понятия и лозунги, как «социалистический реализм» или «искусство принадлежит народу», я слышал, конечно, сотни раз на дню, но они оставались для меня просто пустым звуком.

Если чтение Пушкина и пушкинской литературы, наследников Серебряного века и немецких писателей-эмигрантов шло рядом, мало соприкасаясь и, во всяком случае, мало влияя друг на друга, не создавая взаимодействующих силовых полей и не вызывая взаимных ассоциаций, то у меня вскоре появился новый «властитель дум», с которым те три направления моих интересов, читательских и визионерских, объединяло множество разноликих и разнокачественных связей — так что в моем уме складывался даже своеобразный их синтез —, но который вместе с тем выводил к совершенно непредугаданному, ошеломляющим горизонтам.

У нас дома в книжном шкафу нетронутым стояло, поблескивая элегантно глянцево-темносерыми переплетами, собрание сочинений Ницше, привезенное еще из Германии. Нетронутым оно стояло потому, что отец неоднократно с искренней убежденностью внушал мне, что

Ницше был идейным предшественником Гитлера, чуть ли не теоретическим основоположником нацизма. Хотя я знал, что многоупоминаемый немецкий мыслитель воспринимался русскими поэтами и философами прекрасного начала века почему-то в совершенно ином свете, категоричность и неподдельная прямота отцовских утверждений возымели на меня соответствующее действие, и я долго удерживался от удовлетворения своего любопытства. Но как-то случилось, что в одном из эссе одного из тех самых антифашистских журналов Ницше был охарактеризован, как «крупнейший интерпретатор кризисного сознания мировой буржуазии» (я так точно запомнил эту формулировку не только потому, что она меня сразу же поразила и смутила — я-то со слов отца «знал», что он был идеологом германского империализма! —, но и потому, что мне потом не раз приходилось использовать ее как анекдотический пример «возвышенной» марксистской фразеологии), а это как-то внезапно, с неожиданной, труднообъяснимой силой взбудоражило меня, послужило упреком — что же это я такой нелюбознательный невежда! — и словно толкнуло в спину: я вскочил, встал перед книжным шкафом, пробежал глазами надписи на корешках, тисненные яркими желтыми буквами, и остановился на заглавии, показавшемся мне самым безопасным и незатейливым — «Веселая наука». Никогда в жизни, ни до, ни после этого, мне подобного больше не пришлось пережить: язык, стиль первой же, случайно открытой страницы полностью переменял мое представление об авторе, унес куда-то в забвение предвзятое мнение о его статусе во всемирном движении мысли, покорило меня безусловно, окончательно и навсегда. Почва для восприятия идей и борений Ницше была в моей душе подготовлена идеально, и когда я, наконец, освободился из-под власти самого этого искусства сочетать полновесные слова и стал, жадно поглощая томик за томиком, вдумываться в его концепции и наития, прозрения и толкования, я понял, что здесь в единой страстной философской устремленности, в едином мучительном подвиге раскрытия мировых глубин и высот



предельно ясно, чеканно сплавлено и воплощено все то, о чем я расплывчато, неуверенно, порывами столько думал и с самим собой рассуждал — здесь был высокий гуманизм Пушкина и его утонченный аристократизм, здесь была вольная игра и счастливая красота античности, здесь был светлый и мудрый космополитизм русского западничества в общечеловеческом осмыслении, здесь было безусловное, естественное отторжение и отрицание любой идеологии, будь то религиозной, политической или сциентистской, здесь был, главное, образ иного человечества, царства индивидов свободного духа и торжествующей красоты, о котором я, опоздавший современник Серебряного века, давно сокровенно мечтал посреди общества, для которого идеалом была лишь плебейская «справедливость» на основе казарменного труда и всеобщего равенства.

Но я был подготовлен не только к достаточно многомерному восприятию мира Ницше, не только к заражению его пафосом, к обогащению и оплодотворению собственной скользящей мысли его мыслями чудовищной глубины — я был подготовлен и к тому, чтобы Ницше во многих отношениях стал для меня учителем жизни — думаю, он учил умственной отваге, верности избранному пути. А сказалось это на моем образе мыслей и действий и в ближайшие годы, и много десятилетий спустя, в эпоху Самиздата.

Наверно, нетрудно найти и прямое идейное влияние Ницше в некоторых моих сочинениях. Особенно явно такое влияние выступает, пожалуй, в первых моих «мировоззренческих размышлениях», оказавшихся, увы, кое в чем крайне неудачными, прежде всего в исторической части и в предсказаниях — однако, уже само их заглавие, «Дух как наследие и миссия», показывает, что центр тяжести все же лежал, в моем понимании, на другом — на эволюционных представлениях и ориентациях, навеянных именно ницшеанским духовным идеалом, а тут — скажу это сразу, хотя надеюсь, что в данных мемуарах у меня еще будет возможность подробно говорить о том первом самиздатском трактате своем — если не убежденность, то

вера моя по сей день осталась прежней.

Все это, однако, не означает, что мне не в чем покаяться. В начале шестидесятых годов я, будучи преподавателем иностранных языков в Таджикском университете в Душанбе, задумал написать диссертацию для получения степени кандидата филологических наук, и темой я выбрал творчество Клауса Манна — одной из самых интересных, противоречивых, трагических фигур в противоречивой и трагической немецкой гуманистической литературе первой половины века. По тогдашним условиям я не мог не делать «уступок ради спокойствия души», выражаясь точнее, ради возможной защиты диссертации, и я изображал дело так, будто наиболее последовательными противниками фашизма по самому существу своему были коммунисты. Но разумная уступка часто влечет за собой уступку позорную. И вот, войдя в роль этакого полумарксистского литературоведа, я в ряде мест стигматизировал Ницше в естественной и привычной для такого литературоведа манере, наперекор глубочайшим своим убеждениям:

«Властное влияние учения Ницше, нанесшее такой ущерб гуманистическому развитию немецкой интеллигенции, не в последнюю очередь объяснялось тем, что гуманистические убеждения и идеалы оказывались зачастую просто беззащитными перед волшебством исключительнейшего «духовного уровня»... годы изгнания у определенной части западной эмиграции были заполнены дискуссиями о том, был ли Ницше, как исторический феномен, предвестником гитлеризма, или же, наоборот, абсолютным его антиподом, оказался бы этот философ империализма, доживи он до 1933 г., столпом Третьего рейха или, наоборот, политическим эмигрантом. За этой дискуссией скрывался, собственно, спор о том, является ли нацизм закономерным этапом развития монополитического империализма или же, наоборот, направленным против него восстанием «взбесившихся плебеев»... Туманословная «глубина» была взята на вооружение, превращена в один из основных путей «прозрения» родоначальником и первооткрывателем всех мистических мифов современ-

ного антигуманизма, Фридрихом Ницше... «глубина» стала почитаться как «исконно и истинно германское» свойство духа. Таким путем — который кажется иронией судьбы, но в сущности глубоко закономерен — яростный германофоб Ницше оказался на деле одним из предтеч самой мрачной, расистски-окультистской формы немецкого национализма!»

Выписываю эти гнусные фразы так подробно в виде жесточайшего наказания за бесчестную мимикрию, на которую пошел, без малого тридцать лет тому назад, в корыстных целях (ибо для чего еще мне нужна была ученая степень?), в виде возмездия за то, что по-идиотски отдал этот опус в «Ученые записки Московского института иностранных языков» тогда, когда в глубине души почти уже отказался от мысли защитить диссертацию — хотя, правда, я никак не мог предвидеть, что из этой могилы «ученых» мыслей кто-то догадается извлечь именно этот плод моих несправедливых трудов, переведет его без моего разрешения на немецкий и, даже не известив меня, опубликует в Восточной Германии (я об этом лишь через 25 лет узнал по чистейшей случайности).

Мы все на своем веку стали свидетелями многочисленных идейных перемен, разрывов, превращений, поворотов, перерождений известных и менее известных интеллектуалов, особенно у нас в стране, и это можно понять — эпоха была злая и играла злые шутки. Для многих жизнь, выпавшая на такую эпоху, оказалась равнозначной потере жизни. Ибо они говорили и писали — как им казалось, вынужденно — противоположное тому, что думали, и тем самым придавали своей жизни смысл обратный тому, который был в них заложен и который они сами считали единственным; они плевали себе в душу, забывая, что она — единственная. Но о себе могу сказать с чистой совестью: статья «Клаус Манн и поиски нового гуманизма» осталась исключением, мертвым пятном в списке более или менее живых работ — осталась укором и предупреждением. Не только (что само собой разумеется) в самиздатовских текстах, но и в тех не слишком многочисленных статьях, которые

я в советскую эру, в период «застоя» все же опубликовал в общей печати, такого марксистского соуса больше нет. Но тем больнее, что я в единственный тот раз опустился именно до трафаретного «обличения» своего кумира и вдохновителя. Это трудно себе простить.

Между тем, возбуждение, внутреннее горение, грезы, завладевшие мной под воздействием Пушкина и Ницше, сказались особым образом и на одной из сторон моей повседневной жизни...

### 39.

Итак, я стал проводить гораздо больше времени дома. Р.А., к тому времени погрузившийся в свои совершенно чуждые мне занятия, никак не «ревновал» меня к Ницше. Я же не только поглощал главку за главкой, афоризм за афоризмом, но и по сотне раз возвращался к уже прочитанному. Это были захватывающие, незабываемые недели и месяцы... Но то, что я так неожиданно сделался чуть ли не домоседом, имело еще и другое, своеобразное последствие. Или — может быть, это было, наоборот, как раз одной из причин? Тогда мне такой вопрос и в голову не приходил. Ибо все шло своим естественным путем, ничто в начале не казалось чем-то из ряда вон выходящим.

Не помню, каким образом Таня Орлова узнала о моей одержимости Пушкиным и пушкинской эпохой — скорее всего, об этом как-нибудь мимоходом упомянула мать. Во всяком случае, когда она впервые обратилась ко мне с каким-то вопросом, кажется, о «Медном всаднике», я отнюдь не был застигнут врасплох. То, что и она была захвачена атмосферой культа Пушкина, выглядело само собой разумеющимся — настолько эта атмосфера гармонировала с ее личностью. Мой детальный и, вероятно, очень живой ответ произвел на нее большое впечатление, это было заметно сразу, и она с этого дня все чаще стала ко мне обращаться с своими мыслями, сомнениями и вопросами относительно и Пушкина, и поэзии вообще, а со временем и не только поэзии, приглашала меня к себе в

комнату, где домработница, поставив чай и ухаживая за мирно лежащим в постельке малышом, удивленно прислушивалась к все более увлеченным, все более сложным, все более сближавшим нас с Таней — вплоть до некоей сугубо личной уже взаимной заинтересованности —, все более духовно-интимным разговорам. Дистанция, обусловленная, казалось бы, разницей в возрасте, исчезла поразительно быстро — мы беседовали почти сразу же, как совершенно равные. Исподволь эти беседы сделались для меня важной частью дня, даже чем-то вроде внутренней потребности — до такой степени, что я прямо-таки возненавидел ее мать, иногда внезапно появлявшуюся в нашей квартире и неделю-другую, как будто так и надо, жившую у Тани, что самым обидным образом затрудняло, а то и совсем прерывало привычное наше общение (странно, но Таниного супруга я в эти месяцы не помню — может быть, он уже секретарствовал в Иркутске).

В известном смысле Таня заменяла мне в этот период Р.А., хотя моя роль изменилась — в отличие от школьного моего товарища, Таня знала и читала неизмеримо меньше меня, она слушала меня с неподдельным изумлением, восторгом, даже благоговением, но узнав что-либо новое, она тут же «овладевала» им, осмысливала его в контексте нашего многомесячного диалога, а это вызывало мой встречный восторг, встречное преклонение. Естественно, я не мог не вводить в свои философствования занимавшую меня так интенсивно тему элиты и элитарности. Только — теперь вся проблематика, связанная с элитой духовной и социальной, переплеталась в уме моем с образом самой Тани.

Действительно, какой гармоничной, цельной, предельно привлекательной личностью Таня ни была сама по себе, образ ее становился многозначно-переливчатым, многогранно-проблемным, когда чисто эмоциональное отношение мое, отношение все более живой симпатии, на время сменялось в уме столь же взволнованными, но абстрактными размышлениями о специфичности ее человеческого статуса, природных потенций и социальной принадлеж-

ности: в моем представлении удивительный комплекс внешних и внутренних качеств, генетически унаследованный ею от каких-то загадочных предков, вероятно, по отцовской линии, резко противоречил неизбежному ее причислению, вследствие замужества, к определенной категории людей, которую я уже тогда однозначно считал непримиримым, несовместимым антиподом духовной элиты. А элита составляла на мой взгляд естественную для Тани среду, предназначенную ей богом, хотя и не судьбой, как и элита социальная в подлинном значении слова, из которой она по всей видимости происходила — но все дело в том, что она ни разу не выказывала сколько-нибудь заметных признаков отчужденности от мужа, да и не ощущалось ни в разговорах, ни в поведении ее особого внутреннего сопротивления будущему вхождению в новый привилегированный, но тем не менее плебейский класс. Поэтому я буквально душу вкладывал в рассуждения об истинных и ложных элитах, и она, безусловно, чувствовала, что я имею в виду — но при всей чистоте и отнюдь не выдуманном мной благородстве натуры своей, она смотрела, как я позже понял, реальнее, трезвее, взрослее меня на исторически сложившиеся обстоятельства.

Четко запомнился мне ее задумчивый взгляд, а затем несколько неожиданная реплика, когда я рассказал об одном характерном эпизоде, взволновавшем меня тогда. Мое многолетнее, перераставшее временами чуть ли не в навязчивую идею, а теперь приобретающее новые оттенки, щекотливое в чем-то внимание к взаимоотношениям между служанками-домработницами и их хозяйками, которое у меня логически связывалось, разумеется, с нарастающими претензиями новой номенклатуры на роль господствующей касты, получало в это время все больше наглядной пищи. В частности, меня страшно заинтересовали источники пополнения непонятного мне контингента добровольных рабынь. Скоро я заметил: к бежавшим от голода крестьянским девушкам, которыми удовлетворялось большинство московских новоявленных «барынь», и к профессиональным горничным из прежних времен, которые вы-

соко ценились и, как правило, соглашались работать только в «лучших домах», в возрастающем числе теперь прибавлялись дочери вполне приличных, часто интеллигентных городских жителей, разоренных революцией и ставших жертвами беспрерывных кампаний-«чисток» большевистского, а особенно сталинского лихолетья — молодые девушки, которые в качестве «лишенцев» не могли получить образование, а зачастую даже поступить на самую что ни на есть малопrestижную работу. Они находились в куда большей зависимости от своих хозяек, чем их менее «запятнанные» сотоварки. И вот однажды я зашел на дом к одному своему знакомому по шахматному павильону, с которым мы условились, кажется, проанализировать отложенную турнирную позицию. Вместо него дверь коммуналки мне открыла его сестра, представилась «Ира», сказала, что мой друг скоро должен прийти, и провела меня по длинному коридору в их секцию, состоявшую из маленькой проходной и довольно просторной жилой комнаты. Затем она крикнула в коридор «Нюра, чаю!» и усе-лась напротив меня.

Это была типичная московская девушка чуть постарше меня, лет этак 15-16, с простым, беленьким, пожалуй, смазливym личиком. Не прошло и минуты, как она вско-чила и снова крикнула в коридор:

— Скоро там, что ли?

Едва она успела вновь сесть, как с полным подносом вошла другая девушка, приблизительно ее одноклассница, в предельно скромном сером платье, в усталых, печальных, милых чертах которой чувствовалась какая-то изначальная, но стертая утонченность. Ира набросилась на нее:

— Сколько раз ей надо говорить! Ночью дрыхнет, как мертвая, придешь домой, так не растолкаешь ее, пока вся кухня не проснется, а днем спит на ходу!

Больше всего меня смутило несоответствие подкупающего, совсем не простонародного вида Нюры и такого вот обращения с нею. Когда она, как будто уже и привычная к брани, расставила все на столе и вышла, я поэтому высказал не столь уж, казалось бы, уникальную мысль, что

ведь домработнице не обязательно ночевать на кухне; да намекнул, что у них ведь есть проходная комната... Тогда Ира произнесла каким-то совершенно неподражаемым тоном, в котором слышались и ужас, и недоумение, и отстраненность, и презрение:

— Тогда что же, я должна спать в одном помещении с прислугой?

Почему-то я думал, что подобный плебейский аристократизм должен возмутить Таню, но когда я ей описал этот случай, она после небольшой паузы лишь задумчиво проговорила:

— Сложное дело жить сегодня. Но я ее вполне понимаю.

Наши с Таней славные собеседования кончились той весной совершенно внезапно — внезапно для меня, хотя ведь трудно было не ожидать этого: она с детьми и домработницей уехала к мужу, в Иркутск.

Но странные мои взаимоотношения с необычной соседкой на этом отнюдь не кончились. История имела продолжение...

Проще всего было бы изобразить дело так, будто я, мальчик, безнадежно влюбился в женщину на десять лет старше меня. Вероятно, оживляя в памяти тогдашние свои душевные движения, я бы сегодня и действительно бесхитростно оценил то чувство, что овладевало мной при этих встречах, как любовь — если бы не вспоминались заодно и мои параллельные «приключения» и переживания в школе. В школе, где я все же проводил куда больше времени...



Жизнь нашей школы представляла собой, как никогда раньше, исключительно чуткий барометр погодных и атмосферных процессов в советском обществе — процессов бурных и подспудных.

Весной 37-го, когда одновременно с громкими судебными спектаклями стали повсюду, и в верхних, и в глубинных слоях народного конгломерата, множиться признаки того, что речь теперь идет далеко не просто о «борьбе с оппозицией», не о новой инквизиции, о новом терроре даже, а о каком-то явлении, сходном с средневековой чумой, в нашей школе эти признаки перерастали в некую концентрированную очевидность: в коридорах, в столовой, во дворе ежедневно появлялись и передавались — все более уверенно, все более категорично — новые сведения и слухи об арестах родителей того, другого, третьего ученика — некоторые из детей неожиданных «врагов народа» после этого навсегда исчезали, но большинство продолжало — теперь еще аккуратнее, даже как-то демонстративно — посещать занятия. Разумеется, во всем этом чувствовалась закономерность, иначе ведь и быть не могло: ученики-то наши в основном происходили или из семей старых партийцев, или из кругов высшей интеллигенции с западнеческими, космополитическими наклонностями, или же из немцев — а как раз эти группы становились первыми, излюбленными жертвами «великой чистки». Одновременно стали исчезать и учителя — началось с внезапного ареста сразу четырех молодых преподавателей из эмигрантов, и это вызвало в школе всеобщее потрясение, но вскоре все к подобным случаям привыкли, и никто больше не задавался вопросом, что это могло стрястись с очередным выбывшим педагогом.

Но как это ни парадоксально, и в обществе, и в школе продолжалась жизнь, и в этой жизни возникали свои проблемы и сложности, лишь косвенно, а то почти и совсем не связанные с разразившейся в стране чумой. Внешне же, хотя в такое сейчас трудно поверить, даже эти проблемы

и сложности не разрушали, не нарушали обычного ритма, стиля, содержания школьных дней; как ни в чем не бывало, продолжались и нормальные плановые уроки, и добровольные внеурочные дружеские встречи, и вполне стихийные, но тем не менее регулярные вечеринки и выезды за город отдельных компаний, и «самодетельность» — в том специфическом смысле, в каком это понятие вошло тогда в обиход.

А самое, может быть, поразительное и вместе с тем характерное: ученики, чьи родители заведомо были заклеямены и репрессированы как «враги народа», отнюдь не подвергались в школьной среде остракизму, они по-прежнему участвовали в школьных и окошкольных делах как равные — все остальные же делали вид, что ничего не знают, ни о чем не подозревают.

Своеобразно все эти моменты отражались и преломлялись в работе неизвестно чьими заботами вдруг созданного у нас большого драматического кружка. Может быть, инициатива исходила от самого руководителя кружка, артиста Ганса Роденберга, когда-то подававшего немалые надежды в знаменитом театре Пискатора — его имя я помнил еще по рассказам отца, в берлинские годы с неподдельным энтузиазмом ходившего чуть ли не на все спектакли гремевшего тогда реформатора немецкой сцены, и именно потому я тут же записался «в актеры», как только узнал о новом начинании. Неудивительно, что для первой своей постановки Роденберг выбрал одноактную пьесу, или скорее агитку, испанского автора-коммуниста, некоего Рамона Сендера — ведь гражданская война в той далекой стране вопреки всему оставалась в фокусе неослабевающего, искреннейшего интереса и сопереживания десятков миллионов благомыслящих и не обязательно столь уж благомыслящих советских граждан!

Прошло более полувека, и случайная роль в давнем, разыгранном всего два или три раза школьном спектакле принесла мне своеобразную «популярность» в Германии — по крайней мере среди студентов ряда университетов. А дело было вот в чем. В агитке воспевалась стойкость

арестованного коммуниста, который на допросе в фаланге не выдает своих товарищей, хотя и получает от фалангистских извергов увесистые пощечины. Не знаю почему, но Роденберг без малейших колебаний уже во время первого чтения пьесы определил мне роль «орфайгера», что означало палача, истязавшего мученика оплеухами по указанию следователя. На роль же героя наш режиссер после некоторых сомнений и раздумий назначил высокого, красивого, улыбчивого парня из соседнего класса, который, как мне казалось, по характеру своему, веселому и добродушному, менее всего подходил для нее. О парне этом я знал, что он сын известного мне с детских лет немецкого драматурга Фридриха Вольфа (в берлинское мое время там величайшую сенсацию вызвала его пьеса «Цианистый калий», о которой и у нас дома, но особенно у Гелибтеров велись горячие, иногда многочасовые дискуссии, а где-то в 1934-35 годах его пьеса «Профессор Мамлок» пользовалась и на московской сцене изрядным успехом) — а звали парня этого Мишей. В тот год — о чем расскажу ниже — мне еще и по другому поводу приходилось немало о нем думать и гадать, но после роспуска нашей школы я вряд ли хоть раз вспомнил о нем — вплоть до начала семидесятых годов, до первой своей поездки в Восточную Германию. Тут-то я с великим изумлением узнал, что «Миша» Вольф — не более и не менее, как руководитель разведки ГДР (Мишей в кавычках его называли, пикантным образом, западногерманские газеты — ибо настоящее его имя было, оказалось, Маркус). В 1982, кажется, году, когда я утром, как всегда, искал на своем радиоприемнике последние известия на немецком или английском языке — русскоязычные передачи с Запада глушились тогда специальными мощными установками, опоясавшими все советские города и земли —, я уже в промелькнувших венгерских, персидских, французских дикторских текстах неизменно наталкивался на одно и то же имя, Маркус Вольф, а поймав, наконец, Голос Америки, я узнал, что один из самых ярких, таинственных, устрашающих корифеев мировой истории шпионажа и секретных служб неожиданно ушел

в отставку. Спустя еще пять или шесть лет просочились слухи, что этот самый Вольф — одна из видных фигур во внутривластной оппозиции восточногерманскому диктатору Эриху Хонеккеру. А в 1989 году я буквально в каждой немецкой газете, которую открывал, встречал улыбающийся или грустный или затуманенный или задумчивый взгляд былой жертвы моих «истязаний», а то и возвышающуюся над толпой, словно башня, внушительную, торжественную фигуру — он пытался в те месяцы взять на себя миссию спасителя «социализма с человеческим лицом», преследуя иллюзорную, химерическую цель — насадить эту идеологию в своем «родном» государстве, насквозь прогнившем и уже охваченном всеобщей смутой. И вот, с весны 1990 я дважды в год совершаю лекционные поездки по Германии, выступая перед самыми различными аудиториями, но особенно часто перед студентами знаменитых, многотрадиционных провинциальных университетов, и каждый раз профессор (а в других местах какое-нибудь другое ответственное лицо) представляет меня в пространной вводной речи, стараясь заранее возбудить интерес не только к моим мыслям, но и к моей персоне. Слова о том, что я в свое время был активным автором самиздата, мало кого трогают, ибо почти никто, по крайней мере среди младшего поколения, и не слышал никогда этого экзотического буквосочетания; не слишком живое внимание привлекает и сообщение, что я перевел на немецкий язык большой массив новой и новейшей русской поэзии — давно прошли те времена, когда немцы гордились своей славой народа поэтов и мыслителей, и сегодня стихи считаются увлечением лишь редких чудаков; чуть большее впечатление, пожалуй, производит утверждение профессора, что я в книге «Неверная память» переистолковал всю русскую историю под новым углом зрения и произвел полную «ревизию», как они это называют, ее героев и антигероев; однако, подлинную сенсацию, шум, смех, сияние глаз, а затем напряженный интерес к каждому моему высказыванию — такое превращение было три или четыре раза — вызывает брошенное профессором с улыбкой заме-

чание, что «наш гость», дескать, в детстве как-то ударил Маркуса Вольфа — ведь это имя в Германии знакомо не то, что любому ребенку, словно прозвание злого волшебника из народной сказки, а ей-богу, кажется, им можно с успехом пугать любую собаку, любую кошку! При этом, кстати, десятки газет и по сей день удивительно охотно употребляют закавыченное прозвище «Миша» — я, правда, не совсем понимаю, в чисто ироническом ли, в полулакательном ли смысле (а это во мне пробуждает ностальгию — ведь моя школьная кличка «Манфред» давно канула в забвенье, и лишь два-три одноклассника еще вспоминают ее при встрече). Примечательно: один только раз какая-то студентка догадалась задать мне после лекции резонный вопрос, как же это я мог дать пощечину такому гиганту, как Маркус Вольф (здесь необходимо уточнение: в мальчишеском возрасте я физически развивался вполне нормально, но затем, в результате ленинградской блокады, слишком рано перестал расти, так что в зрелую свою пору оказался несколько ниже «среднестатистического» мужчины — однако, Миша Вольф даже тогда, в детстве, был все же намного выше меня). Пришлось объяснить те «театральные» обстоятельства, а это в свою очередь вызвало всеобщий смех окружающих — но именно тут, после этого непринужденного разъяснения, заметка о давних московских пощечинах появилась в одной из местных немецких газет! Так я нечаянно, совсем по-чеховски и все же не совсем по-чеховски, стал своеобразным — весьма своеобразным — «героем». Ибо смешную газету я долго таскал с собой...

Затем Роденберг, довольный нашей игрой в испанцев, выбрал для новой постановки куда более объемную, на этот раз советскую агитку — пьесу Киришона «Чудесный сплав». Но после второго или третьего совместного чтения автор этот попал под запрет — он был кем-то «изобличен» и вскоре арестован. И вот тогда наш режиссер решился на «Коварство и любовь».

Современному человеку может показаться, что такой выбор равнялся бегству от опасностей и трудностей времени, бегству в безветренное, защищенное традицией,

неприкосновенное лоно классики. Вероятно, субъективно так оно и рисовалось встревоженному нашему руководителю. Но не тут-то было, не такой была кругом атмосфера. Уже в самом начале, когда, глядя не столько в книгу, сколько на наши лица — ибо пьесу он знал наизусть — сам Роденберг с недюжинным мастерством мгновенного перевоплощения и не без чуть преувеличенного пафоса читал нам сцену за сценой, я замечал, что он при некоторых фразах странно вздрагивает, начинает говорить не совсем уверенным, слегка колеблющимся голосом, и вскоре понял, в чем дело — ему казалось, что в речах и репликах полтора-два столетия давности кто-нибудь вдруг обнаружит намек, или возможность намека, или возможность того, что кому-нибудь другому померещится намек на нашу действительность. И в этой инстинктивной своей реакции, я знал, Роденберг был прав. Пьеса Шиллера, хотя и была разрешена — высочайше разрешена — к постановке в сталинской Москве (мы всем кружком дважды смотрели ее, в Малом и в филиале Малого на Таганке), в любой момент могла оказаться «чуждой советскому зрителю», а ее постановка — «вражеской диверсией» или по меньшей мере «примером политической слепоты». Вдвойне подозрительным должен был выглядеть спектакль на языке оригинала — цензура, будь то предварительная или на «месте преступления», была бы затруднена, а кто поручится, что к идейной незрелости самого Шиллера какой-нибудь злоумышленник не прибавит еще от себя какие-нибудь незаметные, но подрывающие советский строй, шпильки? Утешением перед лицом такой неопределенности и непредсказуемости Роденбергу, конечно, не могло не служить сознание, что вряд ли наш любительский кружок вообще в состоянии когда-либо осилить задачу подобного размаха — и действительно, к тому моменту в конце года, когда нашу школу закрыли, мы были еще бесконечно далеки от готовности продемонстрировать свое искусство публично...

Что же касается нашего честно-старательного, осторожного, всегда корректного, всегда доброжелательного режиссера, то я впоследствии с возрастающим год от го-

ду удивлением — удивлением вообще-то радостным, ибо я ему симпатизировал — следил за его прямо-таки умопомрачительным политическим возвышением в восточно-германском государстве ГДР: лет через десять после возвращения своего на родину он стал заместителем министра культуры, затем членом Государственного Совета, состоявшего, по конституции, из 23 высших сановников, а в конце концов и одним из шести заместителей председателя этого верховного органа — чем-то вроде вице-президента республики!

Пути судьбы человеческой неисповедимы...

#### 41.

Чума может быть временем пира, может быть временем моральной закалки, может быть временем предельного нравственного опустошения, может быть временем элегического прощания с красотой мира, но может быть и временем некоего принципиально-многозначного русского «ничего».

В психологическом состоянии нашей славной компании так или иначе отражались и находили выход разные реакции на чумное время, но это затаенно-трагическое «ничего» преобладало, выражаясь не в последнюю очередь в постоянной жажде игры — серьезной или принимаемой всерьез игры.

Забытой, или точнее, негласно-запретной темой наших вечерних встреч оказалась политика — а ведь еще недавно некоторые из нас, и прежде всего тот же Ян Фогелер, бредили ею — и это был фанатизм отнюдь не показательный. У меня никогда, однако, не появлялось ощущение, будто такая внезапная политикофобия объяснялась хоть малейшей боязнью, что среди нас мог найтись кто-нибудь из той породы, которая впоследствии получила название «стукачи». Нет, импульсы были другие.

Школа, по замыслу привилегированная, «аристократическая», элитная, где каждый ученик и субъективно, о каком бы личном будущем он ни мечтал, сознавал себя

неким избранныком судьбы, превращалась на глазах в опасное, чрезвычайно уязвимое «гнездо изгоев», и тонус школьной жизни не мог не прийти, пусть не сразу, пусть исподволь, в соответствие с этим неестественным статусом. Вместе с тем, неслучайно ведь столь распространен инстинктивный метод психологической самозащиты: «О чем не говорят, того нет». Притом никто не хотел беречь раны или возбуждать страхи других, стихийно опасаясь стать самому жертвой острозаразной болезни страха.

Свою роль сыграло и появление в нашем классе, а затем — чуть ли не на первой же неделе — и в нашей все еще престижной компании весьма приметной новой фигуры: звали этого парня Мигель, и был он сыном премьер-министра сражающейся Испании, Хуана Негрина. Казалось бы, вот кто должен был вновь внести уже одним присутствием своим былую политическую заинтересованность, если не страстность, во многие разговоры наши, во все наше общение. Однако, как ни странно, Мигель Негрин менее всего годился и менее всего претендовал на роль эдакого юного борца, он был, наоборот, подчеркнуто благовоспитан, цивилизован, аполитичен, и в нашем кругу он сделался своего рода полюсом олимпийской уравновешенности. Немецким языком он владел достаточно, чтобы следить за уроками и честно зарабатывать хорошие отметки, вести с нами незатейливые беседы и улавливать нить более сложных, не на него рассчитанных речей, пикировок, споров — но подспудную игру, подспудные связи, находившие выражение часто в полупрозрачных намеках и в жаргонных новообразованиях, возникших в нашей же среде, он, естественно, при всем желании не схватывал. А русского он совершенно не знал, и насколько помню, не делал он никаких попыток как-нибудь научиться языку чужой страны. Меня же лично необыкновенно привлекало и подкупало его как будто взрослое и тем не менее совсем товарищеское отношение к каждому из нас — и свое расположение к нему я невольно переносил и на его отца и дело его отца, так что не хуже любого сталинского патриота переживал за испанскую республику, хотя пре-



красно видел, что она постепенно становится игрушкой в руках кремлевских властителей — впрочем, синхронно возрастала и опора франкистских мятежников на германский и итальянский фашизм, так что...

А главное, чего Мигель не замечал или недопонимал в жизни нашей группы, были любовные отношения и интриги, достигшие нешуточной интенсивности и внутренней напряженности. Когда я сегодня вспоминаю о них, мне их своеобразная причудливость и несовременная пикантность кажутся неким, не до конца, конечно, осознанным, протестом против окружающей чумы.

Среди нас по-своему выделялся крепкий, рослый, стройный, черноволосый Юра Борисоглебский, в отличие от большинства увлекавшийся не какими-то умными или заумными вещами, а спортом, и прежде всего гимнастикой. На мой взгляд — да так оно объективно и было — он обладал чрезвычайно привлекательной, мужественной внешностью, приятным тоном и манерой речи, скромным, ненавязчивым стилем поведения — одним словом, всеми данными, казалось, чтобы стать для девушек наших «первым парнем» в классе. Он был неразлучен с Яном Фогелером — можно было подумать, специально, чтобы оттенить разницу не только с этим маленьким, худеньким, юрким, соломенноволосям, бледным, веснушчатым зайчиком, уже тогда отличавшимся какой-то необыкновенно четкой, наставнической дикцией и лекторской интонацией, но и со всей остальной мелюзгой — по законам аналогии, контраста и ассоциации. На самом же деле эта неравная дружба возникла скорее благодаря тяге слабого к сильному — только здесь эта описанная в тысячах романов тяга осложнялась тем, что Ян превосходил Юру — бесконечно превосходил его — и по социальному статусу, и по «детской комнате», и по живости характера, и по общественной подкованности, и по школьной успеваемости, и по остроте языка, да и просто по авторитету среди учеников и преподавателей. И вот однажды Ян рассказал мне — а судя по всему, и многим другим — о жгучей, но безнадежной любви Юры к нашей

однокласснице Майе Тенненбаум. Хотя Майя уже давно входила в нашу компанию и участвовала в наших встречах, пожалуй, регулярнее, чем та же Валя Патковская, та же Рут Томас или некоторые другие девушки, я никогда особого внимания на нее не обращал; а сейчас был озадачен — Ян говорил несомненно искренне, с непритворной болью за страдающего друга и с каким-то сквозящим подтекстом и подтоном, по которому я догадывался, что он и сам успел заразиться, проникнуться, истерзаться той же снедающей страстью. А ведь Майя, как мне казалось, наружностью мало возвышалась над средним уровнем — у нее, правда были черные как смоль волосы, живые и выразительные темные глаза слегка японского разреза, полные, чувственные губы, напоминавшие мне губы Иды Гелибтер, и исключительно здоровый цвет лица, но роста она была скорее низкого, а при этом лишена того изящества, той грациозности, хрупкости, нежности, которая обычно присуща миниатюрным девочкам, и не было ни какой-либо утонченности в ее повседневном поведении, ни намек на элегантность в ее одежде. Не то, чтобы я очень уж ломал голову над причиной выбора Юры — я много раз уже слышал поговорку «Любовь слепа, полюбишь и козла» —, но когда Ян через несколько дней стал со злостью описывать демонстративную, вызывающую резкость, с которой Майя отвергала все попытки Юры установить между ними пусть не близкие, но хотя бы какие-то особые отношения, это возбудило во мне что-то вроде удивленного интереса, некое неопределенно-веселое любопытство. Разумеется, незаметно пока для меня самого, ранг Майи среди наших одноклассниц в моем сознании чуть поднялся. Но я и не подозревал, какая сила психологического воздействия на окружающих присуща такому зрелищу нескрываемой, все более пылкой и унизительно отвергнутой любви. По каким-то неведомым законам происходит странная цепная реакция. Прошло совсем немного времени, и зарождающиеся эротические инстинкты, тяготения, мечтания едва ли не всей мужской половины класса сосредоточились на Майе. Я поддался

этой лихорадке не сразу. Может быть, как раз это и заставило Майю затеять со мной игру, которая постепенно становилась для нее занятой привычкой, а в дальнейшем уже настоящей потребностью, и наконец сделалась, по-видимому, некой частью ее душевной жизни. Сначала она тайком, затем все откровеннее бросала на меня завлекающие взгляды, нарочито и не без шума поворачиваясь во время уроков, испытывала все старые как мир приемы кокетства, но понемногу в этой игре начало просвечивать что-то такое, что шло уже изнутри. Между нами образовалось то силовое поле, которое в более зрелом возрасте не могло бы не привести к взаимному сближению и соединению. Но я был еще совершенно незрел. Надо мной довлело фиаско с Вале́й Патковской — но не это одно делало меня робким, неуверенным, недогадливым. Мое куртуазное или, как говорят сегодня, половое воспитание ограничивалось чтением романов — а из них я мог почерпнуть только самые обобщенные и приблизительные представления о необходимейших и естественнейших действиях, типа «он обнял ее» или «она бросилась ему на шею» или «их губы сомкнулись в поцелуе», я же интуитивно понимал, что Майя ждет от меня совершенно определенных шагов и актов, о которых я не знал ничего точного и конкретного — и страшно боялся опозориться. Вместе с тем, по всему поведению друзей, по всей атмосфере, царившей в нашем кружке, мне было ясно, что мало кто замечает нашу с Майей игру, а если кое-что и замечают, то воспринимают это как один из хитрых элементов большой Майиной игры, центром тяжести и изюминкой которой всегда оставалось дальнейшее усиление власти, наслаждение властью, демонстрирование власти над Юрой. А мне вовсе не хотелось обижать, отчуждать Юру обнаружением своей внутренне-интимной связи с Майей — я опасался нарушить то идеальное согласие, которое при всех взаимных притяжениях и отталкивания всегда обеспечивало некий радующий, согревающий, стимулирующий климат внутри нашей, теперь уже больше года неразлучной, душевно породнившейся группы. Но кроме всего

прочего, мне просто нравилось это состояние невысказанности давно осознанного чувства, сокровенных токов между нами двумя — владычицей мыслей и желаний столько мальчиков и ее тайным избранником —, да не просто нравилось: это окрыляло, вдохновляло меня, поднимало над самим собой, и необычайно окрепшая вера в себя на самом деле придавала мне какие-то неизведанные, неожиданные внутренние силы, какие-то новые жизненные и, пожалуй, творческие импульсы. Однако, такая идиллическая уравновешенность всех взаимоотношений, как оказалось, была не совсем по нраву Майе, в какой-то момент ею овладело нетерпение, желание показать, что к чему и кто есть кто, и вот она — было это уже поздней весной, в преддверии экзаменов — устроила целый ряд ошеломляющих спектаклей...

Началось все как-то внезапно, в очень теплый день, во время перемены, когда вся школа высыпала во двор. Рядом с нашим зданием стояла — и стоит по сей день — старинная башенка, чудом сохранившаяся от белокаменной Москвы доромановских веков, несмотря на все войны, все большие и малые пожары, все неистовства большевистского и сталинского градостроительного террора. Мы очень любили залезать по высокому красному крыльцу, сильно обветшалому, местами совершенно разрушенному, на каменную площадку, полутемную и потому весьма романтичную, полную какой-то таинственной мистики.

В тот день нас было наверху человек двенадцать-пятнадцать, и в тесноте атмосфера таинственности не так ощущалась. Ян, помнится, пытался привлечь внимание Майи какими-то шутками, но она была непривычно задумчива. Прозвенел звонок. Тогда Майя вдруг во всеуслышание объявила, что ей боязно спускаться по рассыпающейся лестнице, резко повернулась ко мне и сказала:

— Ты поможешь мне, правда?

Так как до этого она, наверно, сотню раз без особого страха сходила по тем же ступенькам, мне от ее слов стало не по себе, захватило дух — намерения ее, явно заранее об-

думанные, могли идти только в одном направлении — и давали простор самой дерзкой фантазии. Когда же она, решительным движением взяв меня под руку, столь же решительно прижалась грудью к моей кисти, с вызовом глядя мне прямо в лицо, и, словно ловя их открытым ртом, жадно впитывала какие-то исходящие от меня флюиды, я весь и душой, и телом как бы раздвоился. Это шествие вниз по лестнице запомнилось как мгновение солнечного блаженства, картина этого лица и этого венца сияющих черных волос стоит перед моими глазами в немеркнущем чистом ореоле, и все же я знаю, что ни на секунду не забывал себя, не забывал, что на нас двоих направлены десятки изумленных, насмешливых или растерянных глаз, и ликуя, блаженствуя, я чувствовал себя не в своей тарелке. Ноги мои шли, но вопреки воле все тело окаменело, и Майя должна была воспринимать эту неподвижность как нечувствительность, а тем самым как оскорбление — от этой мысли скованность моя только возросла еще стократ. Поэтому я постыдным образом ощутил истинное облегчение, когда ступил наконец на ровную, утрамбованную землю школьного двора, но вместе с тем к смущению от пристальных взглядов такого множества заинтересованных наблюдателей прибавилось смущение от нечистой совести, от того, что оказался трусливее Майи, от того, что был недостойн ее любви. В замешательстве своем я улыбнулся — думаю, довольно неестественно и жалко — стоявшей здесь же, у подножия лестницы, Вале Патковской, а она ответила мне открытой, теплой и — может быть, вспомнив старое — какой-то польщенной улыбкой! А этот случайный обмен улыбками дал, похоже, толчок неожиданному и странному происшествию, имевшему место в тот же вечер — и в свою очередь повлекшему за собой неожиданные и странные последствия.

Давно мы уже не играли в фанты, одно из любимых развлечений начальной поры нашей вечерней компании. А тут вдруг снова — идея и инициатива, не сомневаюсь, исходила от Майи, непонятно только, почему мы все,

посерьезневшие, так охотно согласились потратить на это час-другой. Майя должна была назначать задания, а фантиками распоряжалась ее подружка Тамара Арзуманова. Они, судя по всему, выработали какую-то систему условных знаков или подсказок, благодаря которой Майя безошибочно узнавала, кому именно ей предстоит придумать испытание. Воображение у нее было богачейшее, и некоторые ее выдумки вызывали общий смех, от души. Но не все. Напряженная тишина воцарилась, например, когда она сказала «Пусть поцелует мизинец моей левой руки», а исполнителем оказался Юра и он с таким пылом приложился к этому крошечному фетишу, что мне впервые открылось: он ни разу еще не дотрагивался до Майи. Однако, затем подошел кульминационный момент, который потряс всех, а меня взволновал по-особому, так как я не сомневался в непосредственной связи разыгранной Майей сцены с утренним случаем — не сомневался в том, что это жестокий символический ответ на нечаянную улыбку. В отличие от всех предшествовавших, весело брошенных ею приказов, она новое свое требование произнесла твердым, даже каким-то стальным тоном:

— Пусть станет на колени, на коленях подойдет ко мне и поцелует подол моего платья.

Когда Тамара показала фантик и назвала имя Вали, кругом наступила мертвая тишина — тишина удивления, неверия, ожидания. Валя беспомощно оглядывалась. И тут Тамара вдруг с несколько натянутой веселостью засмеялась:

— Не будь шпильфердербер!

Это немецкое слово, означающее в буквальном переводе «портящий игру», в ученическом жаргоне являлось сильнейшим упреком, автоматически исключаящим «обвиняемого» из круга товарищей — так оно воспринималось в Германии, так и в нашей школе —, и никто ни за что не хотел считаться «шпильфердербером». Валя стояла еще минуту застывшая, неловкая, потерянная. Но власть Майи над мальчишескими душами была слишком сильна, чтобы кто-нибудь решился намекнуть ей на необ-

ходимость знать меру. Единственное, на что все-таки пошла Валя — она «самовольно» чуть изменила унижительное задание, медленно и как-то угловато, но во весь рост приближаясь к своей квази-сопернице — а была она как никак ростом несколько выше Майи —, но там, сломленная, опустила на колени и нагнулась к подолу, коснулась его губами. В это мгновенье Майя бросила на меня короткий торжествующий взгляд.

Но этот взгляд оказался предвестником не новой главы, а конца нашего романа. Ибо случилось вот что. Следующим Тамара достала мой фант — записную книжку мою. Слегка изменившимся, напряженным, а к концу фразы уже заметно возбужденным голосом Майя проговорила:

— Пусть пойдет со мной в соседний класс и исполнит все, что я пожелаю.

А когда Тамара указала записной книжкой на меня, Майя не слишком правдоподобно изобразила удивление и, сказав «Ну что ж», будто послушная судьбе, направилась к двери. Я столь же послушно последовал за нею. Меня охватили одновременно и некое ожидание чуда, и внезапный прилив какой-то трусливой смелости — «будь что будет», и громадное облегчение при мысли, что никто хоть не увидит, что там между нами произойдет. В соседнем классе было совершенно темно, лишь легкий отсвет от горевших где-то за уличными и дворовыми деревьями, бледных фонарей достигал высоких окон и делал смутно различимыми предметы вокруг. Майя, ни слова не говоря, тут же, хлопнув откидной доской, села за переднюю парту. Я почти механически опустился рядом с нею. Все еще не проронив ни единого звука, она мгновенным движением, которое показалось мне странно ловким, зажала ладонями мои виски — и впиалась чем-то невидимым, влажным в мои невинные, младенчески неопытные губы. Я же реагировал совсем не так, как хотел, действовал не так, как надо, и не так, как воображал, что буду действовать при первом поцелуе. Пытаясь отвечать на поцелуй, я чувствовал, что этот ответ мой не может не разочаровать Майю, и тем

торопливее, поверхностнее, абстрактнее становились мои прикосновения, тем беспомощно-сумбурнее, плачевнее все движения. Что было потом, как мы встали, как вышли из темноты, как нас встретили — какими взглядами нас встретили — друзья и подружки (ведь не могли не догадаться), чем и как кончился тот вечер — ничего об этом вспомнить не могу. И дело при этом не в выпадении памяти — я тогда ничего вокруг не замечал, подавленный неадекватностью, неумелостью, постыдной нечувствительностью своей. Потом оказалось, что Майя по пути домой изложила двум-трем девушкам нашу с ней «беседу» в соседнем классе совсем оригинально: она, мол, лишь воспользовалась предоставившимся благоприятным случаем, чтобы раз и навсегда внушить мне, как ей неприятна моя назойливость и что я не должен вечно пялиться на нее, она же любит и всегда будет любить одного Мишу Вольфа, с которым вообще ни один парень в мире не может сравниться.

Неожиданную весть об этом тайном увлечении Майи мне на следующее же утро сообщил Ян Фогелер. Я только что вошел в школу и собирался подняться по лестнице, как над перилами следующего пролета появилась взлохмаченная его голова — а обычно он причесывался очень аккуратно, с филигранным пробором —, и с неподдельной горечью и озабоченностью ломкий его голос как будто упрекнул меня:

— Ты еще ничего не знаешь!

Я ускорил шаг, перепрыгивая ступеньки, а когда поравнялся с ним, услышал фразу, совсем диковинную в его устах, произнесенную к тому же невероятно злым тоном:

— Никогда не знаешь, что можно ожидать от этих баб!

И когда он поведал о вчерашних откровениях Майи подружкам, я понял, что он сам чувствует себя отвергнутым, преданным, униженным. Разумеется, и для меня «измена» Майи была не просто уколом самолюбия, но я знал, что винить должен только самого себя, а это по какой-то странной логике смягчало досаду и служило своеобразным утешением.



А на первой перемене Ян поманил меня и, прикусив губу, кивнул головой в сторону Майиной парты. Делая вид, что мне любой сюрприз, которым парта эта могла удивить и расстроить Яна, в общем-то довольно безразличен, я подошел и как бы мимоходом взглянул на черную поверхность. Она вся была испещрена большими, чуть поменьше и совсем миниатюрными, нанесенными где красным карандашом, где синими чернилами, а то и нацарапанными, кажется, голым пером, двумя буквами «М.В.». Такое признание в любви через посредство собственной парты поразило меня своей театральностью и нелогичностью, и я заподозрил в этом какой-то тайный надрыв, признак тщательно скрываемой от себя же, отрицаемой в собственном сознании фрустрации — а в моей специфической ситуации и при моем состоянии духа такой, пусть чисто интуитивный вывод взбодрил меня, внушил чувство, что, хотя я и тряпка, но во мне все-таки что-то должно быть, иначе откуда же...

А ведь сотворение всех этих разноликих вариаций двух букв потребовало от Майи наверняка немало напряжения, изрядных усилий в течение чуть ли не целого часа — поэтому не только моя личная эмоциональная заинтересованность и вовлеченность, но и простое человеческое любопытство заставили меня признаться самому себе, что хорошо было бы, при всем моем «равнодушии», узнать подробности и подоплеку этой внезапно вспыхнувшей страсти — а у кого ж, если не у самого «виновника», Миши Вольфа? Возможность такая вскоре представилась, когда после очередного заседания драматического кружка несколько участников прямиком отправились в туалет. Вопрос я задал отнюдь не прямой:

— А в вашем классе тоже есть девушки, которые сыграли бы леди куда лучше, чем эта безжизненная кукла?

Миша подумал и пожал плечами.

— В нашем-то точно есть — , продолжил я, — да еще какие! Ты вообще-то знаешь кого-нибудь из наших?

Он несколько секунд соображал, потом произнес с полувопросительной интонацией:

— Тамару Арзуманову знаю.

— А Майя Тенненбаум тебе как нравится?

Он явно не сразу был в состоянии связать это имя с какой-либо персоной и потому честно обрадовался, когда наконец вспомнил:

— Такая маленькая, черненькая? Ну нет, для леди она низка ростом. Что ты!

Его забывчивость вполне удовлетворила мое любопытство. В последующие дни Майя, правда, действительно стала прилагать всяческие усилия, чтобы привлечь к себе внимание нового своего кумира. Но насколько я мог судить, с весьма ограниченным успехом. Может быть, эта осечка ударила бы по ее репутации, а тем самым и по ее власти в классе — но начались экзамены, а затем и каникулы.

После тех каникул многое и в школе, и в моей жизни, и в моих пристрастиях переменялось, Майя отступила на второй план — а после закрытия школы в декабре я на протяжении вот уже пятидесяти пяти с половиной лет видел Майю считанное число раз.

Как-то весной следующего, 1938 года мы все-таки, не помню по чьей инициативе и каким образом, снова собрались всей компанией и выехали к Яну на дачу. Внешне все выглядело, как обычно — это был, наверно, уже десятый или двадцатый подобный выезд —, но по настроению, элегическому и вместе с тем ностальгическому, эта последняя встреча полностью выпадала из ряда, в ней был другой смысл. Между мной и Майей как будто снова возникли какие-то неуловимые токи, но это было скорее нечто вроде миража — некое претворение внезапно гальванизированных воспоминаний...

Прошло двадцать шесть с лишним лет, и после моего возвращения из Душанбе я вновь встретился с Майей на первой вечеринке, устроенной Верой Коган для бывших одноклассников. Была Майя замужем за военным — кажется, полковником —, с которым в качестве военной переводчицы провела всю Великую Отечественную на фронте, но судя по всему, брак ее был далеко не счаст-

ливым. Это чувствовалось и по случайным ее замечаниям, и по нежеланию хотя бы коротко сказать что-нибудь о домашней своей жизни, и по тому, что на последующие наши встречи — а Вера устроила еще три или четыре и приглашала на них уже «с супругами» — Майя приезжала неизменно одна. И вот как-то в один из этих вечеров произошел разговор, открывший причудливую, парадоксальную, но во многом симптоматичную серию высказываний Майи о тех ранних виражах и кризисах своих любовных увлечений — серию, растянувшуюся на три десятилетия:

Тогда, в тот первый раз, изрядно постаревший, но все еще стройный и мужественный на вид Юра Борисоглебский, сидевший напротив меня, наклонился к Майе с какой-то затаенной нежностью, заставлявшей вспомнить былое, и сказал голосом сдержанным, но искренним, исповедным, что никогда больше не любил в жизни так, как в те годы любил ее. Майя же ответила совсем просто и сухо, бросив довольно безразличный взгляд на меня, улыбающегося, очкастого, что она-то любила только «Манфреда». За столом эти слова произвели небольшую сенсацию — многие и понятия не имели о давних сокровенных взаимоотношениях наших, а остальные начисто забыли обо всем подобном. Но когда мы потом вышли из гостеприимного дома и стали ловить такси, Майя явно избегала меня, а затем не хотела садиться в наконец-то найденную машину, хотя ей и было по пути с Линой Кариной и Нелли Соловьян, которых я обещал подвезти.

Прошло лет пятнадцать-восемнадцать, и как-то Вера, к тому времени овдовевшая, предложила, чтобы мы — а я бывал у нее довольно часто, у нас даже был своего рода легкий, ничего не значащий флирт — пригласили на чашку кофе Майю, тоже, как мы знали, овдовевшую. Разумеется, мне было интересно, я с энтузиазмом согласился. Не знаю, была ли при этом у Веры какая-то задняя мысль — но контраст в ее пользу оказался настолько разительным, что у меня подозрение такое невольно закралось: рядом с выглядевшей невероятно молодо (она начала заметно

стареть лишь лет за пять до своей кончины), холеной, эффектной, изысканно одетой (муж-художник, страстно увлекавшийся ювелирным искусством, оставил ей впечатляющую коллекцию драгоценных изделий и камней), ведшей светскую жизнь Верой Майя казалась типичнейшей, рядовой московской старушкой (она все время работала — где-то гардеробщицей, затем кассиршей в аптеке, затем лифтершей). Не помню, почему об этом зашел разговор, но в какой-то момент Майя стала с глубочайшей как будто убежденностью клясться, что всю жизнь любила одного Мишу Вольфа, никого кроме Миши Вольфа, тогда в детстве и до конца дней своих... Когда она собралась домой, она самым категорическим образом отклонила мое предложение проводить ее хотя бы до остановки троллейбуса. После ее ухода Вера как-то задумчиво-иронически улыбнулась, и я сказал, не столько, чтобы польстить ей, сколько, чтобы сформулировать собственные впечатления:

— На вид между вами разница в четверть века, в полмиллиона денег и во всю общественную лестницу.

Вера, которую в классе почему-то никто не замечал и которая в достопамятную компанию нашу не входила, теперь почувствовала сладость реванша и сказала мне с благодарной усмешкой:

— Легко, знаешь, любить человека, который никогда на тебя не посмотрит, а еще легче такого, который никогда о тебе не узнает.

Прошло еще около двенадцати или четырнадцати лет, и накануне своего семидесятилетия я стал подумывать о том, как бы более или менее достойно, не роняя и уязвляя самолюбия своего, отметить, несмотря на тяжелое время и недавний разрыв с женой, этот наверняка последний круглый юбилей в своей жизни. На запланированный торжественный ужин приглашались ближайшие друзья с супругами или подругами — и тут оказалось, что я единственный буду «без пары». И тогда мне пришла идея позвонить Майе. Она охотно приняла мое приглашение, и мы договорились встретиться на перроне станции метро «Сокол». По обыкновению своему я явился раньше назна-

ченного времени и стал, медленно прохаживаясь по платформе, терпеливо ждать. Прошел условленный срок, затем десять, пятнадцать, двадцать минут, полчаса — меня охватило беспокойство, я начал раздраженно оглядываться, но среди меняющейся, то и дело исчезающей и тут же вновь собирающейся толпы я тщетно искал столь знакомое лицо. Как-то совершенно случайно я обратил внимание на двух сидевших рядом на круглой скамейке, задумчиво уставившихся в пол, благообразных и благообразно одетых пожилых женщин, и вдруг мне показалось, что одна из них чем-то немного похожа на Майю. Я подошел и вопросительно посмотрел ей в лицо — но она отреагировала недоуменным, даже слегка возмущенным взглядом. Зато другая, словно внезапно очнувшись, спросила:

— Манфред?

Но не только внешне Майя основательно изменилась. Она теперь была образцом степенной, рассудительной, положительной московской пенсионерки с ветеранским удостоверением и солидным семейством (правда, выяснилось, что она по-прежнему работает лифтершей и лишь опекает внучат своей сестры), а это наложило печать и на все ее воспоминания. Всякие давние страсти и пристрастия казались ей теперь чем-то вроде забавного времяпрепровождения, разговоры о котором бессмысленны для познавших жизнь и мир людей. Память ее стала сугубо нейтральной. Правда, когда я сказал, что у меня есть книга Миши Вольфа «Трое из тридцатых» на русском языке, она попросила ее почитать. И только.

Девять дней спустя праздновал свое семидесятилетие Адик Розанов. Он пригласил нас вдвоем — и мы пришли и сидели и ушли вместе. С тех пор прошло больше полугода. Я ей два или три раза звонил. Но больше мы не виделись.

Если различные аспекты, цели, сущности 37-го года — добывание партийной и внепартийной оппозиции, пресечение сопротивления новой волне идеологии, смена господствующих классов, каст и кланов, психополитическая и кадровая подготовка союза с Гитлером, общая деэвропеизация и децивилизация массового сознания, наконец, просто не разбирающая жертв своих чума — были слишком переплетены и взаимосмешаны, чтобы можно было, с точки зрения истории, говорить о каких-то переходах, этапах, отчетливых линиях, то, надо думать, переходы, этапы, линии индивидуального восприятия этой катастрофы можно во многих случаях выделить с достаточной рельефностью — и если бы удалось собрать и проанализировать соответствующее количество осмысленных — и осмысляющих события под таким углом зрения — свидетельств современников, то подобная мозаичная картина феномена оказалась бы, возможно, ключом и кое к каким сложным историческим загадкам, к некоторым многозначительным и многозначным историческим проблемам. Но это — если бы...

Я же хочу описать здесь по возможности рельефно свои, именно свои переживания и потрясения 37-го — не только и не столько как некий мозаичный камешек в гигантском апокалиптическом образе, сколько как ступень в своей судьбе, в своей сугубо личной жизненной и духовной судьбе.

Должен подчеркнуть: то, что в объяснении и оценке происходящего я был далеко впереди окружавших меня непосредственно людей, и прежде всего родителей — это не самообольщение, а также не абберрация, обусловленная позднейшими прозрениями и расхожими толкованиями тогдашней трагедии, тогдашних трагедий. Нет, так оно было на самом деле. Но это являлось следствием не только моего критического отношения к режиму вообще: сами те невероятные, непостижимые, ошеломляющие случаи арестов, с которыми я все чаще сталкивался, те невероят-

ные признания, непостижимые саморазоблачения, фантазмагорические покаяния, которыми изобиловали газетные отчеты о двух-трех как будто открытых процессах, ведь не могли не сорвать пелену с глаз любому, казалось бы, кто был хоть в какой-то степени способен мыслить здраво — но вся беда заключалась в том, что идеологическая одержимость одних, садизм других, плебейский менталитет третьих, своекорыстное самовнушение четвертых, защитный самообман пятых сливались в такую ядовитую смесь общественного психосостояния, которая лишала большинство народа — действительно большинство, это не ложь! — способности здравого рассуждения. Меня же от любого, минутного хотя бы ослепления спасли тогда не только Пушкин и Ницше, не только бескомпромиссная логика Р.А., с которым я все же продолжал изредка встречаться и вне школы, но — в неменьшей мере — один поистине жуткий эпизод, разыгравшийся однажды в утреннем трамвае.

В толкотне меня прижало к сиденью, на котором расположились две совершенно первобытного вида женщины, чьи широкоскулые, кирпичные по цвету и фактуре лица как нельзя более вязались с столь же бесформенными, столь же примитивными и грубыми телогрейками, усеянными комковатой серой пылью и выплюнутой шелухой семечек. Вдруг одна из них с какой-то неизъяснимо самодовольной и злорадной интонацией протянула:

— А Катька-то наша, а, Ивановна, враг народа наверно станет? Поделом ей.

— А то как же», поддержала другая, «вот бы еще Танька, задавака, влипла как следует.

Неожиданно вмешался прыщавый, наголо остриженный парень, оказавшийся рядом со мной:

— Сейчас-то кругом враги народа! Но берутся за них! Вот я где работаю, мы каждый день кого-нибудь поймаем! Изворачивается, изворачивается там, ан нет — мы сразу же, куда надо. У нас это скоро

Одна из баб заржала, глядя на парня и скорчив какую-то жабообразную и вместе с тем хитрую гримасу:

— Представляю. Теперь небось все девки под тебя ложатся, а?

В этот момент к умной беседе присоединился еще и старичок, сидевший напротив двух пугал, и сказал, предельно четко и правильно, по-московски произнося слова, настолько громким голосом, что весь вагон не мог не слышать:

— Это, знаете ли, великое дело. Очищение всей нашей советской земли от врагов народа — это праздник для всех нас! Я горжусь своим сыном, он разоблачил уже восьмерых врагов народа и пятерых заподозрил. Он настоящий пример другим! Это только начало, уверяю вас!

И в глазах его заблестели лихорадочные, сумасшедшие огоньки. Я ожидал, что люди в вагоне ответят на этот бред тяжелым, глухим молчанием. Но я ошибся. Кругом завязались какие-то разговоры, какое-то шушуканье, и мне то и дело слышались слова «враги народа». Я был в таком ужасе, что выпрыгнул бы из вагона, если бы не вспомнил, что на следующей остановке все равно большинство пассажиров выйдет. В этой заразительности безумия ощущалось что-то роковое, первостихийное, мистическое, и с этого момента мне было ясно, что как раз здесь — один из глубинных источников, из главных очагов чумы.

Очень отчетливо помню первый случай, когда жертвой стал более или менее близко знакомый мне человек. Однажды вечером отец пришел домой сильно расстроенный. Он сразу же, против обыкновения, сел за стол и сжал голову руками.

— Ты знала Арнольда? — спросил он после некоторого молчания мать.

Не помню, что ответила она, но я-то отлично знал этого двадцатилетнего немца, бледного, рыжеволосого, с вечно горящими, экзальтированными глазами, готового часами обсуждать политическое положение и успехи «дела» в Испании, во Франции, в Китае, но безудержнее всего, конечно, в Германии.

— Арнольд арестован —, сказал отец, — наверное, он был агентом гестапо из тех, совсем хитрых. Которых они вне-



дряли в коммунистическое движение еще детьми. Потому что я точно знаю, что он еще семь лет тому назад был юным пионером в Гамбурге. Значит, провокатор был, шпион. Это ясно. Ведь здесь он никак не мог завязать отношения с гестапо. Это еще оттуда идет!

Такая логика, основанная на посылке об абсолютной непогрешимости «органов», уже в тот момент показалась мне чуть уязвимой, но никакого предчувствия подлинного характера таких арестов на тех дальних подступах еще не возникало — я вполне допускал, что парень этот был искусным актером. Но когда отец весной и в начале лета снова и снова сообщал об арестах то своих подопечных, то других иностранцев, то давних знакомых, то известных деятелей, и всякий раз гадал, какая вина лежала на вновь «разоблаченном» — был ли сознательным вредителем или «поддавшимся» или бухаринцем или засланным агентом или случайным пособником или «продажной шкурой» — я в конце концов не выдержал и однажды со всей ясностью выложил ему свое мнение. Он пришел в ужас, но при всем негодовании, с которым он обрушился на мои «нелепости», явственно чувствовалось, что он сам уже давно борется с сомнениями и что мои доводы лишь подлили масла в огонь. Мать же испугалась по другой, более реальной причине: с дрожью в голосе она стала заклинать меня, чтобы я ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не высказывал своих глупых подозрений перед чужими, даже если я их считаю хорошими друзьями. Естественно, мне было обидно, я недоумевал, как она может видеть во мне какого-то упавшего с луны недоросля, которому нужно внушать такие элементарные аксиомы. Но чтобы успокоить ее, я все-таки поклялся, что никогда, никогда, никогда...

#### 43.

Каким поразительным знаком беззаботности это ни кажется сегодня, когда всем слоям населения, всем поколениям известны беспримерные масштабы тогдашних

бед, отец и на лето 37-го наметил путешествие — на этот раз по Волге, по Каме и на Урал —, и я задолго до каникул знал о всех подробностях: участвовать должны были он, я и некий двоюродный брат его, живший в Свердловске (так уже в ту пору назывался Екатеринбург), а поскольку отцовский отпуск был, разумеется, гораздо короче моих каникул, мне предстояло провести еще и месяц в уральской столице у этого дяди моего.

Хотя Волга тогда еще была цела и здорова, хотя с обеих сторон нашего парохода открывался один вид красивее другого, хотя дореволюционной постройки, хорошо отремонтированное судно представляло собой действительно идеальное, в принципе, место отдыха и все мы, пассажиры солнечной палубы, уютного салона и удобных кают верхнего яруса, могли на своем островке нерушенного как будто мира наслаждаться всеми благами и прелестями великого Божьего творения, даже если у большинства, наверное, тем временем и скребло на душе — плавание это оставило во мне отнюдь не такие уж ностальгически-умиротворенные воспоминания. Наоборот.

Оно впервые натолкнуло меня, думаю, на самые начальные шаги к той идее, которая впоследствии сделалась наиболее резкой, основоподрывающей, «возмутительной» чертой моего общественного и исторического кредо — к идее радикальной децентрализации, к концепции российского политического регионализма и культурного многоочагия. Этот четвертый краеугольный элемент моей идеологии принял сколько-нибудь живые, выпуклые очертания лишь позже — намного позже, чем исходная для меня истина, противостояние дух-идеология, чем принципиальный элитаризм и чем воинствующее западничество. Он встречал наибольшее сопротивление не только в моем окружении и в непосредственно заинтересованной интеллигентской среде, не говоря уже о других, не знавших меня даже хотя бы по имени кругах общества, но и во мне самом. Зато — этому есть множество и косвенных, и прямых свидетельств — он не остался чисто идеальным фактором, а сыграл, пусть опосредованно, какую-то труднооце-

нимую роль в реальной эволюции народных настроений, народной самоинтерпретации, народного менталитета. Труднооценимую, ибо невозможно, конечно, установить действительную меру влияния самиздатовских рукописей и малотиражной книги на психологические и психополитические процессы, так или иначе вполне соответствовавшие и макроисторическим закономерностям, и конкретным, органическим потребностям данной исторической общности. Но обо всем этом речь впереди.

А тогдашняя первичная — нет, еще не мысль, а скорее промелькнувшая в уме молния была вызвана открывшейся мне неожиданно на второй или третий день путешествия, странной картиной переполненного людьми нижнего отсека, а может быть, трюма нашего же корабля. В то время, как у нас наверху текла своего рода санаторная, если не светская жизнь, здесь в непостижимой тесноте была сжата пестрая, многоликая толпа изнывающих от жары и духоты людей, толпа, на которой при всей разнотипности составляющих лежала отчетливая единая печать — не поддающаяся определению и детализации печать провинциализма. А состояла эта толпа частью из бедно одетых, изможденных, с исстрадавшимися глазами мужчин, женщин, детей, частью из молодых, крепких, по всему виду довольно агрессивных особей обоего пола, живо напомнивших мне ту двухгодичной давности беседу Иды с «физкультурницей» в шумном вагоне сочинского поезда, но наряду с ними бросались в глаза лица другого типа, другой породы — умные, приветливые, несчетные, одухотворенные, явившиеся из каких-то недоопустошенных глубин векового бытия. В Москве я видел подобные лица чрезвычайно редко — там самые благородные, самые интеллигентные черты почти всегда бывали отмечены знаком крайней внутренней напряженности, неосуществленности, несвободы. Ясноглазое спокойствие, с которым эти вот люди воспринимали нечеловеческую скученность в полутемном, оскорбительном этом корабельном помещении, говорило, мне казалось, не столько о привычке, сколько о вошедшем в плоть и кровь знании и понимании народной судьбы, не

столько о доходящей до самоуничтожения скромности, сколько о чувстве принадлежности к определенной общности. Во мне это возбуждающее разнообразие лиц породило какое-то произвольное, неосмысленное желание хотя бы на самое короткое время смешаться с этой толпой, стать сопричастным чужому этому миру, и я сел на краешек одной из обшарпанных длинных скамей, рассекавших помещение, и стал прислушиваться к разговорам. Увы, подавляющее большинство интересовалось лишь одной вечной темой — в каком городе, в какой местности снабжение лучше, где легче или выгоднее купить говядину, где мануфактуру, где керосинки, а где корм для скота — но при всем том меня поражало искреннее стремление всех этих друг с другом незнакомых людей сообщить случайным собеседникам своим как можно больше полезных сведений о всяких там магазинах, рынках, товарах, ценах — ни тени своекорыстия, зависти или высокомерия, ни ноты отчужденности или недоверия, только непритворное желание помочь. Однако, я ждал, что все же кто-нибудь в конце концов обязательно упомянет врагов народа, виновных во всех трудностях, а уж тем более в плохом снабжении. Но слово это так ни разу и не было произнесено. Постепенно до меня дошла причина подобной «аполитичности»: люди давно свыклись с неизбывным товарным голодом, они даже радовались, что хлеба и картофеля было вдоволь да там и сям от поры до времени появлялись вдруг и другие важные для жизни вещи. Не то, чтобы они не слышали о врагах народа — еще как слышали —, но это было словно в другом измерении, это относилось к туманной сфере зловещих международных заговоров даже тогда, когда врагом народа оказывался сосед по деревне или пьянчужка-билетер в городской бане... Чужой мир провинции мне тогда так и остался чужим, к тем просветленным лицам я так и не приблизился...

Но я увидел иную ипостась, иное начало провинции, ее память, ее города. Нижний Новгород, Пермь, Екатеринбург. Может быть, то, что я открою, чудовищно, но это так: я, проповедник регионализма, не устававший в десятках

публикаций, докладов и радиоречей здесь и в Германии, в сотнях частных бесед, семинарских выступлений и самиздатовских манускриптов ратовать за возрождение русской провинции путем отречения от московской идеи, отхода от культурного москвоцентризма, политического отложения от московской империи, сам только и выезжал тот единственный раз за всю жизнь в периферийные центры, собственного, хотя бы кратковременного опыта российского провинциального существования, провинциальной борьбы за самоосуществление совершенно лишен — а свою концепцию полицентрического развития народа вывел исключительно из общих исторических и культурологических представлений и суждений. Правда, в разное время я довольно часто ездил во Владимир и Суздаль, но всегда в обществе людей, ничем, кроме памятников старины, не интересовавшихся, так что и я не имел возможности сколько-нибудь серьезно вникать в современную жизнь этих наследников многовековой истории.

Тогда же, летом 1937 года, дело обстояло несколько иначе. В Горьком, исходном пункте нашего плавания, нам выпала чудесная, солнечная, мягкая погода, и так как отец, всегда точно рассчитывавший часы любых приездов, отъездов, заездов и т. п., благоразумно устроил «день отдыха» накануне посадки на пароход, у нас оказалось время славно «порыскать» по городу. Мы вскарабкались по какому-то довольно отвесному, густо поросшему травой склону на кремлевский холм. Открывшаяся панорама, которая наверняка охватывала лишь незначительную часть городского пространства Нижнего, показалась мне грандиозной — не размерами своими, а каким-то поэтическим ореолом, какой-то торжественной историчностью, она влилась в меня, наполнила меня, овладела мной. Она стала частью душевного мира моего не своей живой реальностью, а отвлеченной, погруженной в светотень романтических мечтаний, манившей меня в неведомые еще дали символичностью — а случилось это за считанные минуты, ибо я послушно следовал за старшими, двинувшимися дальше, да и собственные мои визионерские

склонности проявлялись всегда лишь в таких мгновенных миражах.

А город был интересен сам по себе, безотносительно к моим видениям и наваждениям, был интересен своей непритязательной человечностью, своей укромной традиционностью, своей уютной архитектурой. Это не мог не чувствовать даже мой дядя, и он в этом чувстве нехотя признался — вопреки своим профессиональным принципам и эстетическим воззрениям. Для меня это признание было психологически лакомым кусочком.

Дело в том, что дядя, человек в обыденной жизни очень умный и приятный, представлял собой тип узколобого догматика-авангардиста в своей области — архитектуре. До этого путешествия я встречал его дважды: он остановился у нас в Берлине проездом из маленького немецкого городка Дессау, где в те годы находился знаменитый рассадник модернистского зодчества Баухаус, и в спорах с отцом, вкусы которого неизменно оставались классическими, с жаром доказывал несостоятельность любых художественных стилей, кроме конструктивизма; а за год или полтора до нашего летнего путешествия он приезжал в Москву и во время моих с ним продолжительных прогулок вдвоем по городу объяснял мне подробно, почему станции метро могли быть спроектированы только купчихами прошлого века, а гостиница «Москва» — слепцом. Мне самому напыщенность московского метро претила — хотя, надо сказать, самовосхваление режима в подземных тортообразных дворцах приняло подлинно тошнотворные, а часто прямо-таки комические формы лишь в послевоенные сталинские годы, в 1936-м же речь шла о тех станциях первой линии, которые сегодня кажутся вполне скромными, стилистически уравновешенными — однако, в пик ему я стал превозносить красоту пышных дворцов девятнадцатого века, построенных-де вовсе не для купчих, а для утонченнейших аристократок. В отношении стиля он шел на уступки, признав, что «каждое время, к сожалению, имеет свои представления о красоте», а вот насчет аристократок он выразился не очень почтительно, заявив, что «им

некогда было думать о вкусах, им надо было пороть крепостных баб и девок». И лишь общаясь с ним в Свердловске, я понял, что эта благоглупость была сказана им «в воспитательных целях», поскольку моя зачарованность аристократией казалась ему чрезмерной, экстравагантной, а может быть, и опасной.

О том, что еще декабристская мысль выдвинула тезис о переносе столицы в Нижний Новгород как спасительной для России акции, я узнал, насколько помню, через несколько месяцев, и каким «петербургским патриотом» я ни успел к тому времени стать, идея эта, слившись с воспоминаниями о нижегородских моих наитиях и переживаниях, пустила в каком-то потаенном уголке моего сознания какие-то, пусть сначала не очень мощные и не очень глубокие, но, как оказалось, достаточно цепкие корни!

Наглядный урок на тему «взаимоотношения столица-провинция» мне, однако, был преподан в тот же вечер в нижегородском ресторане. Заметив, как основательно я изучал меню, официантка с ехидной улыбкой процедила:

– Все равно, молодой человек, ничего нет, кроме рубленых котлеток.

Хотя в Москве я был завсегдатаем только самых что ни на есть первостатейных ресторанов, я отлично знал, из чего могут состоять всякие подобные рубленые изделия, и у меня с давних пор было стойкое отвращение к ним. Вероятно, отвращение это ясно читалось на моем лице, а официантку такая избалованность и привередливость позабавила, и она несколько раз насмешливо обвела нас всех троих терпеливым взглядом. Но вскоре терпение ее лопнуло, и она коротко, даже как-то сурово спросила:

– Ну как, будем заказывать котлеты?

Это меня взбесило, и я уже демонстративно скорчил гримасу. Удивленная, видно, тем, что взрослые обращают вообще какое-то внимание на мои причуды, она обратилась поверх нас к пустому пространству или, может быть, к воображаемому собеседнику:

– Можно подумать, что у них там в ресторанах жареного поросенка подают.

Тут я почувствовал себя задетым за живое и сказал, хотя это и не соответствовало действительности:

— В любом московском ресторане вам подадут жареного поросенка с маслинами и лавровым листом!

Слова мои произвели на нее куда большее впечатление, чем можно было ожидать. Она посерьезнела, на секунду задумалась, затем решила удостовериться:

— Вы что, из Москвы?

Поняв по лицам взрослых, что уж в этом отношении я не приврал, она вдруг сказала голосом чуть ли не заискивающим:

— Знаете, к нам всякая публика ходит. Сейчас постараюсь.

По тому, как она удалилась, шагом сознающего свой долг солдата, угадывалась некая психологическая метаморфоза, произошедшая в ней при одном упоминании столицы.

Через минуту-другую она вернулась с небольшим списком блюд, которые можно было бы, как она подчеркивала, специально для нас приготовить. Убедившись, что двое взрослых полностью полагаются на мой выбор, она мне тихонечко, почти на ухо посоветовала «нашу волжскую специальность», какое-то блюдо из красной рыбы, и казалась искренне польщенной, когда я внял ее совету. С этого момента она обслуживала нас с такой безмерной предупредительностью и старательностью, о какой ни один посетитель лучшего московского ресторана даже тогда и мечтать не мечтал. Но любезность ее почему-то не радовала — ни меня, ни, чувствовалось, отца с дядей. Нет, я отлично понимал, почему: тут проявляло себя не теплое гостеприимство, а раболепное признание собственной второсортности, тут давала себя знать историческая привычка смотреть на столичных жителей как на своего рода начальство, сказывался в конечном счете глубокий, вековой страх перед покорительницей Москвой!

А затем — ночь ужаса в привокзальном отеле. О сне и речи не могло быть, так как из речного порта каждые две-



три минуты доносился первобытно-дикий, беспощадный, истошный, мироразрывающий вой очередной сирены — двойные рамы гостиничного окна были, несмотря на летнюю духоту, плотно закрыты, но это жалкое поползновение уменьшить адскую силу звука казалось лишь дополнительным издевательством — с тех пор прошло, шутка ли сказать, пятьдесят шесть лет, а я при воспоминании об агрессивной той ночной музыке по-прежнему вздрагиваю. Но ведь вокруг жили люди, жили десятки тысяч людей, которые подвергались нечеловеческой пытке ночь за ночью из года в год — неужели они не могли собраться, взять штурмом порт и потопить все корабли? Гудки эти были — так я ощущал и толковал их — воплощением и волеизъявлением советской эпохи: здесь цинично заявляло о себе бесцеремонно-хищническое, человекопрезирающее, наглое притязание экономической деятельности на право вторжения в личную жизнь, здесь, этой вот торжествующей какофонией, постулировалось безусловное подчинение частного начала государственному, душевного материальному, живого индивида некой анонимной высшей силе...

#### 44.

После Перми нас ждала еще несказанная, неописуемая красота Чусовой, когда же вернулись в город, меня охватили страшные предчувствия. Отсюда отцу предстояло возвратиться в Москву, а нам с дядей продолжить путь вглубь Урала.

Мы вдвоем с отцом сидели на скамейке, кажется, в привокзальном сквере. Настроение и у него было не лучшим — не мог же он не испытывать тревоги, хотя и не желал самому себе в этом признаться. И вдруг мне пришла совершенно несуразная, дикая мысль:

— А может быть, тебе бы попробовать и на время устроиться в каком-нибудь месте вот такого рода, тихом и красивом? Переждать?

Естественно, он посмотрел на меня как на безумного. (Впрочем, лет двадцать тому назад покойный ныне

журналист Григорий Вайс при мне рассказывал, что он в 37-м спасся именно подобным образом — конечно, за правдивость его повествования трудно поручиться). У нас же с отцом развернулась после этого своеобразная дискуссия, логика которой была донельзя банальной, но, думаю, показательной — вот как она мне приблизительно запомнилась:

— Что ты болтаешь? Кто тебе внушил, что в Москве мне что-нибудь грозит?

— Ты же не считаешь меня слепым?

— Не верь рассказам! Подумай хорошенько, какая корысть товарищам из НКВД или тому же Ежову сажать ни в чем не повинных людей? В чем-нибудь, наверно, они все-таки провинились! Это же ясно, иначе быть не может.

— Что значит, в чем-нибудь? Не так плевались, что ли?

— Не глупи. Посерьезнее что-то, ты же сам понимаешь.

— Так выходит, есть огромная организация, которая так и называется — враги народа?

— Нет, конечно. Есть, очевидно, много разных организаций, много разных групп. А кроме того, есть шпионы фашистские!

— Но подумай, если их всех подряд разоблачают, почему же ни одна такая группа не пускается на какой-нибудь акт отчаяния? Хотя бы военные? Ведь у Тухачевского-то власти немало было?

— Они понимают, что народ будет против них.

— Так если они враги народа, они и должны пойти против народа.

— Не так все просто. Многие, может быть, видят мир наоборот и считают себя друзьями народа.

— Народ, народа, народу, о народе... Но они же люди и должны думать о себе. Если не восстать, так хотя бы скрыться.

— Их всегда найдут.

— Значит, они такие немощные, беспомощные, хотя их так много? Как-то не вяжется. В их поведении тогда ведь какая-то загадка получается. Нет. Все наверняка проще. Ты что, действительно не допускаешь, что кто-нибудь

просто хочет занять места арестованных? Что кто-то там прет снизу?

— Да о чем ты говоришь! У нас же такое напряженное положение с кадрами — и в хозяйстве, и в науке, да буквально повсюду не хватает рук и голов! Кому тут надо вытеснять других! Как ты думаешь, если бы дело было так, то Сталин не узнал бы и не прекратил бы все это тут же? Ведь пойми, это же наносит очень большой, огромный ущерб и строительству, и обороне.

— Значит, в НКВД работают ангелы во плоти?

— Не ангелы, а коммунисты. Конечно, ошибки могут быть. Но если бы товарищи эти сплошь и рядом ошибались, то их бы живо поправили, уверяю тебя.

— Кто же это поправил бы?

— Сталин. Сталин все может.

На это мне, все меньше верившему в вождя, нечего было ответить. На перроне я отца поцеловал, что никогда не делал — во мне что-то трепетало, в сердце вселилась не тревога, а тяжелая убежденность, что вижу его в последний раз...

Когда месяц спустя я из окна замедляющего ход поезда заметил его в толпе встречающих, я был вне себя от радости. Как будто отсрочка равнялась спасению!

У свердловского дяди моего, носившего обыкновенную еврейскую фамилию Шефлер, но непостижимое — насколько мне известно, чисто венгерское — мужское имя Бела, была на редкость благоустроенная по тем временам квартира в заводском поселке «Уралмаша», в четырехэтажном доме, построенном по его собственному проекту, разумеется, в стиле конструктивизма — но отнюдь не нарочито-броского. Он общался, и, видно, не без удовольствия, с заводской верхушкой, и сам директор Владимиров иногда приглашал его на загородные прогулки. Вместе с тем, он досконально знал и собственно город — несколько раз он водил меня по достопримечательным местам, и когда он забывал о своем коньке, говорил не об архитектуре, а о прошлом Екатеринбурга, в его речах проступали какие-то ноты регионалистского самосознания, регионалистской

гордости, регионалистского протеста. Естественно, он пришел в ужас, узнав, что я, столько читавший, имел лишь самое туманное представление о Мамине-Сибиряке, и с горячими рекомендациями вручал мне томик за томиком — а я, удаляясь в близлежащую рощу, поглощал повесть за повестью, новеллу за новеллой, очерк за очерком. Зеленая чаща, до которой почти не доносилось назойливое грохотанье громкоговорителей, окаймлявших в те годы любую советскую улицу, площадь, детскую игровую площадку и т.д., воспитывая народ в духе любви к великому Сталину и ненависти к презренным врагам народа — эта зеленая чаща, сочетавшая несоветскую тишину и свободу с несоциалистическим реализмом Мамина-Сибиряка, с тех пор ассоциировалась в моем быстро взрослеющем сознании с некой тихой, свободной, немосковской Россией.

Несколько странный нюанс вносила в екатеринбургские мои дни одна загадка, которая так и осталась для меня загадкой: почему дядя Бела был женат на чудовищно некрасивой женщине, низенькой, неимоверно худой и костлявой, неухоженная внешность которой вполне соответствовала ее, мягко выражаясь, неухоженному языку, в котором вульгарные как на подбор слова нанизывались и совмещались, но не связывались друг с другом, как в человеческом русском. А когда я однажды спросил дядю, почему его жена не пользуется такими хорошими стилистическими средствами, как грамматика и литературная лексика, этот поклонник Ле Корбюзье и Мамина-Сибиряка к моему несказанному изумлению ответил, что именно такая подлинная простонародность кажется ему в ней самым привлекательным качеством. Откровенно говоря, я ему не поверил. Хотя, кто знает... Сложная и таинственная вещь — человеческая душа.

К сожалению, я больше никогда ничего о дяде Беле не слышал.

В сентябре уже в самых разных кругах Москвы царила настоящая паника. Но как ни парадоксально, я чуть успокоился — может быть, повлияло то, что отец все-таки оказался на свободе —, и та ранняя осень была отмечена игриво-лирическим моим сближением с Рут Томас.

С первого дня учебного года мы оказались за одной партой. Не могу сегодня вспомнить, каким образом у нас в классе определялось, кому с кем и где сидеть — я как будто два или три раза сам выбирал себе место, но если это было правилом, то непонятно, почему мне так и не удавалось делить парту ни с Вале́й, ни с Майей, ни, самое главное, с Р.А. Однако, вполне допускаю мысль, что Рут на этот раз применила какую-то маленькую хитрость. Ибо инициатива в нашей игре исходила несомненно от нее. А игра-то кое в чем выглядела как вызов времени, хотя мы это не совсем осознавали.

Рут, настоящая немка, во многих, иногда весьма существенных сторонах и частностях своего жизненнастро́я и поведения заметно отличалась от других моих сверстников и друзей. У нее была тяга к вещам, для нас тогда просто немислимым, бесконечно далеким и чуждым: интересовалась американским и немецким кино, шлягерами и джазовой музыкой, западными модами, приносила с собой фотографии Греты Гарбо и Лии де Путти, Гарри Купера и Ханса Альберса. Но в то же время она жадно, без устали участвовала в нашей компанейской жизни, легко сходилась с одноклассниками и одноклассницами разных групп и группок, а со мной общалась уже давно и охотно довольно часто, так как сначала была интимной подружкой Лины Кариной, а затем, во время наших послеобеденных «тусовок» (все лезет современное слово, о котором тогда никто понятия не имел!), при всех невысказанных междевичьих коллизиях, ревностях и интрижках брала неизменно, безусловно и энергично сторону Майи. Теперь же, когда мы с Рут чуть ли не на каждом уроке обменивались десятками записок, выяснилось, что ей Майя не столько нрави-

лась, сколько импонировала, что на нее большое впечатление производило именно умение совсем обыкновенной и по внешним данным, и по интеллекту, происходящей из совсем обыкновенной семьи девушки так поставить себя в кругу своих товарищей. Признания Рут носили какой-то особый, характерно немецкий налет поклонения неформальной власти и влиянию, и это вызвало у меня невольные, в чем-то и логичные ассоциации — между Майей и тем давним берлинским предводителем юных коммунистов и нацистов Байером. Рут же восприняла мое сравнение с каким-то незнакомым ей, к тому же фашиствующим мальчиком, как решительное отступление мое от Майи, и это побудило ее резко переменить фронт, к чему, я чувствовал, она с самого начала готовилась. Она посмотрела на меня испытующе-пристальным, «вчитывающимся в душу» взглядом, бросила пробную, с легким намеком улыбку, а когда убедилась, что во мне возникает ожидаемый ею, желанный для нее рефлекс, в течение нескольких минут не поднимала глаз, а затем задумчиво, с какой-то тяжелой настойчивостью вперилась в затылок нагнувшейся там впереди над своей тетрадью Майи, пока та, словно почувствовав взгляд этот, не обернулась с чем-то вроде недоумения — и тогда Рут, неожиданно для меня, состроила шутовскую как будто гримаску, которая мне показалась чуть саркастической.

Когда прозвенел звонок, Рут с какой-то заговорщицкой, многозначительной в подтексте интонацией спросила, не хочу ли я разок «для разнообразия» проехаться с нею в Сокольники, где ее тетя, дескать, сняла дачу в очень, очень красивом месте. Во мне сработал инстинкт не столько рыцаря, сколько завязатого читателя романов, и я с тайным ликованием, хотя и с внутренним трепетом, тотчас же согласился.

Но в метро я не мог не обращать внимания на косые, недружелюбные взгляды окружающих пассажиров, которых Рут, видно было, вовсе не замечала — не потому, что относилась к ним с пренебрежением, а потому что привыкла. Я же, с первых дней возвращения из Германии поче-

му-то очень стыдившийся и страдавший от того, что меня по одежде принимали за иностранца — хотя в то время на иностранцев в Москве чуть ли не молились —, был теперь, когда под влиянием пропаганды почитание это сменилось неприязнью, приветливость болезненной подозрительностью, страшно рад тому, что наконец-то вместо «нелепых» шорт и «клоунских» гольфов мог носить «нормальные» длинные брюки, а оставшийся еще на мне сомнительного покроя пиджачок с явно нездешними пуговицами был как-никак куда менее приметен. Но вот Рут одевалась, хотя и отнюдь не с каким-нибудь особым шиком, все-таки совершенно не в московском стиле. Главное же было в другом — она ничуть не стеснялась громко говорить по-немецки. А ведь на том коротком отрезке времени, когда Сталин разыгрывал антифашиста, из всех ксенофобий интенсивнее всего внедрялась именно германофобия. Но смущение мое имело и положительное следствие: чувство внешней стесненности и неловкости вытеснило из ума боязнь вновь опозориться, как несколько месяцев тому назад перед Майей.

Приезд на конечную тогда станцию «Сокольники», а тем более выход на поверхность ощущались мной неким освобождением, и когда Рут вдруг взяла меня под руку, я прижал ее кисть к себе — это отвечало моему чудесно поднявшемуся настроению. Кое-кто из прохожих удивленно поворачивал голову в нашу сторону — для тогдашней Москвы четырнадцатилетние, разгуливающие под руку, были зрелищем поистине экстраординарным, нарушающим все традиции и обычаи. Но, при всей укоризненности случайно перехваченных взглядов, никаких язвительных замечаний я пока не слышал.

И вот мы вошли в парк. Ни о какой тете, даче и красоте расположения оной ни Рут, ни я ни разу так и не вспомнили. Рут, уверенная, оживленная, веселая, повела меня мягкими движениями прижатой руки к словно заранее намеченной ею скамейке в одной из боковых аллей, села и потянула за собой и меня. Как ни странно, я чувствовал себя легко и свободно, хотя и две проходившие мимо ста-

рушки исподлобья посмотрели на нас, и то, как Рут припала ко мне, сильно напоминало подобное же движение Майи на лестнице той старинной башни. На этот раз, однако, я воспринимал все происходящее, как некую приятную забаву, и только. Составной частью этой забавы казался и рано опавший кленовый лист, по прихоти случая невесть откуда прилетевший, чтобы опуститься прямо на шею Рут. Делая вид, будто она хочет его осторожно снять, Рут как-то ласково, любовно придавила его, и он соскользнул под ее светло-голубую шелковую рубашку, на спину. Она хихикнула:

— Ой, чешется! Достань! Сможешь?

Подыгрывая ее комедии, я со смехом засунул руку ей за ворот, но она так внезапно замолкла, посерьезнела, застыла, что я сразу понял — это-то и было для нее главным, ради этого она и пригласила меня в Сокольники. И тогда я впервые в жизни стал старательно и прочувствованно, со значением и с наслаждением гладить женскую кожу. Не знаю, сколько это невинное занятие длилось, но прервано оно было самым неожиданным образом: перед нами, будто из небытия, возникла высокая, тощая женская фигура, вся состоявшая из праведного гнева, и обрушила на нас поток яростных обвинений в развращенности и бесстыдстве, неистовых призывов сейчас же прекратить это безобразия и угрозы позвать милицию. Оглушенные ее тирадой, мы сникли, поднялись и благоразумно ретировались. Когда мы отделились на некоторое расстояние, Рут разразилась неудержимым гомерическим хохотом. В метро она затем была веселее, смешливее, кокетливее прежнего, да и я уже не конфузился так сильно от направленных на нас не то с пуританской, не то с патриотической укоризной и антипатией многочисленных глаз.

На следующее утро Рут поразила меня той открытостью и естественностью, с которой она и улыбкой, и в записках, и в разговорах то и дело намекала на новые наши отношения. Более того, она не оставляла сомнений, что будет проявлять инициативу для их углубления. На одной из перемен она специально, чтобы я услышал, заговорила



с налетом издевки, нарочито мягко, в притворно-дружеском и все же победно-снисходительном тоне с Майей. Вскоре последовала записка: «А Майя уже не та, что была, правда?», и она вопросительно посмотрела на меня. Я почти убежденно кивнул головой. На последнем же уроке она написала, что нам лучше всего будет всегда встречаться сразу же после уроков в аптеке — было понятно, в той, что на левой стороне улицы, по пути от школы к станции метро «Дворец советов».

С того дня прогулки наши становились все более регулярными, и наша дружба — «особая» дружба — скоро сделалась тайной полишинеля. Ходили мы обычно по бульварам, иногда через новый тогда Каменный мост по тихому скверу напротив кинотеатра «Ударник», изредка вверх по Остоженке и через Центральный парк вплоть до Нескучного сада, всюду выискивая возможно более пустынные места, одинокие скамейки. Рут воспитывала меня, в области, где я был круглым невеждой. Я диву давался, почему она не очень-то стремится к поцелуям, о которых я столько читал, а вместо этого роняет, не слишком и притворяясь, будто это невзначай, какие-нибудь мелкие предметы, чаще всего монетки, то за блузку, то за чулок, с тем, чтобы я доставал их. Я понятия не имел ни о каких эrogenных зонах, и наибольшее удовольствие мне доставляло гладить ее теплую, упругую кожу на спине. Но в то же время — это я отчетливо, остро осознавал —, все в ней, ее слегка волнистые, густые, бледно-золотистые волосы, ее плутовские серые глаза, ее полные, влажные губы, а особенно по-детски молочно-белая, кое-где опрысканная крохотными коричневыми точечками, гладкая поверхность шеи и лица — все становилось мне изо дня в день все более родным, «своим», внутренне необходимым.

История эта прервалась внезапно, неестественно — хотя самым естественным для того времени образом. Где-то во второй половине октября Рут отсутствовала дней пять, а когда снова появилась в классе, ее нельзя было узнать — она стала нервной, мрачной, молчаливой. Она даже мне не говорила, почему — но не надо было ведь быть ясновидцем,

чтобы догадаться о причине. Конечно, ее отца арестовали. Однако, мне потребовалось несколько дней, чтобы набраться храбрости и дать понять, чем я объясняю ее настроение. Тогда она, наконец, и сама открыла душу — заодно заклиная меня поверить, что ее отец ни в чем не виновен. Когда я сказал, что и без ее увещаний и уверений ни секунды не сомневался в этом, она просияла. Этот разговор нас сблизил несказанно. Наши одномерно эротические фантазии вдруг приобрели совершенно новое измерение — душевное, в чем-то даже духовное, и был момент, когда во мне мелькнула мысль, что я пройду рука об руку с Рут всю жизнь.

Наступили дни ноябрьских праздников, которые в тот год отмечались с невиданным размахом — не столько потому, что был как-никак юбилей — двадцатилетие, сколько из более чем понятных пропагандистских соображений. Вслед за праздником были еще короткие школьные каникулы.

А 17-го ноября пришли за моим отцом. Не помню, сколько дней и ночей я не мог, не хотел оставлять мать одну. Затем в довершение заболел гриппом. Когда я 2-го или 3-го декабря вернулся в школу, Рут не было. Кто-то мне сказал, что у нее мать лежит в больнице. 5-го опять был праздник — День конституции, 6-го выходной, а когда, кажется, 7-го я подошел к крыльцу школы, там стоял новый директор наш, Брюков, и, будто бы беседуя с преподавателем военного дела, громко разглагольствовал насчет того, что наконец-то это «осиное гнездо врагов народа» разгоняют, что, мол, давно пора, что терпению советского народа пришел конец. Весть о предстоящей ликвидации школы — а на каком-то уроке в тот памятный день нам уже официально «посоветовали» подумать, где каждый из нас сможет («как хорошо будет — вблизи вашего места жительства!») продолжить учебу — всколыхнула, естественно, всю школу так, что ни о чем другом никто и думать не мог. Я, должен сознаться, сегодня просто не в состоянии вспомнить, сидела ли Рут в эти часы рядом со мной — нет, скорее всего и тогда ее ни было...

После роспуска школы я Рут Томас больше не видел. И слышал о ней лишь один единственный раз — когда Вера Коган рассказала о той своей довоенной встрече с нею...

Три ничем, казалось бы, не примечательных и не интересных, не блещущих оригинальностью детских «романа» моих — с Вале́й, с Майей и с Рут — оставили, однако, во мне глубокий, болезненный психологический след, от которого я за всю жизнь так и не смог избавиться, даже в полной мере осознав его аномальность: на протяжении вот уже стольких десятков лет я ни единого раза не сумел «завоевать» какую-либо женщину, как ни желал и ни домогался ее — любовные связи состоялись у меня только в тех случаях, когда женщины сами шли мне навстречу, проявляли активность, предлагали себя. А это сыграло в моей судьбе огромную, в какие-то переломные моменты решающую, всеопределяющую роль. Увы...

#### 46.

17-го ноября — было около 5 часов утра — раздался резкий, громкий стук в квартирную дверь. Отец тут же вскочил — впечатление было такое, что он вопреки всем своим доводам, уверениям и самовнушениям в глубине души давно ждал этого. Пока он натянул брюки и поспешил в переднюю, за дверью уже потеряли терпение, и стук перешел в частую дробь. Я услышал надтреснутый голос отца:

— Кто там?

— Открой! Милиция! —, возмущенно пролаяли с той стороны — и действительно, вопрос был явно лишним. Щелкнул замок, дверь закрипела, шумно захлопнулась — тем временем кто-то, очевидно, успел назвать нашу фамилию, ибо я различил слова отца:

— Да, это я.

— Вы арестованы —, проговорил другой, бесцветно-спокойный, скучный голос, для которого эти два слова, видно, давно стали рутиной, их артикуляция привычным,

чисто механическим актом. Первым в комнату вошел отец. Сказал он совсем просто, сдержанно:

— Меня, значит, тоже... —, и сел за стол.

Появившийся за ним человек среднего роста, с правильными, даже приятными чертами лица, тщательно зачесанными назад темными волосами и волосатыми, но довольно-таки холеными руками, в гимнастерке-сталинке и галифе одинакового темносерого цвета без знаков различия и в блестящих мягких сапогах, был среди ночных посетителей явно главным. Он как ни в чем не бывало сел напротив отца, положил перед собой толстую тетрадь и большой лист бумаги и произнес незлобным, деловитым тоном:

— Начнем с большого шкафа.

Между тем, у двери застыл солдат с винтовкой, краснолицый, пучеглазый, а по обеим сторонам его — понятия, две невыспавшиеся, безразличные физиономии, одну из которых я много раз видел — это был не то управдом, не то дворник. Единственной подвижной фигурой в этой оцепенелой сцене все время оставался коренастый, кряжистый, широкоскулый субъект в полосатой грубошерстной фуфайке и клочковатой меховой шапке, которую он ни разу не снимал в течение всего обыска. Сначала он бессистемно, наугад рылся в платяном шкафу, недовольно кряхтя, пока наконец не выпрямился, с торжеством воскликнув:

— Фотоаппарат!

И он протянул своему начальнику старую громоздкую отцовскую камеру, привезенную в свое время из Берлина — а ведь у отца, страстного фотолюбителя, имелась, точно помню, и современная «лейка», которая, однако, пришлась чекисту не так по душе —, здесь же он с подчеркнутым злорадством заметил:

— Германия, фашистская! — и что-то записал сперва в тетрадь, затем на тот лист бумаги. Тем временем меховая шапка доставала еще какие-то подозрительные предметы, среди них выделялся шелковый головной платок, который мать никогда не надевала из-за чрезмерной пестроты

рисунка и какой-то легкомысленной французской надписи — чекист задумчиво исследовал его и «приобщил к делу». Но действительно удачная находка выпала шапке на одной из бельевых полок — там отец хранил небольшую сумму валюты, которой в свое время, когда еще работал Торгсин, не хватило на костюм — а он, наверно, надеялся все-таки еще как-то использовать ее, хотя в тогдашней Москве это и стало чрезвычайно трудно. Затем шапка принялась за книжный шкаф. Наряду с собраниями сочинений русских и немецких классиков, которые подозрений не вызвали, хотя и перетряхивались тщательно, там стояли в основном мои шахматные книги да какие-то политические и идеологические издания, зачем-то нужные отцу, или казавшиеся ему зачем-то нужными. Человек из НКВД, однако, долго листал немногие наши художественные альбомы, внимательно всматриваясь в отдельные картины и глубокомысленно произнося фамилии некоторых живописцев — и вдруг его взгляд упал на одну из уже отставленных было брошюр, и он снова издал возглас триумфа. Когда он протянул брошюру начальнику, отец решил на пояснение:

— Это устав Коминтерна, на немецком!

Но начальник по-русски вслух прочел строчку на задней обложке, которую пальцем указал ему помощник:

— Ответственный редактор О. Пятницкий.

И опять злорадно посмотрел на отца:

— Можно подумать, вы не знали, что Пятницкий враг народа.

Тем временем обладатель шапки вытащил из нижнего отделения шкафа полированный ящичек, в котором отец хранил фотографии, и не столько поставил, сколько бросил его на стол. Начальник стал с напряженным вниманием, сосредоточенно просматривать снимок за снимком, пока вдруг его сморщенный лоб не разгладился и нижняя часть лица не расплылась в улыбке — он отложил одну из фотографий в сторонку, но так, что отец мог ее видеть. От удивления отец развел руками — жест для него совершенно не характерный:

— Это я пожимаю руку товарищу Эрколи, одному из руководителей Коминтерна!

Снимок этот я знал давно, отец очень им гордился: после речи знаменитого итальянского коммуниста на каком-то съезде или собрании отец, вместе с другими энтузиастами, подошел к нему в кулуарах и поздравил его, а это запечатлел какой-то оказавшийся рядом фотокорреспондент (впоследствии, когда этот Эрколи под своим настоящим именем Пальмиро Тольятти гремел на политической сцене послевоенной Европы, а особенно, когда имя его было присвоено крупному промышленному городу у нас на Волге, в памяти моей сотни раз, невольно, всплывала та фотография).

Но чекист не смутился:

— Да? А сзади-то кто?

Я знал — среди нескольких лиц заднего плана отец всегда выделял едва, правда, различимое лицо другой коминтерновской знаменитости, латыша Кнорина — а тот был арестован, об этом и я уже слышал. Отец промолчал.

— То-то! —, сказал начальник и вновь что-то занес в тетрадь. Теперь он, очевидно, решил, что вещественных улик у него достаточно, и произнес резким, официальным тоном:

— Оденьтесь потеплее! Вещей возьмете только минимум!

И тогда отец выговорил фразу, которая преследовала меня потом всю жизнь, озадачивая и ужасая при каждом новом воспоминании. Он сказал:

— Что ж, если так надо, то надо.

И больше ни слова. Ни того, что я мог ожидать по предшествовавшим спорам нашим — оправданий типа «Это ошибка. Скоро все разъяснится и я вернусь», ни каких-либо выражений недовольства или недоумения по поводу такой комедии обыска. Собравшись, он обнял мать и меня с таким молчаливым отчаянием, что было ясно — он ни в какой мере не заблуждается насчет будущего: «Оставь надежду...»

Мать два или три раза провела день в прокуратуре, но

очень скоро — по-моему, уже недели через две — пришла домой вся заплаканная и сказала, что отцу дали десять лет.

Вскоре и для нас началась страдальческая эпопея отправления посылок, описанная с тех пор сотни раз в литературе всех жанров. Вначале дело происходило хотя бы в Москве — с раннего утра или мать, или я занимали сразу две очереди в большом помещении позади Главпочтамта на Мясницкой (находившегося в нынешнем здании биржи), в первые послеобеденные часы мы уже вдвоем, конечно, с помощью подрабатывавших на этом, набивших руку парней, упаковывали, предъявляли контролеру и заколачивали фанерные ящики стандартного образца, а потом еще несколько часов в лихорадочном состоянии напряженного, тревожного ожидания следили, к какому из окошек наша очередь скорее подойдет. Однако, куда хуже положение стало, когда прием посылок на Мясницкой прекратили — для отправления самого малого пакетика теперь надо было выезжать в Можайск; и вот тут в переполненных до невозможности вагонах, в толпах, захлестнувших вокзал невинного древнего городка, в бесконечных очередях перед несоразмерно маленьким зданием местного отделения связи предстала наглядная, жуткая картина разоренной, униженной, измученной арестами, всей сталинской чумой Москвы.

Переписка же с Карагандинским лагерем, куда попал отец, шла странным образом — насколько помню — довольно гладко, во всяком случае в первые годы, и лишь незадолго до войны возникли какие-то перебои, не совсем ясные мне трудности или даже запреты. Впоследствии, уже в разгар войны, я из Самарканда, Ленинабада (нынешнего Ходжента) и Сталинабада (Душанбе) посылал отцу окольным путем письма — о дружеской помощи в этом Николая Николаевича Пунина, Иды Гелибтер и немецкой семьи Шрайберов еще, надеюсь, расскажу — и в нескольких случаях получил ответы. Разумеется, из-за двойной цензуры — лагерной и общей, которой в военные годы подвергалась любая корреспонденция — я тогда ничего не мог узнать о действительных страданиях отца. Я живо, с нестерпимой

ясностью представлял себе лишь его душевные муки. Только в январе 1948 года я получил подробное письмо от него из какого-то казахского колхоза, куда его только что выпустили на поселение. Это был крик души — сам тот факт, что в то время такое письмо дошло до адресата, мне и по сей день кажется чудом. Он изображал себя дряхлым, беззубым, сломленным стариком, от которого в другом месте шарахались бы — и который в адских физических и умственных мытарствах осознал всю трагическую ошибочность своей жизни...

К тому времени, как Андрей Иванович Шрайбер вручил мне у окошка «До востребования» сталинабадского почтамта это, поступившее на его имя, большое письмо, моя внутренняя — не высказанная пока никому — оценка и трактовка событий 37-го приобрела кое-какие новые черты, черты существенные, позволявшие мне с чистой совестью написать отцу слова не только утешения и ободрения, но в каком-то смысле и оправдания: если раньше мне в той чуме виделось исключительно наступление плетейской мрази из низших и высших сфер большевистской пирамиды на тех, кто по природе своей был «всеми», а теперь должен был стать «ничем», и я при этом просто не мог игнорировать самоубийственную вину отца, деятельное его участие в первоподготовке этого наступления, то теперь, после уроков нацистско-сталинистского союза, ленинградской блокады, бесед с Пуниным, углубления в английскую историографию, послевоенных тревог — начала «холодной войны», покорения Сталиным Восточной Европы, первых громких антизападных, европофобских кампаний — я стал смотреть на давнюю катастрофу не в последнюю очередь как на эпизод в вековом противостоянии двух начал внутри российской цивилизации, еврурусского и евразийского — и тут заблуждения отца уже казались мне более понятными, менее жалкими, ибо такие, весьма опосредованные взаимосвязи были ему по самим условиям его жизни, увы, недоступны, и он субъективно желал России не только добра, но и Европы. Поэтому я написал, что он напрасно так сокрушается и винит себя,



что жизнь его еще приобретет новый смысл, более подробно же я изложу ему мысли и чувства свои при встрече.

Через полтора месяца пришло письмо из сельсовета, где в неформальном, прочувствованном тоне сообщалось, что мой отец скончался — отчего, не говорилось. Я не стал уточнять — запросы такого рода не имели бы никакого смысла, основная причина и так была ясна.

#### 47.

Не следует думать, будто отношение властей к семьям репрессированных подчинялось какой-нибудь строго определенной политике. Так, я был наслышан о многих случаях, когда детей арестованных не принимали в высшие учебные заведения, и поэтому я скрывал при поступлении в вузы — а поступал я трижды — этот факт самым тщательным образом. Однако, в то же время я в Академии художеств знал, например, девушку по фамилии Найдек, которая даже на общем собрании без обиняков, во всеуслышание заявила, что ее отец невинно осужден как враг народа — и ничего!

Точно так же обстояло дело и в стократ более важном, несравненно более болезненном вопросе — о месте проживания. В одних случаях жен арестовывали вслед за мужьями, в других высылали вместе с детьми или без детей в глухие углы страны, в третьих — так было и с Идой Гелибтер — тут же выселяли из квартиры, часто доставшейся еще по наследству из старых времен, но отнюдь не лишали прописки в родном городе — ведь та же Ида продолжала все же жить в Москве, пусть в труппе, и лишь при великом исходе в октябре 1941 года покинула ее, вместе с сотнями тысяч «незапятнанных». А вот нам с матерью по непостижимой прихоти судьбы дано было прожить в нашей сверхскромной, но как-никак привычной, сроднившейся, дорогой мучительными воспоминаниями, да и сравнительно уютной комнате напротив завода «Шарикоподшипник» еще целых полтора года. Конечно, мать боролась — но кто в то время не боролся за сохранение

своего жилища! Не знаю, насколько сильной была затем поддержка со стороны Тани Орловой — но о такой поддержке вообще могла быть речь, в лучшем случае, лишь начиная с лета 1938 года, когда Таня вернулась из Иркутска. Везение!

Новая школа моя была расположена не так уж близко — на Таганке. Записали меня именно в это ничем не примечательное заведение по одной единственной причине: там, и только там в нашем районе (называвшемся «Пролетарским»), преподавали английский язык. То, что я хотел изучать язык Шекспира, пушкинской романтики и современного мира, было только естественно — и не менее естественным, не менее логичным было общеизвестное, общепредугаданное в нашем кругу стремление районных отделов народного образования «спасти» свои школы от учеников, способных одним своим присутствием «взорвать» уроки немецкого, какими второстепенными эти уроки ни считались — «взорванный» урок мог на самом деле кое-где вызвать и цепную реакцию! Так выбор школы оказался делом легким.

Разумеется, я ожидал, что и учителя на Таганке будут куда менее образованны и искусны, чем опытейшие педагоги нашего «осинового гнезда» на Пречистенке, и ученики будут далеко не так честолюбивы, не так индивидуально ярки, не так общественно заинтересованны, как отпрыски «лучших» или хотя бы «хороших» семейств Москвы тридцатых годов, которые окружали меня в особой атмосфере элитарной школы. Но то, на что я теперь натолкнулся, открыло мне глаза на одну лишь истину — до чего наивны мои представления о подлинном характере жизни в московских низах, о подлинном умственном горизонте и уровне среднего человека черни, о культурных потребностях, направленности мыслей, мироотношении значительного большинства будущих сограждан моих. В этом-то смысле, нельзя не признать, новая школа оказалась для меня подлинной школой жизни — и под таким углом зрения было бы просто глупо жалеть о тех полутора годах...

Таганка относилась к некоей промежуточной полосе, издавна пролегшей между Москвой «старой» и «новой» (в кавычках!), «корневой» и «отростковой», или, как много лет спустя говаривал один из спорщиков в кухонных дискуссиях, «законной» и «пригильной». В этой полосе преобладали давнишние, с дореволюционных времен московские жители, для которых, однако, Москва была лишь, пусть очень удобным, но по сути случайным местом обитания — и которые поэтому жили, в высшем смысле этого слова, фактически вне Москвы, точно так, как они фактически жили вне человечества. В этой внеобщности сказывалось отнюдь не стремление к какому-либо индивидуальному обособлению, отнюдь не сознание человеческой самоценности, несводимости, самозависимости, а лишь элементарное неумение обобщать и приобщаться. Внеобщность здесь являлась особым видом глухоты, безразличия к собственной сущности, отказа от какой бы то ни было жизненной задачи. Такой тип людей существовал всегда и будет всегда существовать во всех странах и во всех цивилизациях. Но здесь, вследствие концентрической структуры московской городской жизни, как раз промежуточные слои совершенно объективно приобретали характер какой-то особой инертной силы, а это в свою очередь отчетливо проявлялось в психологии и поведении каждого отдельного «члена населения», участника местного быта.

Моих новых школьных товарищей отличало от недавних одноклассников прежде всего именно это — полное отсутствие какой-либо нацеленности на самореализацию, более того, на самоидентификацию. Они в моем восприятии оказывались почти все на одно лицо, не образуя притом ни коллектива, ни толпы — лишь расплывчатое множество неточно получившихся копий. Поэтому не столь удивительно, что я сегодня в состоянии вспомнить лишь три фамилии мальчиков и три или четыре — девочек, хотя с последними впоследствии были связаны кое-какие далеко не второстепенные для меня жизненные эпизоды. Подобная безликость и безличность никак не могла быть

плодом одного лишь большевистского омассовления и массового уподобления, она несомненно была унаследована с социальными генами от предшествующих поколений, более того, именно она заведомо служила — это я осознал уже тогда — той питательной почвой, на которой только и могли взойти семена, родиться цветочки, а затем ягодки этого ядовитейшего из всех ядовитых растений русской истории. В сущности не фанатики с Пречистенки, а бесцветные умственные двойники с Таганки носили в себе «коммунистическое будущее человечества».

Каковы ученики, таковы и учителя — именно в такой формулировке, при такой расстановке логических акцентов известная поговорка приобретает истинное свое значение. Имеется в виду отнюдь не только, что учителя неизбежно, чаще всего бессознательно, подстраиваются и перестраиваются соответственно законам мимикрии, называя это педагогическим тактом, но и нечто иное: ученики — это «народ», гласом которого учителя и обязаны быть по государеву, так сказать, велению, и безотчетно делаются под миллионоатмосферным давлением среды, и оказываются по самому естеству своему, ибо вышли из тех же слоев того же «народа»... Поэтому как нельзя более подходил к нашему классу преподаватель русского языка и литературы, не знавший ни одного «лишнего» произведения, хотя бы классиков, коль скоро произведение это не входило в школьную программу, а о каких-либо зарубежных писателях и краем уха не слышавший (однажды оказалось, что он представления не имеет, кто такой Виктор Гюго, которого две девочки в классе, скажи на милость, даже читали!); преподаватель истории, со смехотворным педантизмом пересказывавший учебник главу за главой, точнее, зачитывавший этот учебник словно официальную декларацию и даже откровенно заглядывавший в текст, когда ему казалось, что он кое-что в нем недовызубрил, но зато обязательно — хотя обычно он и ударения-то в словах неправильно ставил — с каким-то поистине артистическим сарказмом произносивший название любой несоветской, в особенности же западной национальности; преподава-

тельница биологии, с мертвенным лицом и пустыми глазами отбарабанивавшая какие-то никому не интересные сведения и совершенно не любопытствовавшая, слушает ли ее кто-либо в классе или нет...

Правда, имелись два достойных упоминания исключения. Это были исключения из самой действительности, не столько подтверждавшие правило, сколько напоминавшие о другой, соседней в пространстве и времени Москве. «Англичанка», молодая женщина, жившая где-то в пределах Садового кольца, но, видно в силу отсутствия проекции, «распределенная» на Таганку, прекрасно владела языком и трогательно, отчаянно стремилась возбудить хоть в ком-нибудь хоть какой-нибудь интерес к своему предмету — неудивительно, что я сделался для нее избавителем от унижительной безнадежности, фактически единственным ее учеником, тем более, что к первопобуждению моему — будущий писатель, дескать, просто обязан знать английский — вскоре прибавилось и настоящее увлечение языком как таковым (разумеется, мне тогда ни на мгновение не приходила в голову мысль, что язык этот когда-нибудь станет моей официальной, а на протяжении большого отрезка жизни единственной, «хлебной» профессией). «Химичка», наоборот была женщиной старой, в которой чувствовалась и старая закалка — в ней совершенно отсутствовала та грубая элементарность, та вульгарно-наставительная претензия и соответствующая интонация, которой советская идеология наградила всех своих проповедников; вероятно, она когда-то (такое мнение я слышал в следующем учебном году и от Володи Дымкова) преподавала в гимназии и по неисповедимой воле судьбы так и осталась московской учительницей, теперь уже в «пролетарской» школе — но увы, как хорошо, как разнообразно она ни вела уроки, химия не сделалась моей любовью, я органически, по духовно-генетическому складу своему не имел к ней склонности, что поделаешь!

Когда я сегодня на каждом шагу встречаю сварливых, желчных, дышащих злобой стариков и особенно старух, чей московский патриотизм выливается то в ядовитые

замечания насчет деревенской или провинциальной «саранчи», съедающей все столичные блага, скупающей все предназначенные одним москвичам товары, то в возмущенные выкрики и филиппики против «понаехавших» кавказцев, грабящих православный народ — мне в этих искривленных физиономиях всегда чудятся черты таганских моих одноклассников и одноклассниц, не только одряхлевших физически, но и окончательно сгнивших психически. Каковы гены, таково восприятие жизни, такова и старость.

Но не только отвращение к школе, заставлявшее меня каждый день, едва прозвучал последний звонок, бегом бежать к трамвайной остановке, превратило меня в ту зиму и весну в домоседа. Тут сыграли свою роль и причины чисто бытовые — разумеется, я не мог больше ходить по ресторанам, на это просто не было денег, а мать вместо случайных работ в филиале Большого театра должна была подыскать себе настоящую и мало-мальски доходную работу, каковую после неизбежных московских разочарований (никто не хотел, или не осмеливался, брать жену арестованного), наконец, нашла в подмосковной деревне Кротово, где с НЭПовских времен сохранилась артель декоративных изделий для дома (сейчас сказали бы: «для интерьера»), так что ей приходилось как минимум два-три раза в шестидневку, встав рано утром в 5 или 6 часов, отправляться за город, а возвращаться уже поздно вечером — об обеде же и для нее, и для себя должен был заботиться я; к счастью, довольно близко от нашего дома находилась так называемая фабрика-кухня завода, куда вход был открыт всякому и где, даже со скидкой, отпускались обеды не столь уж плохие на дом. Но кроме бытовых хлопот, существовали и другие, менее прозаичные факторы, притягивавшие и приковывавшие меня к дому. Я решил написать романтическую повесть о Ницше и его русской подруге Лу Саломе. Одновременно я делал первые опыты перевода стихов не с русского на немецкий, а с немецкого на русский. Незадолго до того став членом шахматного клуба при Центральном доме пионеров, я

тотчас же с энтузиазмом честолюбца включился в много-ступенчатый чемпионат этого клуба, а значит, должен был — так мне во всяком случае представлялось — серьезно готовиться к каждой партии и прилежно анализировать отложенные позиции. К тому же, треволения и тревоги последних месяцев как-то стерли во мне тягу к изобразительному искусству, и я совершенно перестал ходить в музей. Но была еще подспудная, неосмысленная, сокрытая мной от самого себя причина, которую я осознал лишь несколько месяцев спустя: лишившись общения с девушками из той, дорогой мне школы, я проникся какой-то меланхоличной ностальгией по такому же взаимному притяжению, по душевной эротике, что ли, и это во мне невольно сплеталось с неясными ожиданиями, связанными с неминуемым возвращением Тани Орловой. Каждый день, приходя домой, я в каком-то уголке души надеялся, что вот откроется дверь квартиры, и она...

#### 48.

Уличная жизнь, трамвайно-троллейбусная и магазинная жизнь Москвы стала к тому времени уже совсем не такой, какой она привлекала, очаровывала меня всего два-три года тому назад. Лица изменились не только по выражению своему — естественно, они свидетельствовали теперь о внутреннем напряжении, о настороженности, тоске, подозрительности, сумрачном настроении —, но и изменились, казалось, по самой фактуре, по очертаниям, по анатомии своей, они представляли как бы другой, незнакомый мне человеческий тип, тяжело думающий, тяжело чувствующий, и главной приметой лица были не глаза, а скулы. Я бы, может быть, полностью перестал, угнетенный и подавленный этой атмосферой, ездить в город, если бы не было сильнейшего магнита — спасительного убежища от чумной эпохи, от чумной психики, психики страшно заразной и смертельной для духа, но не перешагивавшей порог заветной комнаты великолепного особняка в стиле модерн, построенного в

переулке Стопани зодчим того самого, излюбленного мною Музея изящных искусств, Клейном, для чаепромышленника Высоцкого, еще не думавшего в 1900 году о переселении в Палестину. А комнату ту вместо обоев украшали фанерные доски двух цветов, составлявшие одну большую шахматную доску, и каждому второму полю была придана искусно вырезанная деревянная шахматная фигура-символ.

К тем антиидеологическим качествам, которые присущи шахматам от века — максимально выраженное личностное начало, простор для творческой воли в искусственном мире вечной свободы, предельное изощрение мозга постоянной критикой догм и поисками все новых, парадоксальных путей, неизведанных возможностей — к этим качествам в тот год и том месте добавлялись совершенно специфические свойства, игравшие роль некоей противочумной вакцины: шахматы оказались в состоянии ежедневно, ежечасно собирать, объединять, сплачивать умы. Каждый раз повторялось одно и то же ощущение чуда: посреди мрачной, задавленной, парализованной страхом Москвы я вдруг перенесен судьбой на другую планету, где родственные мне по духу, человечески близкие, равные по развитию сверстники вольготно и весело удовлетворяют свою потребность в пестрой работе интеллекта, состязаются в изобретательности и находчивости как на доске, так и в «звоне», и просто в разговоре — здесь вместо скучных грубостей, столь характерных для таганской школы снизу доверху, меня ждало простое, сердечное товарищество всех со всеми, вместо привычного там безмозглого чередования тупо-«идейного» и матерного языка — незатухающие фейерверки изящного остроумия, вместо жалкой национальной гордости и ксенофобии школьного «историка» и его подпевал — душеосвежающий шахматный космополитизм, который так же искренне, так же охотно восторгался маневрами, атаками, жертвами любых иноземных виртуозов «мудрой игры», как и блестящими комбинациями «истинно русского» Чигорина.

Этот необычный климат в необычной этой нише москов-



ской жизни, надо сказать, держался целиком и полностью на выдающемся педагогическом таланте и человеческом обаянии нашего руководителя, гремевшего тогда шахматного мастера Михаила Михайловича Юдовича.

Климат этот еще усилил, довел до высшей точки мою увлеченность самой игрой, что, естественно, вскоре сказалось и на моих чисто спортивных достижениях. Когда я впервые пришел в переулочек Стопани, у меня была — почетная для школьника тех лет — третья категория (вообще же тогдашние «категории» ни в коем случае нельзя отождествлять с позднейшими разрядами — точно так, как нельзя отождествлять тогдашний рубль, на который можно было купить полкило клубники, или три булки, или солидный том Пушкина, с нынешним рублем — шахматные разряды и звания также пострадали впоследствии от некоей обвальной инфляции), но через месяц-другой я завоевал уже вторую, а незадолго до моего выбытия — не от хорошей жизни — из клуба, летом 1939 года, и заветную, высокопрестижную первую категорию. Шутка ли, во всей Москве, столь тогда шахматолобивой, имелось от силы человек двадцать школьников, обладавших этим высоким званием, а в нашем Доме пионеров их насчитывалось и вовсе не более десяти. Показательно, мне кажется, для значимости, пусть эфемерной, подобных достижений в глазах тогдашних советских людей, что подавляющее большинство ребят, сумевших выдвинуться на этом поприще, со временем предалось шахматам как профессии — как единственной профессии, хотя все они получили высшее образование в какой-нибудь вполне солидной, общеуважаемой области науки, техники, искусства или практической деятельности. Именно в шахматах сделали себе имя Юра Авербах и Яша Нейштадт, покойные ныне Яша Эстрин и Паша Кондратьев. Гораздо меньше было тех, кто, как я, взрослым продолжал еще какое-то время активно выступать на шахматной арене, но все-таки в основном посвятил себя другому делу и потому неизбежно в назначенный срок сошел с дистанции — к ним принадлежал и Ося Лившин, с которым жизнь свела меня

еще раз при совершенно других обстоятельствах... Единственным же исключением среди тогдашних признанных домпиевских корифеев явился Толя Ковалев, с железной решимостью пожертвовавший карьере шахматную более трудной, более суровой и, думаю, более скучной, но зато еще куда более престижной карьере дипломата — и он, надо сказать, достиг высших степеней, став первым заместителем министра иностранных дел Советского Союза. А все же...

Вспомнив Толю Ковалева, его жизненный путь и многолетнюю общественную репутацию, не могу не вернуться мыслью к тысячекратно уже обыгранной бесчисленными авторами в самые разные эпохи теме — о капризах славы. Ведь всего каких-нибудь пять или шесть лет тому назад едва ли не всякий житель огромной страны, кто интересовался чем-либо, кроме самого себя, обеда и жены, знал Толю, хотя бы благодаря телевидению — по модным тогда внешнеполитическим дискуссиям первой программы, по выступлениям на пресс-конференциях, по чуть ли не обязательному присутствию на всех межгосударственных переговорах. Из идейно-направленных стихотворений его, публиковавшихся и отдельными брошюрами, и в популярнейших журналах того времени, было известно, что он придерживается крайне прогрессивных, демократических взглядов, а это сообщало его имени еще больший блеск, ибо ясно было, что здесь — косвенный вызов самому министру! Юру же Авербаха в те годы — когда общий интерес к шахматам уже успел катастрофически снизиться, хотя за противостоянием Каспарова и Карпова еще следили в довольно широких кругах — знали по имени и фамилии лишь верные друзья великой игры, и то скорее всего как редактора одного из трех специально-шахматных наших журналов. Сегодня, однако, многое переменялось: в шахматной общине по-прежнему знают и почитают Юру, как одну из видных фигур всего этого вечно живого движения, пусть его большое время прошло, а вот Толю — в чем я имел несколько возможностей убедиться — не помнят ни заядлые «политиканы», ни завзятые любители

домашнего экрана. Конечно, пройдет какой-то срок, с трудом вспомнят и Авербаха. И тем не менее это странно, тем не менее загадочно, тем не менее показательно: ведь общественная значимость их деятельности, казалось бы, несоизмерима!...

А может быть, во всем виновата заурядная фамилия Толи?

Миллионы любителей во всем мире, родившиеся значительно позже, хранят в памяти поединок Алехина и Капабланки в Буэнос-Айресе в далеком 1927 году. Есть ли у нас такой знаток латиноамериканской истории, который с ходу назовет фамилию тогдашнего президента Аргентины?

#### 49.

Я уже был наслышан о том, до чего сильно разнилось в московских коммунальных квартирах отношение соседей к семьям жертв — диапазон тут охватывал весь спектр от нагло-демонстративного или трусливого бойкота через подчеркнутую сдержанность, показное безразличие или сухую корректность до нерешительного, робкого сострадания, и в очень редких случаях до открытой моральной поддержки.

К нам с матерью соседи отнеслись в высшей степени сочувственно, дружелюбно, даже в какой-то мере солидарно.

Супруги Цвиинские, столь же наивные, видно, как недавно еще мой отец, от чистого сердца много раз заверяли мать, что отца непременно скоро отпустят — как только выяснится, а это неизбежно, что он ни в чем не виноват. Однако, месяца через полтора-два пришли за самим Цвиинским. Высокий белобородый старик Терентьев, временно занимавший комнату Орловых, как-то, встретив меня на кухне, долго и грустно гладил по волосам, сокрушенно покачивая головой, и тихо сказал:

— Сумасшедшее время, безумное, жуткое время!

Терентьев был арестован ближе к весне. Глебов же понимал все, все до конца, он был, пожалуй, единственным в моем окружении, кто, как и я, не предавался никаким иллюзиям. В тот же вечер он постучался к нам и без малейшей сентиментальности сказал, что будет нам всегда, как только понадобится, во всем помогать — и действительно, он затем вновь и вновь оказывал матери, даже без специальной просьбы, немалую помощь по хозяйству — всякий раз, когда требовались технические познания, искусные руки или просто сила, она могла на него рассчитывать. При всем этом он стал еще печальнее, еще мрачнее, запои его — еще более частыми и глубокими.

Но несказанно удивило меня поведение Бориса Орлова, который, приехав в Москву на неделю или две раньше Тани — очевидно, за новым назначением —, как-то раз совершенно неожиданно явился на квартиру, чтобы «предупредить», точнее, чтобы освободить комнату свою от временного жильца, и это в полном неведении случившегося — во всяком случае, он был в неподдельном шоке, узнав, что старика Терентьева «забрали». В тот же вечер он едва слышно постучал в нашу дверь, тут же осторожно открыл ее и, еще раз оглянувшись в передней, бесшумно вошел. Шепотом он стал заверять мать, что ничуть не сомневается в невинности отца, но просил понять его — он ни в коем случае не может заступаться за какого бы то ни было арестованного, если бы это даже был его родной брат. Матери наверняка никогда и в голову не приходила подобная мысль, и она с полнейшей искренностью ответила, что об этом и речи не может быть, что она очень ценит его сочувствие и признательна ему за то, что он наведлся к нам. Он, казалось, был доволен и на прощание сказал, что будет рад, если между матерью и его женой и в дальнейшем будет царить необходимое взаимопонимание.

В Донецке (тогда город назывался Сталино), куда Орлова перевели вместе с его патроном Щербаковым, он пробыл не очень долго — что-то около полугода, а может быть, и того меньше — да вероятно, так оно и предвиделось, ибо

Таня на этот раз осталась в Москве. Но вот возвращение в столицу, опять-таки вместе с патроном, не совсем оправдало, надо думать, его честолюбивые ожидания: в то время, как Щербаков, чиновник до мозга костей, живое воплощение сталинского идеала человека-винтика, был поднят диктатором на головокружительную высоту, став первым секретарем московского комитета партии — должность эта обычно была связана, шутка ли сказать, с членством в самом Политбюро! — Орлову пост второго секретаря не достался, на заветное это место Сталин поставил некоего Попова. Но это отнюдь не означало, что муж Тани отныне мог больше внимания уделять ей или семье — одна из причуд Сталина состояла в том, что все винтики в управляемой им государственной машине должны были обязательно работать синхронно с винтиками его собственной психики, а отдыхать могли только, когда он, движитель этой машины, спал — ложился же он глубокой ночью, и соответственно высокоокрученным и не столь высокоокрученным винтикам надлежало пережидать на своих рабочих местах все его пьяные и трезвые бдения. Поэтому я, например, Орлова совсем не видел — он вставал, когда мой трамвай уже приближался к Таганке, а по выходным неизменно куда-то исчезал — как говорила мать, «чтобы угождать начальству» в неведомых нам сферах.

Если Борис Орлов, пусть вежливо и по возможности незаметно, все же определенно избегал любого общения с попавшими в беду соседями, то Таня, наоборот, не допускала и намека на малейшее хотя бы отчуждение. Поэтому то, что вскоре произошло между нею и мной, в каком-то смысле было почти естественным продолжением нашего прежнего духовного диалога.

Из Иркутска Таня приехала загорелая, хотя весна как будто только вступала в свои права. На простодушный вопрос матери, как это вяжется с сибирскими морозами, она с настоящим энтузиазмом рассказала, что облучалась «искусственным солнцем». Я услышал, правда, только конец ее восторженных объяснений и поэтому, будто случайно войдя на кухню, пошутил невпопад, что завидую

иркутянам, у которых такие чудеса. Но Таня тотчас же посерьезнела, даже голос ее вдруг стал менее звучным, и она в совершенно другом, минорном тоне заметила, что грех смеяться над хорошими людьми. Наверное, по мне было видно, что я все-таки не совсем ее понял, и тогда она добавила, что в Иркутске нет масла и нет мяса («нам, конечно, каждое утро приносили все на дом»), люди с ночи встают в очередь за хлебом — и осеклась («конечно, руководство делает многое, старается, предпринимает все мыслимое, чтобы облегчить положение, но это не так просто!»). А я чувствовал, что ссылка на старания руководства — скорее формальность, но не хотел выдавать своего скепсиса — это могло выглядеть, как нечто похожее на мальчишескую ревность, ведь к руководству принадлежал прежде всего ее муж.

Не знаю, то ли всего лишь для того, чтобы перевести разговор на менее скользкую тему, то ли в порыве неприязненно-радостного изумления, то ли просто из давней симпатии ко мне, а может быть, все-таки обдуманно, чтобы проложить путь к какой-то новой фазе наших взаимоотношений, она вдруг начала во-всю восхвалять меня за мой возмужалый, цветущий, «физкультурный» вид, не забыв упомянуть изречение «в здоровом теле здоровый дух», и кончила довольно игривым замечанием, что наверняка все девушки сейчас без ума от меня. Все, что она говорила о внешности моей, само по себе имело, вероятно, достаточные, вполне объективные основания — ведь после того лета на Волге и Урале я слышал похожие удивленные возгласы и уважительные оценки от многих знакомых, да раз-другой и от родителей, к тому же вот уже несколько месяцев я каждое утро делал или во дворе, или в тесной нашей передней короткую, но очень интенсивную зарядку. Мне, пятнадцатилетнему, сплошь и рядом давали 17. И все же в речах Тани, капельку слишком эмоциональных, чуть излишне длинных, чтобы звучать стопроцентно случайными, я улавливал какой-то интригующий подтекст, какую-то загадочную изюминку, какую-то слегка возбужденную и возбуждающую ноту. Хотя вполне возможно, и

даже вероятно, что я лишь впоследствии, в ретроспективе, после того, что реально произошло, стал вкладывать в тогдашние ее слова какой-то необычный, потаенный смысл...

Вечером мать, то и дело укоризненно пожимая плечами, передала мне рассказы Тани о том, как роскошно они, Щербаков и щербаковцы, жили в недоедающем Иркутске. Особое впечатление на мать, однако, произвели две вещи — что жене первого секретаря да Тане с детьми и, конечно, прислугой был для обратного пути предоставлен отдельный, специально оборудованный, шикарный вагон; и что новая, привезенная оттуда, с Байкала, «очень милая, воспитанная», многознающая и многоумеющая домработница Тани («не чета той прежней, деревенщине») делает ей каждую неделю педикюр (увы, я не знал, что это такое, но когда мать, понимающе вздохнув, начала было объяснять, у меня все же мгновенно возникла естественная ассоциация со словом маникюр, и я остановил ее — но ведь в самом деле, разве в Москве той поры педикюр не должен был казаться чем-то невероятным, потрясающим, извращенным, неким фантастическим эпизодом упадочного салонного романа?).

Несколько дней спустя Таня спросила меня, читал ли я «Дон Карлоса» Шиллера. Разумеется, я счел задетой свою честь, почувствовал себя уязвленным уже одним допущением, что я могу и не быть знатоком такого классика, поэтому я в некоторой запальчивости соврал, что немецки знаю наизусть всю пьесу от начала до конца — тогда Таня просияла, а это моментально сняло все мои обиды. С этой минуты возобновилось наше ежедневное умственное общение — а для меня, недавно еще постоянного идейного спутника Р.А. в исторических и литературных странствиях, увлеченного товарища стольких интересных, почитавших меня как поэта, ребят из немецкой школы, равноправного, как мне казалось, собеседника нескольких, пусть коммунистических, немецких и венгерских писателей, теперь вдруг оказавшегося волею судьбы в мучительном духовном одиночестве, эти летние

часы у открытого окна стали поистине глотком живой влаги в пустыне.

Я с самого начала не без некоторой гордости заметил, что Таня в самом деле прониклась, сроднилась, отождествилась с внушенными ей, посеянными в ней именно мной еще год с лишним тому назад элитарными, элитаристскими идеями и убеждениями — и хотя сейчас у нее ощущалось и какое-то озорное любование внешним богатством и блеском того мира, в котором разворачивалось действие «Дон Карлоса», а затем переводных исторических романов, к которым она вскоре пристрастилась, все же в любой момент, в любой нашей беседе сказывалась ее натура, всегда спонтанно, инстинктивно ставившая превыше всего богатство духа, блеск духа, подвиг духа, маркиза Позу. При этом ее отношение ко мне становилось все более откровенно-восторженным. Все, что я рассказывал о дальних странах и минувших временах, о литературных героях и исторических личностях, о феерических карьерах и любовных интригах, она не только жадно, самозабвенно, лихорадочно впитывала самой душой, но, видно было, претворяла в некую мечту-действительность, которая попеременно затуманивала и яркой вспышкой зажигала ее взгляд, обволакивала ее всю, нас обоих, весь окружающий мир какой-то солнечностью, какой-то отрешенностью от всех мелочей дня и века. Такое состояние ее, близкое к трансу, заражало и вдохновляло меня, пробуждало нетронутые, неожиданные силы, и в живописании, толковании, обобщении, воспевании всяких романтических событий я в эти минуты бесконечно превосходил самого себя. Иногда, я чувствовал, образы моих героев неразрывно сплетались, сливались для нее с моим собственным образом, с моим духовным и физическим существом, и это вызывало во мне еще больший экстаз.

Уже начало лета выдалось в том году, насколько помню, необычайно теплым, и было только естественно, что домработница Дуня (или Дуся?) долгими послеобеденными часами гуляла с детьми во дворе. Несмотря на жару, в нашем доме ради выполнения плана топили еще в мае,



а то и в июне, и я повадился ходить по квартире не иначе как в одних плавках. А ко времени каникул — мне предстояло впервые провести их безвыездно в Москве — все кругом уже свыклись с таким языческим видом моим. Впрочем, облегченная одежда была тогда не то что в моде, а в порядке вещей, и женщины отнюдь не первой молодости, с отнюдь не идеальной кожей, охотно разгуливали по главным улицам в весьма свободных платьях, не совсем по праву получивших к тому времени название «сарфан». Таня же постоянно носила дома легкие халаты — сначала довольно простые, хлопчатобумажные или льняные, но после возвращения из Иркутска у нее оказался целый набор изысканных, многоцветных шелковых одеяний восточного стиля, своеобразно контрастировавших с ее классической фигурой и античной, по моим понятиям, головой. То, что при наших все более задушевных, все более интимных разговорах у окна Таня часто не без удовольствия распахивала кимоно свое, чтобы подставить солнцу шею и тело — перерезанное лишь двумя черными полосами, впоследствии и в русском языке получившими популярное наименование «бикини» —, меня ничуть не смущало, это воспринималось как законный, нормальный, естественный элемент сложившихся между нами взаимоотношений — взаимоотношений пятнадцатилетнего и двадцатипятилетней, но во всем равноправных, равнонастроенных, равноблизких друг другу партнеров.

Тем не менее, психологически неизбежная, природно предначертанная кульминация наступила неожиданно для меня.

Незадолго до этого я порекомендовал Тани прочитать что-нибудь из Мопассана, она взяла в библиотеке сборник его новелл и была в поистине безграничном восхищении от этого своего открытия. И вот мне показалось уместным, для вящего оживления и возвышения нашего, так сказать, мыслеобмена, привести где-то вычитанные мной слова о панэротизме в творчестве писателя — относившиеся, думаю, скорее к некоторым из романов его. При этом я облек свои откровения в такую форму и преподнес их с

таким пафосом, что Таня как-то странно застыла и сдавленным, чуть хриплым голосом спросила, понимаю ли я до конца смысл всего этого. «Неужели вы думаете, что я просто красной какой-нибудь?», обиделся я. И тут же заметил, что мое возмущение ее чем-то втайне обрадовало, она отвела глаза с удовлетворенной, казалось, улыбкой.

Прошло несколько минут беспричинного как будто молчания. Вдруг послышался скрип открываемой кем-то квартирной двери, затем смех домработницы и ребят. Таня вздрогнула. Когда к нашей двери приблизились быстрые шаги в передней и с коротким лязгом опустилась блестящая медная ручка — Дуня, конечно, собиралась, как всегда, спросить распоряжения Тани —, произошло нечто невероятное: Таня вскочила и незнакомым мне взвинченно-властным голосом обрушила на ничего не подозревавшую девушку поток явно бессмысленных, явно несправедливых упреков в разных смертных грехах, как то лень («спать захотелось, наверно?»), эгоизм («о том, что детям нужен свежий воздух, ты не думаешь!»), бестактность («приходит и, не постучав даже, врывается в комнату!»), непочтительность («стоит как идол и молчит, нет бы извиниться!»), а в заключение с неподражаемо повелительным жестом выговорила:

— Чтобы не смела больше самовольничать! Придешь, когда позову!

Эта невообразимая, невысказанная для Тани сцена каким-то многозначным и вместе с тем многозначительным своим подтекстом и подтоном произвела на меня действие странное, парадоксальное: то ли откровенно садистским своим оттенком, то ли просвечивавшими намерениями Тани дикость эта вызвала во мне внезапно сильнейшее половое возбуждение. И Тане это сразу бросилось в глаза. Меня словно током пронзило паническое чувство стыда. Тем более ошеломила меня ее реакция. Я успел еще увидеть ее быстрое, ласково-горячее движение, а затем со мной произошла какая-то психическая катастрофа, и сознание вернулось только тогда, когда мы в истоме лежали рядом и она целовала меня в плечо и шею.

Продолжение нашей совместности — продолжение многодневное — оказалось совершенно непохожим на это первое совокупление. Столь же непохожим оно было и на все будущие любовные связи мои за полвека жизни, да и на все, что я когда-либо видел, слышал, читал о сексуальных сношениях и эмоциях.

Почти каждый день почти в один и тот же час я тихонько открывал дверь, и Таня, теперь полностью обнаженная, лежала на кровати под легким желтоватым покрывалом. Я приближался к ней спокойно, даже торжественно, не как к той равной и близкой мне душе, не как к ждущему, дышащему, волнуемому живому существу, не как к горячему, горящему объекту и субъекту природных, животных желаний, а скорее как к некоему алтарю, на котором мне предстояло, точно древний обряд, совершить прекрасное, безгрешное, душевозвышающее священнодействие, некое очищающее и причащающее жертвоприношение. Если я не совершал никаких воспламеняющих, распалющих актов, то не только и не столько из-за незнания и непонимания, из-за неразвитости инстинктов, из-за туманности и приблизительности начитанных представлений об этой стороне жизни, сколько потому, что именно такое непорочное по духу, религиозное по духу прикосновение к высшей тайне бытия доставляло мне подлинное и полное, облагораживающее удовлетворение. Лишь позже я как-то задался вопросом, почему же Таня, которой привычная кровать никак не могла представляться подобием храма, а я неким божеством, не пошевелила и пальцем, чтобы придать нашим соединениям совсем другой характер — неужели она испытывала чувства, сходные с моими? Неужели она в таких холодно-праздничных соитиях находила какой-то выход своим страстям, потребностям, вожделениям, неужели они и ей доставляли своеобразное какое-то наслаждение? Много лет спустя случайная ассоциация в совершенно иной обстановке заставила меня вернуться мыслями к тому лету, к тому неповторимому моему роману (точнее было бы назвать это, пожалуй, городской идиллией!) — и тогда-то меня осенила догадка,

которая, безусловно, кажется крайне неправдоподобной, даже сумасшедшей, но если вдуматься, одна только и в состоянии объяснить все непостижимые как будто, в чем-то выглядящие чуть ли не абсурдными особенности и странности тогдашнего поведения Тани. А догадка эта гласит: Таня хотела иметь от меня ребенка!

Предположение это не кажется таким уже диким, если учесть, как остро и ясно она ощущала и сознавала нашу глубинную близость и неодолимую разделенность, с каким трепетным благоговением воспринимала все мои мысли, мнения, рассказы и рассуждения, как жадно и восторженно впитывала не только слова мои, но именно меня самого как личность, как носителя некоего дополняющего ее начала. Так как она, к тому же, явно переоценивала мои духовные качества, считая меня чем-то вроде гения, то она могла и с точки зрения, так сказать, еврики склониться к такой фантазии...

Когда я утвердился в этой, пусть чрезвычайно рискованной, мысли, проливавшей такой неожиданный свет на психологические тонкости и мотивы давнего эпизода моей жизни, я сказал себе лишь одно, сказал с досадой и печалью: как жаль, как же жаль...

С приближением осени эти отношения прервались по причинам самым прозаическим: началась школа, и начались дожди.

После того, что между нами произошло, не могла вновь водвориться прежняя незамутненная атмосфера наших встреч, даже случайных. Те долгие оживленные беседы также быстро сходили на нет — и в силу сложившихся теперь обстоятельств, и из-за неизбежного ощущения неловкости —, а вскоре прекратились и совсем.

Квартира снова стала для меня пустой, даже менее привлекательной, по контрасту, чем раньше, и я старался, когда это только бывало возможно, ехать после уроков сразу в переулок Стопани...

В середине учебного года в классе появился новичок. Володя Дымков, приехавший из Воронежа, оказавшийся единственным среди нас очкариком, поразил меня уже первой произнесенной им фразой: она была литературно правильной. Когда же он на какой-то вопрос учителя ответил длинным, логично построенным, стилистически щеголеватым предложением, я решил: вот с кем подружусь.

Это решение, однако, удалось осуществить лишь частично. Не то, чтобы мы не сошлись характерами. У нас просто не совпадали склонности и увлечения. Он мало интересовался историей, поэзией, шахматами или изобразительным искусством — зато биологией, химией, да вообще относился к школьным премудростям не так пренебрежительно, как я. Он намеревался стать врачом, как его отец. Но имелась вместе с тем и материя, о которой он со мной очень охотно говорил и которая меня занимала чрезвычайно.

Володя происходил из земской интеллигенции. Последние из могикан этого сословия или, точнее, типа людей, после всех ужасов революции, гражданской смуты, сталинизма все еще, по неисповедимой воле судьбы, остававшиеся на насиженных местах, с удивительным терпением и самопожертвованием сеявшие разумное, доброе, вечное — в тех пределах, в каких это еще было мыслимо —, представляли для меня одним уже своим существованием жгучую загадку. Я, разумеется, знал: как учителя, они вынуждены были приспособлять свой материал, будь это законы физики или грамматические правила, к требованиям идеологии; как адвокаты, они обязаны были адаптировать моральные нормы в соответствии с парадоксальным, агрессивно-противоестественным «классовым» законодательством; как статистикам, им надлежало исправлять свои данные и подсчеты согласно установкам и пожеланиям партийных органов; как врачам, им приходилось строго следовать в диагностике и лечении официальной политике здравоохранения — и все же я всегда преклон-

ялся перед служением этих безвестных людей, непонятно как вынесших все злоклучения эпохи и составлявших становой хребет своеобразного векового космоса, называемого русской провинцией. Володя отнюдь не был неким сознательным носителем земских традиций и региональной идеи, наподобие тому, как Р.А. являлся, пусть в крайне ограниченном кругу, сознательным выразителем и проповедником идеи петербургской. И тем не менее, бесчисленные толковые его сравнения московского и провинциального образа жизни и стиля мышления, случайные замечания о быте, интересах и стремлениях, характерных для родной ему среды, какие-то произвольно возникшие у него исторические реминисценции и ассоциации открывали передо мной неведомый мир — картину целей и ценностей, во многом отличавшуюся от той, что нарисовал за полтора года до этого симпатизирующий этому миру, но чужой ему человек, дядя Бела в Свердловске. Из штрихов, набросанных моим сверстником, все понятия, взгляды, инстинкты которого непосредственно, органически коренились в этой стихии, я впервые почерпнул — и то пока неясное, неопределенное, скорее интуитивное — представление о той закономерной, изначальной напряженности, которая неизбежно должна была существовать между столицей и покоренными ею областями — и которая так страшно обострилась, пусть подспудно, в сталинское время.

Так дружба с Володей Дымковым, хотя несколько поверхностная и не столь душевная, сделалась немаловажным фактором в идейном моем становлении. Но она имела еще довольно причудливое побочное последствие, сказавшееся прямо-таки анекдотичным образом спустя пять лет.

Володя сразу же обратил внимание на Аню Кадышевич. И неудивительно. Это была девушка, выделявшаяся и гармоничными, спокойными чертами восточного по типу лица, и высокой, красивой копной черных волос, и живыми, часто насмешливо вспыхивавшими, карими глазами. Она была и постоянной старостой класса, и неформальным

лидером среди подруг — как когда-то, в пятом классе, Валя Патковская. И если я относился к ней вполне безразлично, то прежде всего потому, что за прошедшие «после Вали» годы сильно изменился весь склад моего ума, и «общественная жилка», ничуть не мешавшая мне тогда в Вале, теперь претила в Ане, приравнивала ее в моих глазах к толпе одноклассниц. Правда, и она вроде бы не проявляла ни малейших признаков интереса ко мне — а ведь я в то время как-никак привык к равнодушным, безотчетно зовущим, робко-игривым взглядам девушек.

Тем не менее, когда Аня как-то пригласила Володю к себе домой и он попросил меня составить ему компанию, чтобы не явиться «перед очи ее родителей один, будто кандидат в женихи», мне стало чуть-чуть не по себе, ибо я опасался, что против воли окажусь для него, неказистого, соперником, да неравным. Все эти сомнения, как выявились сразу же, были, между тем, просто беспредметными — ни на секунду не появлялись никакие родители, Аня была и дома окружена подружками, и я в непридуманной этой обстановке отнюдь не сделался внезапно средоточием ее внимания.

И все-таки посещение это стало исходной точкой странной истории с более чем любопытным, к тому же, эпизодом.

Среди подружек, сидевших в тот день у Ани, была Маша Гриневская, которая еще летом, после обязательных семи классов, оставила школу и теперь обучалась, кажется, какому-то ремеслу или рукоделию. Она, увидев меня, страшно покраснела и сказала каким-то мечтательным и все же решительным тоном, что ждала меня и вот ее желание исполнилось. Я вначале не придавал этому значения, но она неотрывно, настойчиво, лучисто-фанатичными глазами смотрела мне в лицо, и это вызывало у меня все большее раздражение — экзальтированные глаза эти висели над худеньким, безжильным мышинным личиком, в котором кроме них заметны были разве только неестественно засушенные, словно от лихорадки, чуть искривленные губы, а ниже палкообразная шея, палкообразные руки

и палкообразные ноги обрамляли доскообразное тело. Перед уходом она дрожащим от энтузиазма голосом шепнула мне, что еще в первый день, когда я пришел в школу, влюбилась в меня, а теперь влюблена ужасно, «как никогда». Когда мы спускались по лестнице, она с какой-то жалкой значительностью показала на одну из дверей:

— Вот здесь я живу.

Я было с облегчением подумал, что все складывается хорошо — проводив гостей, вместе с Аней, до улицы, она вместе с ней и вернется в дом. Но не тут-то было. Она как ни в чем не бывало шла и шла рядом, как будто так и полагалось, и с каждым шагом, мне чудилось, она все теснее притискивалась ко мне. А как только мы попрощались с Володей, жившим почти рядом с трамвайной остановкой, и на полупустой улице остались одни, она и вовсе изо всех сил прижалась к моему боку, и от ее острых костей даже слегка больно было. Я остороженько отстранился. Но как нарочно, трамвая долго не было, и она успела и прикинуть щекой к моей руке, и предложить мне поцеловать ее, для чего смешно вытянула неаппетитно-бессочные губы, и громко, с сияющими глазами объявить, что будет предана мне всю жизнь. Чтобы как-то остудить ее, я вдруг сказал, что мне в общем-то нравится Аня — жалко, мол, что в нее влюблен мой лучший товарищ, Володя, а то бы я...

Но тут Маша со страстностью, ошеломившей меня, стала убеждать меня, что Аня и мизинца моего не стоит, недостойна того, чтобы я хоть косою взгляд на нее потратил, и в заключение прошипела:

— Шлюха несчастная!

Такая злоба, такое предательство по отношению к подруге, которую при соответствующей буйной фантазии можно было вообразить кем угодно, даже доносчицей, но уж никак не «шлюхой», возмутило меня донельзя, наполнило чувством гадливости к этой обделенной природой девушке. Если я все-таки не нагрубил ей, то, увы, не из гуманности, не потому, что до моего сознания наконец дошло, насколько она несчастна, а лишь потому, что показался трамвай.



Но я ошибался, считая, что этим неприятным эпизодом вся гротескная история и кончится. На следующий день, когда прозвенел последний звонок, я увидел Машу у выхода из школы. Я специально задержался как можно дольше, полагая, что она, разочарованная, рано или поздно уйдет восвояси. Однако, она терпеливо переждала бог знает сколько сотен учащихся всех возрастов и классов, валивших мимо нее гурьбой или пробегавших одиночками, а потом еще простояла перед опустевшей дорожкой добрых пятнадцать, если не двадцать минут, пока мне не надоело и я, притворяясь, что не замечаю ничего, бодрым шагом вышел. Она тут же пристроилась ко мне, и пока мы направлялись к остановке, она в нарастающем экстазе уверяла меня, что равного мне человека в природе нет и для нее было бы высшим счастьем пожертвовать собой ради меня. Как я ни был тщеславен в те годы, от вдохновенных ее дифирамбов я все же ни на секунду и ни в малейшей, ничтожнейшей мере не почувствовал себя польщенным. Такие же «случайные» встречи, такие же прогулки до трамвая повторялись теперь в течение нескольких недель чуть ли не каждый день, и это не могло пройти мимо внимания кое-кого из одноклассников, и насмешки их вызывали у меня тем большую досаду, что были ведь небеспочвенны, небеспредметны с моей же точки зрения. Но кульминации своей эта трагикомедия достигла ближе к лету — Маша была уже в одном платье, что еще больше подчеркивало ее худобу —, когда ее ежедневное появление у школы уже успело стать неким привычным и потому маловолнующим, не слишком раздражающим ритуалом. К несказанному моему изумлению я однажды натолкнулся на нее во дворе своего дома — очевидно, она последовала за мной в заднем вагоне трамвая, выждала полчаса, пока я отложил все школьное, собрал посуду и отправился за обедом на фабрику-кухню, и тут, будто так и надо, предстала передо мной! А ведь она не могла знать, что я сравнительно скоро выйду снова на улицу — на что же она надеялась? Мысль о том, что она разузнала бы номер квартиры и, чем черт не шутит, постучалась бы к нам, привела меня в бешенство,

и я сказал ей что-то оскорбительное. Я тотчас же пожалел об этом, увидев выражение ее лица, несчастное, страдальческое, ее дергающиеся от незаслуженной обиды губы. Но исправить положение я уже не мог — она убежала, по вздрагивающим плечам было видно, что она плакала, и тем не менее она неслась стремительно, догонять ее я не стал.

На одной из перемен уже следующего, кажется, дня Володя сказал мне, что Аня Кадышевич хочет поговорить со мной. Я был в расстроенных чувствах — не из-за Маши, отнюдь, а потому, что мать в тот вечер пришла домой с удручающим известием, что нас — теперь это, дескать, уже окончательно — выселяют из комнаты. Поэтому, ожидая, что Аня станет заступаться за Машу, корить меня за мою бесчувственность, я заранее готовился положить конец всем разговорам однозначным заявлением, что вот-вот распрощаюсь с школой, мол, и все это не имеет уже никакого значения. Аня, действительно, заговорила по тому поводу, но не тем тоном, который я ожидал. Вместо грозного, по-пионерски сурового наставления, замешенного на душевной обиде за подружку, милую, простосердечную подружку, я встретил полуупрек, полуулыбчатый-намека-что-то, сдобренный изрядной порцией иронии и снисходительности, не без оттенка злорадства, по отношению к бедной Маше. Но дело было, собственно, не в этом тоне — уже первые слова Ани убедили меня в том, что инцидент ей был описан с грубыми искажениями и чудовищными преувеличениями, что Маша в своей детской ярости решила отомстить мне клеветой, будто я плюнул в нее, обругал полячкой и чуть не ударил тяжелой кастрюлей. Я мгновенно уловил: если стану отрицать эти бредни, то в чем-то разочарую Аню, а все равно мне никто не поверит. Поэтому я счел за благо одним ударом разрубить весь этот глупый узел, громко, на весь школьный коридор возвестив, что завтра же или в крайнем случае послезавтра расстаюсь навсегда с ними со всеми, покидаю школу, даже экзаменов за восьмой класс сдавать не буду — а подумав, что вдруг Маша все равно начнет искать меня, добавил, что наверно уже на днях уезжаю в Одессу — почему мне в

голову пришел именно этот город, где никогда до того я не бывал, я так и не понял сам...

Впрочем, уход из школы легко было предвидеть. Переезд на Маросейку, где удалось снять комнатку, оказался настолько сложным делом, что ни о каких экзаменах и речи быть не могло: пертурбация в жилых условиях означала и пертурбацию во всей жизненной ситуации нашей; многие наши вещи казались матери незаменимыми, и она приложила немало труда, чтобы отдать их в разные места на хранение, в чем я должен был помочь; само устройство нового жилья поглощало неожиданно много времени и было связано с неожиданно большим нервным напряжением, а это не могло не отразиться и на мне; но главное, снимать жилье в частном порядке и тогда уже, во времена коммунального быта, являлось удовольствием дорогостоящим, так что мне пришлось подыскать работу...

Кончились мои школьные дни!

## 51.

То, что мне никак не запомнилось прощание хотя бы с Володей Дымковым, не столь удивительно — все-таки мы с ним по-человечески близко так и не сошлись. Но непостижимо и непростительно, что в памяти не осталось ничего от последних дней и недель соседства с Таней Орловой. Может быть, она в это время просто выехала с детьми куда-нибудь на дачу?

Я о Тане услышал еще раз лет десять спустя. В теплый весенний или осенний день шел я вниз по улице Шевченко в Душанбе, как вдруг проходившая мимо солидная, дородная женщина, мне совершенно незнакомая, остановилась и с улыбкой окликнула меня по детскому имени. Озадаченный, я обернулся с довольно глупым, вероятно, видом и уже хотел сказать, что она, судя по всему, обозналась, но она опередила меня:

— Татьяну Осиповну помните?

Я не сразу смог связать распространенное это имя с давно забытым отчеством, и тогда она коротко сказала:

— Орлову!

Я остолбенел. Разумеется, перед внутренним оком мгновенно возникла Таня в один из самых прекрасных моментов нашего общения, а таинственная встреча, усмехнувшись продолжила:

— Ну вот! А меня не помните?

Потребовалось какое-то время, прежде чем во мне забрезжила догадка, что вот в окраинном (тогда) районе Сталинабада передо мной стояла совершенно изменившаяся во внешности, в манерах, в психологическом состоянии, в одежде Дуня, та самая домработница, вывезенная Таней из Сибири. Насладившись моим удивлением досыта, она рассказала свою историю: Таню с детьми и нею, Дуней, эвакуировали в таджикскую столицу еще в 41-м, и лишь в апреле 1944 года (значит, за каких-нибудь четыре месяца до моего приезда!) семья отбыла назад, но вот она, Дуня, с вокзала не то сбежала, не то отпросилась, так как нашла здесь свое счастье (по ней видно было) — рассказывала она долго, подробно о своем житье-бытье, о своих детях, о своей работе (не помню точно, какой), но ни слова больше о Тане. При этом мне казалось, что она ждет: о Тане заговорю я. Я вообще-то горел желанием вернуться к этой теме, не столько, чтобы удовлетворить свое любопытство — что же было с Таней впоследствии —, сколько для того, чтобы разговором о ней возродить в себе тогдашнее настроение, тогдашние переживания, тогдашнюю интенсивность духовного диалога, которой мне теперь не хватало — но по каким-то, может быть воображаемым, признакам, или намекам на признаки, мне чудилось, что Дуня все-таки хоть что-то знала, или догадывалась, или предполагала об особых наших с Таней отношениях, а такой оборот темы меня совершенно не устраивал — поэтому я так и не решился на новые вопросы. Мы расстались с улыбками, уверенные, что в таком маленьком городке, где, казалось, все русскоязычное население ежедневно, ежевечерне встречает друг друга на главной улице, мы увидимся еще не один раз. Однако, как ни странно, мне Дуня случайно попала на глаза только еще однажды, года через два, из

окна автобуса — она выглядела теперь куда менее презентабельной, обабилась, что ли...

На Маросейке мы прожили месяцев пять-шесть, но по удивительной избирательности памяти мне сейчас не удастся представить себе ни нашей хозяйки, ни ее взрослого сына, но зато ясно вижу перед собой взлохмаченную, замызганную соседку-старуху, несколько раз останавливавшую меня в коридоре, чтобы внушить, как нам с матерью повезло — с глухой окраины мы вот так удачно перебрались в один из самых завидных, самых благоустроенных районов столицы.

А что запечатлелось навсегда, как примечательный и в чем-то загадочный психологический факт, так это необъяснимое в свете жизненного моего опыта чувство неуверенности, угрожаемости, неизбывной внутренней тревоги в «полуоткрытом» жилище: мы снимали угол, который как-никак был даже и не углом, а целой комнаткой, точнее, кельей — от большой квадратной комнаты хозяев отходил своего рода отросток с отдельным окном, почти полностью отгороженный от главного помещения высоким, тяжелым шкафом, оставленный же узкий проход был занавешен толстой портьерой. И до этого я не раз, казалось бы, ночевал в одном помещении с чужими людьми — хотя бы в пионерском лагере, в поездах и т. п. — а впоследствии жил в незапираемой квартире, спал в ночлежках, годами обитал в студенческих общежитиях с комнатами на пять, а то и пятьдесят человек, но никогда не знал этого ощущения незащищенности, этого ожидания, что вдруг поднимется портьера и войдет черт знает кто — хотя, насколько помню, ни хозяйка, ни ее сын особенно агрессивными повадками не отличались, не отличались они и чрезмерным любопытством в отношении наших жизненных тайн — ни разу, кажется, не возникло у нас подозрения, что в наше отсутствие кто-то рылся в наших вещах... Вероятно, просто время заставляло опасаться всего, мыслимого и немислимого...

Странное, на первый взгляд, дело: теперь, когда по прихоти случая я поселился в непосредственной близости от заветного переулочка Стопани — пешком едва было десять

минут! — я фактически перестал посещать Дом пионеров. Естественно, два мальчика, которым я успел проиграть в первых четырех турах очередного первенства Дома, в праведном негодовании своем распустили слух, что я, «пижон», бросил шахматы, поскольку расстроен таким плачевным стартом в турнире. Что ж, неудача моя была очевидна, и им поверили — а уход с дистанции ведь и действительно не самый благой поступок. Но дело было не так просто, поведение мое не в таком элементарнейшем смысле «неспортивно», оно было не так уж и странно. Обстоятельства оказались сильнее меня.

Я пошел работать в Библиотеку иностранной литературы, которая находилась тогда на углу Столешникова переулка и улицы Горького (Тверской), в здании старинного храма Космы и Дамиана.

Конечно, с самого утра до пяти вечера доставать с полок, то нагибаясь, то залезая на шаткую, скрипучую лестницу, и на себе тащить к окошку выдачи целые груды заказанных книг — занятие отнюдь не из самых легких, и к концу рабочего дня меня одолевало нешуточное изнеможение — до шахмат ли было. И все же не в этом заключалось главное.

В тесных проходах между густо уставленными стеллажами мне открылся двадцатый век. Двадцатый век во всей его сложности, во всей его красоте, во всей его трагичности.

Буквально неделю тому назад, сидя, во время очередной поездки в Германию, у панорамного окна Немецкого литературного архива в Марбахе, родном городке Шиллера, и разостлав перед собой широким веером книги, написанные восторженноглазыми юношами девяноста-восемьдесят лет назад в разных краях Европы, я не мог не вспомнить ту одержимость свою в конце тридцатых годов, и я понял, что никогда в жизни не был так плотно, так интимно, так эротично проникнут изначальным, подлинным духом, заложенным в нашем столетии, как тогда. Именно о тех вечерах, когда после утомительного труда я уносил в полутемный читальный зал выбранные мной за

день на разных библиотечных ярусах книги и углублялся в мир единой духовной Европы начала века, я предался теперь, на склоне лет, остро-щемящим, ностальгическим воспоминаниям, и как-то невольно, среди множества лежавших на столе немецких заметок и выписок, вылились на бумагу русские слова:

«Век наш предстал передо мной чудесным, богато одаренным, щедрым на красоту и добро юношей, который на пороге великой судьбы подвергся дикому насилию темной, гнусной черни, искалечившей, обескровившей, обезобразившей его, но в глазах которого всегда продолжала сиять память о раннем том празднике жизни и света — о празднике, который всегда, всегда, всегда должен быть с нами, о празднике, оставшемся нам в неизъяснимо-затейливых, пьяняще-прекрасных произведениях искусства и поэзии, рожденных когда-то счастливым, солнечным этим мальчиком».

Сияние юности века заслоняло все, даже самые жестокие реальности жизни в мрачной, идущей навстречу войне, сталинской Москве — за эту выпавшую мне удачу я и сегодня благодарен судьбе.

Это был мир, не знавший национальных границ, не признававший языковой ограниченности. Одна книжка навела меня на другую, знаменитый немецкий писатель отсылал к норвежскому, норвежский к австрийскому, тот к русскому, а этот к итальянскому, драматург подсказывал художника, художественный критик философа, поэт композитора... Мир этот вобрал меня в себя, я стал его жителем, стал собеседником хозяев и гостей давнего пиршества духа. Социально и физически одинокий, как никогда ни до, ни после этого, я переживал такое интенсивное человеческое общение, как никогда ни раньше, ни впоследствии. Имена, когда-то осветившие и освятившие начало сложного пути сломленного, сошедшего, ушедшего поколения, теперь освещали и освящали мои дерзкие помыслы, неясные дороги, миражи-надежды...

Но это было не только погружение в родную стихию, не только вхождение в родное по сущности поколение. С

незнакомой еще остротой мной завладела проблема, которой я жил затем всю жизнь: соотношение, взаимоосвоение, взаимоотождествление духа русского и духа общеевропейского.

Я вырос на Серебряном веке нашем, но понимал его все же как-то узко, лишь в связи с нашей екатерининской, пушкинской, чаадаевской эпохой — и опосредованно, конечно, с французским просвещением и немецкой классикой. Теперь же европейский идентитет русского духа, его глубинный космополитизм раскрылся мне в отраженных ликах — в том воплощении европейского духа, которое черпало силы, соки, сути свои в тех же первовечных началах, что и подлинный русский дух. А этими началами в самом Серебряном веке была пропитана буквально каждая молекула сотворенного здесь, у нас, духовного богатства — как и там, во внешнем, но еще едином с нами мире. Я ни тогда, ни сейчас не определял и не определяю для себя, в чем конкретно состоят эти начала — тем более банально было бы перечислять какие-либо признаки или понятия. Лишь одно первоисходное качество безусловно роднит русский домонгольский и добольшевистский дух с западным гуманистическим, идеалистическим, исконно-эстетским: великое начало европеизма, великое качество европейской всечеловечности.

Вот уже несколько десятилетий я в разных выступлениях и сочинениях отстаиваю европейскую прасущность русской культуры, естественную принадлежность ее к материнской западной цивилизации. Именно органичность еврорусского идентитета, еврорусской линии в самосознании и самотолковании народа стала основным мотивом чуть ли не всей моей эссеистики, начиная от самиздатовских манускриптов семидесятых годов и кончая последними радиодокладами по каналам германской компании Зюдвестфунк. Если я при этом с настойчивостью, кажущейся кое-кому чуть ли не маниакальной, подчеркиваю, что еврорусскость есть возвращение к истинным корням, а вовсе не подражание подражателю Петру, что она первичный, а отнюдь не вторичный феномен русской



исторической жизни, то это, разумеется, прежде всего результат глубоко сочувственного подхода к изучению самых ранних проявлений русской цивилизации, затемненных — включая Слово о полку Игореве! — в памяти потомства (об этом — статья «Рукописи горели» в книге «Неверная память»), результат восхищения беспримечным многовековым сопротивлением еврорусских цитаделей — Новгорода, Литвы, Южного пояса — московско-монгольскому натиску (об этом большинство статей в «Неверной памяти», а в особенности недавнее немецкое радиозэссе «Между Европой и Евразией»), но вместе с тем и результат некой чисто эмоциональной приверженности незабываемым минутам бурных и высоких мальчишеских мечтаний, охватывавших, воодушевлявших меня в те вечера, когда с замысловато-изящных страниц ко мне обращался голос, живой как будто голос эпохи Европейского Пробуждения.

Неизгладимым остался след в моей душе от многозначительного контраста, поражавшего меня всякий раз, как я поднимал голову и выглядывал в окно: тяжелая, бесчеловечная каменная громада Центрального партийного архива грозно напоминала о действительности, о том, что прекрасная юность века задавлена — в России, и не только в России. Но я не хотел признавать очевидной, казалось бы, правоты мрачного здания, напротив, вид этот лишь обострял мою внутреннюю уверенность, что в противостоящем этому зданию царстве духа подспудно еще течет живая жизнь, еще сохранились достаточные силы, чтобы когда-нибудь воскреснуть — не в последнюю очередь как раз в России. Неприятие законного чудовища со временем превратилось в нечто самодовлеющее, в какую-то одержимость — но инстинктивное чувство подсказывало мне, что я с мыслями своими о некоем грядущем возрождении все же не одинок, что чудовище задавило далеко не все души, что книжки мне не единственные товарищи. Два года спустя я убедился, до чего я был прав!

А инстинктивное это чувство шло, в этом я убежден, от знания, что европейская духовная интеграция начала века — закон природный, первородный, который не может

не проложить себе дорогу снова, не может не восторжествовать вопреки всему.

52.

Мои вдохновенные грезы были нарушены, хотя и не рассеяны окончательно, событием, казавшимся мне в первый момент невероятным, умопомрачительным.

Рядом с портьерой, отделявшей наш закоулок на Маросейке от большой комнаты хозяев, красовалась блестящая черная окружность, которую хозяйка называла не иначе, как «радево», и которая каждое утро в шесть разражалась хриплой, дребезжащей какофонией какого-то бодрого марша. Правда, я замечал, что в течение утра звуки сменявшихся друг друга маршевых мелодий каким-то непонятным образом становились все более чистыми и уверенными — а хозяйка со всей серьезностью уверяла, что это просто «радево» прочистило горло — отхаркнулось, что ли — после душной ночи. Она привыкла слушать все передачи подряд и самым категорическим тоном отвергала любые попытки матери выключать неугомонную эту тарелку на ночь. Чтобы спокойно выспаться, мать все чаще отправлялась вечером к Иде, которая после ареста мужа и выселения из квартиры сняла маленькую комнатку в одном из самых ветхих, запущенных, провонявших мышинным калом домиков посреди трущоб Грохольского переуллка. Я же, накрывшись одеялом до самой макушки, упорно «ловил сон», и во многих случаях это мне в какой-то момент, после мучительных усилий, удавалось. Зато уж я мог быть стопроцентно уверен, что проснусь утром во-время.

И вот из этой тарелки я однажды поутру услышал странное сообщение, что в Москву, дескать, для переговоров с советским правительством приехал министр иностранных дел Германии господин Иоахим фон Риббентроп.

Такова сила психополитического внушения, сила пропаганды, что на меня, давно уже, казалось бы, распознавшего и осмыслившего глубинное сходство, «избира-

тельное сродство» Гитлера и Сталина, новость эта все-таки произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Я весь оцепенел, а в голове воцарился хаос. Вместо того, чтобы, как обычно, после утренних известий вскочить, прошмыгнуть через хозяйкину комнату и промчаться вниз по коридору к туалету или умывальнику — смотря что свободно —, я остался недвижно лежать еще целый час, до следующего выпуска новостей, ибо в каком-то внезапном паническом страхе вообразил, что становлюсь жертвой болезненных галлюцинаций. Но знакомый дикторский голос, бесстрастно повторивший тот же непостижимый текст, убедил меня в том, что я вполне здоров.

Если сенсация эта настолько ошеломила даже меня, то как же поведут себя в массе своей рядовые сограждане, для которых столько лет было незыблемой аксиомой, что Сталин и Гитлер — абсолютные антиподы? У меня не возникало каких-то определенных предчувствий, предположений, ожиданий, беспокойств, но внутреннее напряжение, готовность бог знает к чему и вместе с тем любопытство — вот что заполнило меня, и во всяком случае я ждал одного — всеобщей озадаченности.

Хозяйка сидела за столом и пила чай:

— Слышали? Там кого-то господином обзывают. За что же его так, а?

И она покачала головой, словно упрекая «радево» в некорректности какой-то чрезмерной. Сколь я ни был взбуроражен, я сразу понял, что она имеет в виду. В советском лексиконе, признававшем единственным вежливым обращением слово «товарищ», а строго-официальным — «гражданин» или «гражданка», слову «господин» было придано некое саркастическое, уничижительное звучание, и это настолько вошло в плоть и кровь языка, нормального языкового чувства даже старшего поколения, что вполне образованными людьми стало восприниматься чуть ли не как исконное, сверхядовитое содержание этого старинного понятия, а употребление его в общезитии — как совершенно однозначное, намеренное, даже дерзкое оскорбление. Но реакция хозяйки тем не менее поразила меня:

неужели такую завязтую радиослушательницу в миропереворачивающем сегодняшнем сообщении потрясло только то, что посмели кого-то там, о ком она никогда и не слышала, «обругать» господином? А самый факт его приезда? Нет, по ее лицу было видно, что ни она, ни сын ее, уже ушедший на работу, ни соседи, с которыми она наверняка уже успела в это утро поболтать, ничему не удивились, не ужаснулись, да что там — не обронили даже слова, намекающего на неожиданность происходящего!

В летнее время я всегда пешком шел на работу, а так как мать чаще всего ночевала у Иды, то быстро привык к завтракам, не столь уж плохим, в столовой на углу Черкасского переулка, напротив Политехнического музея. В то утро я почему-то надеялся, что именно среди завсегдатаев этого заведения, давно присмотревшихся друг к другу, всегда приветливо улыбавшихся при встрече — особенно мне, юнцу —, я обнаружу, пусть в выражении лиц, в языке глаз, в жестах и ужимках, подлинную реакцию людей на взволновавшее меня событие. Разумеется, здесь вообще-то никогда не говорили о политике — с тех пор, как выдохлась кампания против «врагов народа» и кончилась испанская война, в Москве «идейные» разговоры и разглагольствования в общественных местах фактически исчезли, стали чем-то редкостным и потому особенно подозрительным, к тому же как раз в нашей столовой наряду с примелькавшимися ежеутренними посетителями вращалась масса всякого случайного народа — от не попавших в гостиницу командировочных до каких-то сомнительных бродяг —, и это, вероятно, вызывало у всех сугубую настороженность. Тем симптоматичнее было, что на этот раз за выбранным мной столиком сразу же зашел разговор о сегодняшнем сообщении. Но какой!

Это было уму непостижимо: переговоры с Риббентропом воспринимались как некий рядовой поворот в политической игре — поворот крутой и потому занятный, но все-таки входящий в воображаемый «высший», изначально начертанный стратегический план — значит, эти люди точно так же, как и я, считали, что Сталин задум-

мывал этот шахматный ход издалека, но при этом они видели его самого в совершенно другом свете, совершенно иначе оценивали его замыслы, совершенно не так понимали суть всей его игры! Отсюда не слишком серьезное, во многом легкомысленно-доверчивое отношение их к эпизоду «большой политики», который, может быть, многим из них обошелся вскоре дорого, очень дорого. Разница между наивными суждениями и шуточками этих отчасти как будто достаточно интеллигентных людей и «лингвистическим» замечанием моей простоватой хозяйки была не так уж велика — здесь тоже удивлялись слову «господин» да прибавляли столь же удивленные комментарии по поводу частицы «фон», которая казалась им не менее обидной, а также странного вроде бы имени «Иоахим», которое по мнению одного из них подходило скорее попу — я вызвал даже известную сенсацию и добродушный смех, объяснив, что диковинное это имя — немецкая форма нашего Акима.

Если бы такая поверхностная и простосердечная реакция широких кругов москвичей выглядела хоть чуточку притворной, если бы она оказалась мимолетной, сменилась бы со временем естественной озабоченностью и тревогой, я бы, разумеется, не вспоминал ее сегодня с таким недоумением. Но на протяжении ближайших месяцев я не раз убеждался в распространенности подобного самообмана, в привычности подобного беззаботного умонастроения. Как ни странно, у газетных стендов, располагавшихся в основном на бульварах, где во время чумы 1937-38 годов лишь редкие окаменевшие лица молча и сумрачно вглядывались в тупо-однообразные строки, теперь снова собирались группы заинтересованных читателей, и время от времени возникали какие-то осторожные разговоры, как в первые месяцы гражданской войны в Испании. Мне эта среда была очень хорошо знакома еще с той поры, и я теперь, как только позволяло время, снова с напряженным любопытством подходил к таким группкам. Однако, единственной сколько-нибудь значимой эволюцией в общем настрое, единственным изменением, которое действитель-

но становилось все более заметным или хотя бы подспудно ощутимым, оказалось — конечно, под влиянием таких газет, как «Правда» или «Красная звезда» — зарождение и постепенное усиление симпатий к гитлеровской Германии. Но это никоим образом не означало какого-то осмысленного поворота к фашистской идеологии, к фашистской разновидности все того же тоталитарного строя ума, как, скажем, у нынешних наследников Сталина и Гитлера. Нет, это было просто жалким проявлением психической зависимости, плачевным зрелищем, обнажившим крайнюю степень несамостоятельности мышления моих сограждан. Если «наши» газеты вдруг хвалили Гитлера, значит, он вдруг стал хорош!

До смешного простодушное высказывание одного из таких любителей пропагандистского чтива, кажется, даже еврея, запомнилось мне не столько как курьез, сколько как предельный случай этой вполне характерной завороченности. Однажды, когда я подошел к одному из стендов на Тверском бульваре и собирался протиснуться в передний ряд читающих, в мою сторону повернулся пожилой человек и с сияющими глазами сказал, обращаясь то ли ко мне лично, то ли ко всем присутствующим:

— Понял все-таки, что надо подчиниться! Знай наших!

Я спросил с искренним интересом:

— Кто понял?

— А вот читай! Что написано? Вождь германского народа Адольф Гитлер! А здесь что написано? Вождь народов, гениальный учитель всего трудящегося человечества, великий Сталин! Ну так сообрази, кто кому подчиняется!

У окружающих я не заметил и улыбок. Может быть, потому, что все чувствовали: человек не шутит, говорит с неподдельной убежденностью.

Пока среди большинства московского населения царило что-то вроде эйфории по поводу «победоносного» вторжения в Польшу и присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии, я был склонен считать, что все объяснялось одним простым и вечнодействующим фактором — всепокоряющим блеском успеха. Конечно, даже

тогда никто не воспринимал растерзание слабой и довольно маленькой страны двумя столь мощными державами, как некий славный военный подвиг, но поскольку многохвалимый «освободительный поход» как-никак явно был результатом союза с Германией, то сам этот союз ощущался как успех. Или, по газетному выражению, как «новое великое достижение мудрой сталинской политики мира».

Но вот началась «финская зима».

Естественно, и я, увидев большой газетный снимок, на котором Куусинен, один из руководителей Коминтерна, подписывал «от имени народа Финляндии» какой-то подготовленный Сталиным документ, ничуть не сомневался, что уж с этой-то мирной, не только маленькой, но и редко населенной страной кремлевский «мудрец» справится в мгновение ока. Как велико же было мое удивление, когда советские войска застряли в самом начале предполагавшегося триумфального шествия! Я был готов поверить во всемогущество Бога — образно говоря —, в высшую справедливость истории! Тем более ужасало меня типичное отношение к этому «человека с улицы».

Правда, никак нельзя сказать, что в Москве война на далеком перешейке находилась в центре общественного интереса. После первых же позорных неудач пропагандистский огонь, предназначенный собственному населению, стал заметно затухать, и ничего похожего на возбуждение испанских времен или хотя бы польской «кампании» не было и в помине (естественно, в Ленинграде дело обстояло несколько иначе, но лишь в силу географической близости к месту боев). То небольшое, однако, что мне приходилось слышать «в низах» на эту тему, производило прямо-таки впечатление горячечного бреда. Московская чернь не только не замечала, насколько посрамлено было ее великое государство, и прежде всего столь родственное ей по духу правительство — она непритворно возмущалась этим «безобразием» — сопротивлением «нам» каких-то там финнов! Отсюда парадоксальная надежда: «Германия придет нам на помощь!», и нетерпеливая досада: «Что же

это Гитлер не дает Маннергейму по шапке?» И эту надежду, эту досаду выражали люди, которые еще совсем недавно надрывали горло, требуя смерти «наймитам фашизма»!

Изрядное оживление вызвали среди почитателей Сталина и Гитлера следовавшие весной и летом 1940 года один за другим внезапные удары, как будто и на самом деле предвещавшие полный передел мира двумя диктаторами — молниеносная оккупация Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии, а затем Франции Гитлером встречалась с таким же радостным признанием, а то и трепетным энтузиазмом, как присоединение Сталиным трех балтийских республик и Молдавии. Я же по-прежнему расценивал это, насколько помню, все так же, упрощенно и односторонне — как плебейское поклонение силе и успеху, голому успеху.

Впоследствии я много думал, писал, говорил об исторических судьбах русско-немецкого психополитического притяжения-отталкивания, схожести-несовместимости (этому полностью посвящена большая статья «Кровавое родство душ», этого же я снова и снова касался и в самиздатовских сочинениях, и в немецких радиодокладах), но как раз вычуры 1940-го и непосредственно предшествовавших ему годов остались при этом почти что обойденными — а ведь тогдашние общественные рефлексy, импульсы и мотивировки не являлись каким-то случайным наваждением, наоборот, они были симптоматичны донельзя — и не только для перипетий странных этих взаимоотношений двух наций, но и для многовековой внутренней эволюции русского самосознания, для метаморфоз народной души как таковой.

Сравнение народной психики с психикой индивидуальной никак не может претендовать на новизну. Но в данном случае именно такое сравнение, такое отождествление способно объяснить многое. У каждого индивида отношение к собственной жизни основано на двух подсознательных установках — инстинкте жизни и смысле жизни, у личностей же интеллектуального склада установка на смысл жизни — и это главное их свойство — поднимается до сознательного уровня. Подобно этому и психо-



историческим поведением народов управляют два параллельных установочных, интенциональных аспекта массового подсознания — а роль сознательного уровня при этом выпадает интеллектуальной элите этноса. Инстинкт собственной этнической и национальной жизни выливается в различные эпохи и различных случаях в очень разные по внешним проявлениям, но сущностно тем не менее однородные побуждения, стремления, нацеленности и действия, начиная с первоестественной воли к самосохранению, к историческому выживанию, к сбережению своезаконной и своеритмичной особенности и обособленности, вплоть до отделения от человечества, и кончая тем, что описывалось многочисленными мыслителями-параисториками последних ста лет под всевозможными названиями — от германофильско-трейчкеанской «жажды пространства» до монголофильско-гумилевской «пассионарности» — но все эти понятия представляют собой в конечном счете лишь аналогии, или скорее даже ряд частных уточнений, несравненно более универсальной, характеризующей в первую очередь как раз сущность индивида, ницшеанской «воли к власти». Однако, подсознательная и сознательная воля к «осмысленности» этнической и национальной жизни, к поиску какого-то высшего ее, сокровенного, исторического и сверхисторического смысла, также принимает в различные эпохи и в различных случаях очень разные формы и направленности — а эта тема разработана историологической мыслью еще далеко не так многообразно, многоидейно и многоассоциативно.

Если попытаться проследить пути русского народа, как этнической, культурной, цивилизационной индивидуальности, под углом зрения эволюции его жизнеинстинктов и жизнеосмысления, придавая притом особое значение его взаимодействиям и коллизиям с германским миром, то это, думаю, может дать какой-то ключ и к разгадке парадоксальных на первый взгляд психополитических зигзагов его накануне второй мировой войны — при всей специфичности тогдашнего положения, связанной с личными свойствами и сугубо личными склонностями, при-

страстями и планами Сталина, да и с особенностями такого партнера, как Гитлер, разумеется.

Становление русских, как народа, издавна принято связывать с двумя событиями, носившими и сами по себе, и по взаимовлиянию своему весьма противоречивый характер: пришествие варягов оказалось фактором, не только содействовавшим объединению племен, но и подтолкнувшим включение их в мир, их «социализацию», приобщение их к эпохе, уже породившей зачатки европейской цивилизации; крещение Руси привело к возникновению общенародного самосознания в качестве форпоста христианства перед лицом огромного инаковерующего мира, а тем самым форпоста Европы перед лицом бесконечно разнообразного иноцивилизационного человечества, но вместе с тем стало первым шагом к будущему отчуждению от Европы, отчуждению не только церковному, но на известных этапах «внутрисемейному» — психогеографическому, цивилизационному.

Эйфория новых христиан, о которой свидетельствует буквально каждая строчка любых дошедших до нас документов первой половины XI века, предстает как некий естественный, закономерный эмоциональный плод целого ряда психологических моментов: здесь — и обретение всепроясняющей сверхидеи, новой, целостной картины мира, небывалого принципа и содержания человеческой жизни, а заодно и контуров первоначального общеэтнического идентитета. Однако, наряду с этими многоупоминаемыми дарами выступали и качественно иные, менее очевидные, менее бесспорные элементы: ощущение ничтожества человека перед Богом и всеобщего слияния в Боге, потерянности вне церкви и спасенности в церковной общности не только заложило основу будущей соборности, общинности, коллективизма, но и предопределило возможность возникновения особого человеческого типа, внутренне во многом отличного от характерного индивида того евро-славянского массива, что населял тогдашнюю среднюю Европу. И все же, если идти глубже, ведь не предчувствие отчуждения, не шаг к потенциальному отделению от Евро-

пы, а совсем наоборот, реальное воссоединение с материнской этнической семьей благодаря общей христианской вере — вот что возбудило в сердце новообращенных такое эйфорическое настроение самообретения и самоосуществления! Не могу не признать: в не столь давней своей статье «Рукописи горели» (книга «Неверная память») я приписал катастрофическую, а то и вовсе апокалиптическую ущербность духа, заметную во всей церковной литературе второй половины XI века, лишь фрустрации церковных идеологов, их бессилию перед лицом народного праидейного и психологического наследия; сейчас мне в этом видится несомненная односторонность, в какой-то мере натяжка, сегодня я вижу достаточно ясно и ряд других причин, но главная, ключевая среди них — церковная схизма 1054 года, полностью переменившая и место русских в ойкумене, и соотношение между русской и европейской исторической перспективой, и чувство единоспасенности, «соборности» христианских народов, и зародившиеся было смыслы самого этнического существования.

И вот эта настроенность, внушенная именно такой катастрофой в ранней национальной юности, стала первотолчком, обусловившим многовековые извивы, сложную и своеобразную диалектику русского мироотношения, русской мироустановки вообще — и русско-немецких взаимоотношений и взаимоустановок в частности.

Решающая веха всей русской истории — вторая четверть XIII века. Это я осознал, пусть в самом общем виде, еще в школьные годы, когда мы «проходили» Александра Невского, а учитель, помня, что среди учеников много немцев, пытался построить некую теорию, будто «герой» темы, разбивший тевтонских рыцарей на льду Чудского озера, вместе с тем очень любил простой немецкий народ — почувствовав фальшь, я стал читать «сторонний» материал, и передо мной раскрылась подлинная историческая роль прославленного князя. С тех пор я в размышлениях своих о русской истории снова и снова соотносил самые разные ее явления и события с

этой фигурой, с этим рубежом, и постепенно у меня созрела та оценка, которую я в относительно мягкой еще трактовке изложил в самиздатовском сочинении «Заговор Средневековья» (также вошедшем в книгу «Неверная память») — а если выразиться проще, я возненавидел легендарного героя всеми фибрами души за то, что он сделал с Русью, во что он превратил Русь, какое будущее он уготовил Руси. В моем уме очень рано сложилось представление, что между Александром Невским и Сталиным существует самая непосредственная связь. И может быть, я потому никогда не уважал Сергея Эйзенштейна, что он снял такую напыщенную (это я знаю, хотя, несмотря на все уговоры, в кино так и не пошел) ленту о «национальном герое».

То, что Александр внес в русскую душу, никоим образом не было инстинктом этнического самосохранения, а чем-то диаметрально противоположным — готовностью к самопредательству, к измене себе же, собственной сущности: европейский филогенез должен был уступить азиатскому онтогенезу. Стена гетто, или точнее, железный занавес, возведенный князем в психике определенной части народа, отделял русский мир только от западнохристианской части ойкумены, оставляя открытыми все «тылы». Поворот «в сторону солнца», как это семьсот лет спустя называли философы-евразийцы, ознаменовал, таким образом, как раз полное отрицание основного смысла Крещения 988 года. Инстинкт этнического самосохранения, вопреки новому, азиатофильскому смыслу, вложенному в народное бытие Александром, требовал союза — именно союза! — с отчужденными уже на религиозной почве европейцами, да не только и не столько из-за надвинувшегося монгольского ига, сколько из-за опасности утраты еврорусского идентитета в нараставшем внутрирусском конфликте. Двуйдентичность русского народного тела находила явственное выражение в политическом, военном, идеологическом противостоянии Новгорода, Пскова, Твери, русской Литвы, южнорусских и западнорусских земель, с одной стороны, и Москвы, прямой на-

следницы Невского, с другой, но в психике людей межа обозначалась далеко не так отчетливо, здесь две потенции, две структуры мышления часто совмещались, боролись друг с другом в одном мозгу. Такое смешение, такая зыбкая самоидентификация приводила к одновременному страху перед двумя несовместимыми опасностями — с запада и с востока. А форпостом Запада, форпостом «латинства» в Восточной Европе являлись прежде всего немецкие рыцари, упорно «просвещавшие» балтийские языческие племена. Так впервые выстроился в русских умах эмоционально-логический ряд: мы, православная Русь, подвергаемся двум ударам, противостояим двум угрозам — европейской и азиатской, а нашими прирожденными врагами, но и естественными союзниками, являются немцы. Это уже было то самосознание гарнизона осажденной крепости, которое так умело использовал впоследствии Сталин.

В разное время я немало уже писал о решающей вехе русской истории — о правлении Ивана, в мировой историографии неизменно называемого Великим: Третьего. Именно при нем, именно в результате его усилий, его жизненного дела впервые приняли ясные очертания те три аспекта народного умосостояния, что много веков спустя составили психологическую основу так называемого русофильства: менталитет гетто, имперское мышление, мессианское притязание. И вместе с тем, деятельность этого государя отличалась — и по содержанию, и по итогам, и по последствиям — прямо-таки ошеломляющей двойственностью. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь опубликовать те свои сочинения, где я пытался подробно охарактеризовать отношение свое к этому феномену вообще (прежде всего трактат «Город-спрут и русское сопротивление») и к его значению для русско-немецких психополитических судеб, в частности (главным образом эссе «Кровавое родство душ») — так что предполагаемому читателю этих строк они скорее всего могут оказаться недоступны. Поэтому приведу, не мудрствуя лукаво, некоторые цитаты, которые, как мне кажется, в этом контексте существенны:

«Иван III силой погасил все традиционные очаги миро-

открытости на Руси. Разгромив Новгород, он фактически захлопнул древнейшее окно в Европу. Нанеся смертельные удары Твери, Вятке, Пскову, он ликвидировал возможность возрождения в северорусской провинции исконной, европейской по своему первотипу жизни. Оттеснив далеко на запад литовские границы, он дал толчок геополитическому процессу, вскоре загнавшему Литву в объятия Польши... Но как это ни парадоксально, Иван вместе с тем пробил многочисленные бреши в глухих стенах векового гетто — того гетто, которым Москва стала в силу своего маниакального самоограждения от всех и всяких западных ветров... он завязал сложные и трудные, но достаточно оживленные сношения и с немецкими рыцарскими орденами в Прибалтике, и с венским двором Священной Римской империи германской нации, и с большим числом других католических государств... он усиленно приглашал на службу иноземцев, от солдат до лекарей, от ремесленников до зодчих... Но бешеное сопротивление ультраконсервативных сил, то сопротивление, которое полностью сломило к концу жизни даже волю и дух Ивана, опиралось на безусловное, неуклонное содействие широчайших слоев московского народа, успевших за последнее столетие глубоко проникнуться духом суеверной европофобии... они неистово отвергали все попытки приоткрыть двери их праведно-уютного, безветренного гетто, они с подозрительностью и неприязнью встречали приезд любых иностранцев, с священным ужасом проклиная сами основы тамошней, чужой жизни...».

Тем показательнее, что на такой почве постепенно возникла парадоксальная, казалось бы, ситуация, по глубинной сути своей аналогичная той же переориентации в 1939 и 1940 годах — только тогда, в Средневековье, подобный переход потребовал многих десятилетий, и дело, надо думать, здесь не только в общем ускорении с тех пор темпа исторических событий, но прежде всего в том, что подсоznательная память народа, внутренний и внешний опыт, эмоциональные и рациональные уроки его долгой уже исторической жизни повлияли на его инстинкты, пере-

бороли плоды раннего его воспитания. А ведь когда на протяжении XVI века, включая правление Грозного, неуклонно росло число переселявшихся в Россию немцев — именно немцев в нынешнем значении этого слова, а не чужеземцев вообще! —, когда из множества эпизодических случаев взаимной поддержки православия и лютеранства в их конфронтации с Римом выкристаллизовался прочный православно-протестантский союз для борьбы с католическим влиянием, так что во время Великой смуты сторонники Москвы, выступая против вторгшихся поляков, призвали на помощь не только немецких ландскнехтов, но и регулярное шведское войско, а в годы Тридцатилетней войны Россия и вовсе активно содействовала военным усилиям Швеции и протестантских князей Германии, то это было выбором, означавшим новую психополитическую, психостратегическую установку, новое видение миссии, новый смысл национального существования. Такой подрыв идеи и идеологии Третьего Рима во всех трех ее коренных ипостасях — гетто, империя, мессианская миссия — в те времена не мог не ощущаться как крутой и крайне болезненный перелом, кризис основ и внутренних законов исторической жизни.

Петр же Великий — культ которого, возрожденный Сталиным, именно на рубеже 1939-40 годов достиг своего апогея — проводил весьма неоднозначную политику, неоднозначную как раз в той сфере, где, по общепринятому критерию, он как будто совершил самый смелый прорыв. Любой ребенок знает — а в определенных психополитических играх прошлого, в том числе и в 1940 году, это всячески обыгрывалось —, как охотно он приглашал на российскую службу иностранцев, прежде всего, естественно, тех же немцев, как интенсивно впитывал технический, военно-политический, административный опыт Европы и на нем строил все свои начинания, свои реформы, свои исторические планы и расчеты. Но ведь он же нарушил и баланс, взаимодополняемость идеологических и инстинктивных элементов в отношении русского народа к немцам, вообще к протестантам. Главное при этом отнюдь не в

том, что он при поддержке некоторых католических государей вел затяжную войну с самым могущественным тогда лютеранским государством, Швецией, что он вторгся в царство немецкого этнического влияния, Прибалтику, что краеугольный камень возведенного им политического, психополитического и цивилизационного здания, сердцевина всего его наследия, Санкт-Петербург, оказался вовсе не символом православно-протестантского единения, а неким еврурусским центром *par excellence*, в котором вскоре стал преобладать французский язык, французский быт, французский дух. Нет, решающим моментом было нечто иное, несравненно более глубокое и принципиальное: Петр довел самодержавную идею, идею подчиненности всех и вся государству, а государства государю, до такой тотальности, о которой его предшественники, включая Ивана III Великого, могли только мечтать. Это вполне соответствовало одному из пластов генного фонда русского народного мышления — безусловно, самому мощному глубинно-инстинктивному пласту, но все же лишь одному! Правда, и в Европе то было время высшего расцвета абсолютизма. Но динамика структур и уровней народной жизни и государственной власти здесь и там отличалась в корне. Петр завершил работу многовекового ряда великих князей и царей московских по устранению и удушению любых видов самоуправления, и это состояние всеобъемлющей и всепронизывающей вертикальности прочно вошло в плоть всей созданной им системы — лишь через полтора столетия с лишним лет, при Александре II, удалось вновь вдохнуть полноценную жизнь в горизонтальную политическую и общественную деятельность на Руси. В Европе же, и не в последнюю очередь именно в Германии, феодальная, муниципальная, коммунальная сфера самостоятельного жизнеустройства и жизнеуправления почти нигде не была полностью и безостаточно подавлена, более того, как раз с начала XVIII века она постепенно стала опять набирать силу — так что, если перескочить два столетия, то именно разгром ее Гитлером явился одним из факторов, сделавших Третий рейх столь похожим на азиатскую



деспотию и столь существенно родственным сталинской империи.

Совсем недавно такой крупнейший знаток истории дипломатии и геополитики, как бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, наглядно показал в специальном докладе тождественность внешнеполитических целей, линий и методов Петра Великого и Сталина. Однако, он при этом обошел молчанием тот далеко ведущий, во многих смысловых аспектах и оттенках решающий факт, что преемственность в этой области — лишь органический компонент некой основополагающей, неизменной схемы исторических действий, центры тяжести которой — внутренняя абсолютизация (единоличной власти, государственной машины, господствующей идеологии) и внешняя экспансия (территориальная, психополитическая, эманационная). Подобное унаследование миссии являлось чем-то объективно логичным, оно ощущалось большинством народа как закономерная данность, и уже это безотчетное ощущение вполне оправдывало пропагандистские ассоциации между «великим царем» и «великим вождем» в глазах этого большинства. Что же касается специфического отношения к Германии и немцам, то здесь параллели выступали особенно наглядно: ведь и Сталин вплоть до 1936 года всякими мыслимыми способами привлекал в страну иностранных специалистов, и здесь также долгое время преобладали немцы — а когда вследствие разочарования в «революционирующем действии» мирового кризиса и ввиду неожиданной для Сталина прочности гитлеровского режима ему пришлось сменить тактику и он стал, пользуясь всеми средствами массовой информации и индоктринации, выдвигать вперед фашистского врага, то и это соответствовало всему тому, что средний гражданин знал о петровских «справедливых войнах» и украшавших их «славных викториях». Поэтому сотни раз повторявшееся прямое или подразумеваемое сопоставление, соединение образов двух «великих преобразователей» и «отцов народа», осчастлививших Россию, не вызывало у подавляющей массы того внутреннего протеста, той

недоуменной иронии, на которую оно неминуемо натолкнулось бы сегодня.

Поэтому рабское как будто следование народных мнений, суждений и настроений затейливым изгибам и выражам официальной пропаганды не столь уж было и удивительно: ведь интенсивная обработка умов антифашистскими, а тем более антигерманскими лозунгами, обличениями, инвективами длилась от силы лет пять, а всем, без исключения, поколениям, вошедшим в сознательный возраст, было памятно своеобразное германофильство первых пятнадцати послереволюционных лет, когда предшествовавшая «империалистическая война» объявлялась результатом заговора крупнейших капиталистических монополий всех стран, а от «германского пролетариата» ждали первоочередного присоединения к «мировому пожару» — в народной душе это переплеталось с воспоминаниями куда более старыми, глубокосидящими, жизнеопределяющими, а тут еще такие триумфы имперского самоосуществления, явно невозможные без поддержки, по крайней мере молчаливой, германского союзника!

Нет, все эти рациональные объяснения и интерпретации выстроились в моем уме лишь впоследствии, а тогда я удивлялся, недоумевал и презирал — но в каком-то уголке сознания, должно быть, все-таки таилось уже, если и не ясное видение, то хотя бы нечто вроде предощущения иного, более критичного, более аналитичного подхода, более «справедливого» толкования этого странного феномена — иначе я бы наверняка сильнее волновался, негодовал, ненавидел, захотел бы обличать, учить уму-разуму, а между тем, я не помню какого-либо взрыва возмущения своего, пусть затаенного, и если я не изливал согражданам душу, то не из простой осторожности только — самого побуждения, по-видимому, не было, насколько могу спустя столетия с лишним судить о тогдашнем своем умостоянии.

Поразительное исключение на моем политическом горизонте, однако, представляли собой встречи — в то лето снова довольно частые — с Р.А., ибо он придерживался

мнения, казавшегося в высшей степени экстравагантным: он был убежден в неминуемой конечной победе западных демократий над Гитлером — и это после разгрома Франции, в мгновение самой восторженной советско-нацистской дружбы! И здесь опять-таки парадокс в моем поведении: я с ним не спорил, я ему поддакивал, хотя относился к его выкладкам и пророчествам крайне скептически.

В самом деле, не мог же он предвидеть бредовых наитий Гитлера и вытекавшего из них самоубийственного решения напасть на Советский Союз. Нет, он принимал желаемое за сущее, как и все жертвы пропаганды вокруг, только поддавался он не примитивной официальной, сталинской пропаганде, а утонченной британской, которую ежевечерне подолгу впитывал в себя, развалившись в столь знакомом мне кресле перед радиоприемником, самым любимым для него в ту пору предметом во всей богато обставленной комнате.

Вдумываясь сегодня в тогдашний всеобщий самообман — в собственную невинную беззаботность, в слепой оптимизм Р.А., в народную легковерную восторженность —, я говорю себе: а может быть, если бы не 22 июня 1941, мир погиб бы по нашей вине?

### 53.

Тем временем в этом городе, среди всех этих людей с их озадачивающими, ошарашивающими метаморфозами продолжалась моя сугубо личная, совсем незаметная жизнь. И в ней происходили кое-какие немаловажные для меня перемены.

Благодаря пустяковой как будто случайности резко — притом в самом благоприятном смысле! — изменилось мое положение на работе, а это в свою очередь имело определенные последствия для всего моего будущего. Кто знает, как все сложилось бы, если бы не... А случилось вот что.

Как-то утром в библиотеке было мало читателей, и я по своему обыкновению безмятежно осматривал стеллажи,

где книжки зачастую бывали расставлены бог знает по какому принципу — вдруг найду что-нибудь необыкновенное, неизвестное мне из заветных времен Начала века. По какому-то внезапному наитию я решил подойти и к небольшому обшарпанному шкафу, где за не мытым уже долгие годы стеклом валялись «устаревшие», дефектные или безнадежно попорченные книги, подлежащие списанию, хотя их почему-то так ни разу и не «списывали» на моей памяти. Что-то толкнуло меня порываться именно в самой нижней, запыленной кучке, и тут вдруг у самой задней стенки рука натолкнулась на какой-то удивительно гладкий, упругий и все же тугий, крепкий переплет. Я достал книгу — переплет этот был явно из старой, посеревшей, но благородной кожи! Когда же я раскрыл томик, то окончательно остолбенел: с титульного листа, почти сплошь заполненного разновеликими и разноцветными, старинного шрифта французскими письменами, повеяло каким-то давним, седым веком. Я еще недостаточно знал французский, чтобы расшифровать весь словообильный и несколько сумбурный титульный текст, но некоторые места понял без труда — это была некая «удивительная история» некоего многострадального героя, рассказанная для некоего высокочтимого герцога и посвященная этому герцогу. Не без напряжения я разобрал непривычные римские цифры, которыми был обозначен год издания — и долго не верил глазам своим: 1586-й! Я не только до этого, но и в дальнейшей своей жизни ни разу больше не держал в руках такой древней книги (когда в 1948 году я разбираю привезенную в Душанбе и сваленную в каком-то глиняном сарайчике библиотеку герцога Мейнингенского —, о чем надеюсь еще рассказать —, самый старый экземпляр, мною обнаруженный, относился к 1616 году — а тут, шутка ли сказать, прошло два года после смерти Грозного, три после кончины Ивана Федорова!). Недолго думая, я побежал к заведующей фондом Александровой, пожилой, грузной, черноволосой женщине с орлиным профилем и подслеповатыми глазами, и торжественно, но с должной осторожностью положил сокровище это на

узкий, продолговатый стол, за которым она восседала. Раскрыв томик, она посмотрела на меня недоуменно-настороженным взглядом. А когда я рассказал, откуда находка, она пыталась что-то вспомнить, но у меня создалось совершенно недвусмысленное впечатление, что она, как никак заведующая фондом, вообще не знала о существовании этой книги. Ситуация получалась странная. Однако, тут она спохватилась, просияла, стала с какой-то старомодной велеречивостью хвалить меня за сообразительность и заботу о сохранности народного достояния и повела меня к директорше, знаменитой Рудомино. Та тут же припомнила, что видела этот старофранцузский роман много лет тому назад, когда он только что поступил в библиотеку из какой-то частной коллекции, но с тех пор не думала больше о нем, не до того было, и вот такой мальчик, как я, спас эту драгоценность не то от задуманного похищения, не то просто от гибели. Она на секунду задумалась, а затем решила, что я отныне буду уже не книгоношей, выполняющим рядовые заказы, а «хранителем», коему надлежит в первую очередь следить за порядком в расстановке книг, а в специальных случаях (она была искренне восхищена, узнав, что я знаю английский и переводил Пушкина на немецкий, «скажите пожалуйста!») я мог бы участвовать в подборе литературы для выставок, тематических бесед или «особенно уважаемых читателей».

Так я стал почти свободным человеком в рабочее время — естественно, я использовал нежданную, упавшую на меня с неба удачу главным образом для чтения в укромном уголке все таких же книг, но при этом мной овладела новая страсть: перевод на русский самых трудных, но восхищавших, завораживавших меня поэтов все той же эпохи, Стефана Георге и Альфреда Момберта. Явная и полная несостоятельность этих попыток стала, наверно, одной из психологических причин, заставлявших меня затем всю жизнь ограничиваться переводом стихов с русского на немецкий, а не наоборот. Но жадное поглощение книг по утрам влияло, пусть косвенно, и на вечер-

ние мои занятия. Не мог я с одинаковой страстностью читать изо дня в день столько часов подряд. А расслабленность по вечерам мучила меня, при тогдашнем моем самовосприятии и самосознании, как нечто меня недостойное, не соответствующее тому, чего я ждал от самого себе. Окружающие, и в первую очередь, конечно, мать, не могли не заметить очень скоро, что со мной происходит что-то неладное. И тогда мать стала внушать мне, что я должен окончить школу, получить аттестат, иначе мне не будет дороги в жизни. То, что правда на ее стороне, было очевидно.

И я согласился.

Вечерняя школа в Гранатном переулке, напротив нынешнего Дома архитектора, называлась, разумеется, «школой рабочей молодежи». Что-либо более комичное и нарочно нельзя было придумать. Как ни напрягаю память, не всплывает в ней лицо ни одного соученика, а тем более соученицы, которых можно было бы представить себе в роли рабочих. А в классе ведь было нас минимум тридцать, а скорее даже, пожалуй, все сорок человек. Большинство составляли молодые женщины, или точнее, дамы, биографию которых легко было угадать: они рано вышли замуж, в положенное время родили, вырастили ребенка, а то и двоих, а затем вдруг оказалось, что по новому социально-престижному мышлению, ставшему модным как раз в те годы, рядом с карьерным мужем смотрелась дипломированная жена, так что им, 25-35-тилетним, основательно позабывшим уже всю школьную премудрость, пришлось вновь превратиться в прилежных учениц, с тем, чтобы после получения аттестата насчет «зрелости» поступить в какой-нибудь заочный институт, лишь бы обзавестись еще и красивой бумажкой в стандартном холщовом переплете, удостоверяющей их принадлежность к образованному обществу. И все же я, обогащенный опытом полутора лет на Таганке, отлично понимал, что новый мой школьный класс принадлежал к «сердцу» столицы, к «законной», «корневой» Москве, что даже эти довольно-таки невежественные дамы по происхождению, воспитанию, жизненным

привычкам далеко превосходили средний уровень московского женского населения, что они, как ни кощунственно было это сравнение, в чем-то существенном, ключевом были родственны Тане Орловой. А относительно немногочисленные среди нас взрослые мужчины во многом походили на них — только не совсем, пожалуй, понятным казался тут многолетний перерыв в учебе, а вместе с тем и мотив ее нелегкого ведь возобновления. Зато с шестью семью парнями моего возраста все выглядело в порядке вещей, все получалось достаточно логично — хотя мы никогда прямо не говорили об этом, по каким-то полупрозрачным намекам было ясно, что они так же, как и я, оказались косвенными жертвами «великой очистительной грозы», чумы 1937 года.

Но одно и сегодня меня удивляет — какие преподаватели, неизвестно по какому чудесному стечению обстоятельств, преподавали в такой вечерней школе. Это были мастера, с которыми не только берлинские и таганские, но и пречистенские их коллеги-предшественники не могли сравниться! Математика Либина, например, хотя он говорил, разумеется, лишь о теоремах геометрии да алгебраических формулах, я готов назвать искуснейшим оратором, какого мне когда-либо приходилось слышать. Даже у меня, по природе лишенного того особого дара, который нужен для восприятия красоты математического мышления, он сумел на какое-то время зажечь настоящий энтузиазм, и я впервые в жизни почувствовал нечто вроде математического вдохновения — и даже получил отличную отметку на экзаменах, как ни парадоксально! Другим мастером, производившим на меня огромное впечатление каким-то по-особому вдумчивым, уравновешенным и вместе с тем ярким изложением самых, казалось бы, бесцветных и уже давно идеологически опошленных фактов, был историк, фамилию которого, к большому сожалению своему, не помню. Придерживаясь, само собой, высочайше одобренной линии в описании и объяснении событий, он вместе с тем при помощи неуловимых смысловых нюансов, интонаций и даже игры глаз, губ, лицевых мускулов созда-

вал некое засловесное мыслительное пространство, в котором угадывались иные толкования, давние и не столь давние споры и дискуссии ученых, политиков, идеологов вокруг вечно жгучих проблем русской истории. Все это будило не только общий интерес к этой истории, но и неодолимое, глубоко личностное желание вникнуть в ее сокровенные слои, в ее подлинные смыслы. Однако, для меня главным действующим лицом все-таки постоянно оставался преподаватель литературы Гайденков.

Казалось бы, мне, энтузиасту Серебряного века от молодых ногтей, трудно было внушить еще более интенсивный интерес к тогдашним поэтам, мыслителям, деятелям многоликой культурной жизни. А Гайденкову это удавалось — с одной стороны, блестящим чтением стихов, то чеканно-экспрессивным, то приподнято-увлеченным, то размеренно-задумчивым, но главное все же, умением в простой форме и вместе с тем убедительно, темпераментно раскрывать новые даже для меня исторические и биографические связи и ассоциации, головокружительные, неизведанные горизонты в самых разных направлениях. Это был, я бы сказал, педагог-эссеист. Он фактически впервые открыл мне Иннокентия Анненского и Вячеслава Иванова, потаенного Андрея Белого и раннего Владимира Маяковского. Он в какой-то мере приобщил меня и к миру Владимира Соловьева (которого я, однако, до войны так и не удосужился хотя бы немного полистать). В смелости Гайденкову также нельзя было отказать. Он говорил всегда только то, что думал — хотя, конечно, о многом наверняка умалчивал.

В то же время, смелость такого превозношения «буржуазной» и «дворянской» культуры дореволюционного Русского Возрождения не следует и преувеличивать. А к этому могут быть склонны люди более молодых поколений, на памяти которых советская власть в брежневские и даже более либеральные хрущевские времена проводила политику полного зажима и запрета всего, что связано с эмигрировавшими писателями и деятелями культуры — для советских людей просто не должны были



существовать Виктор Некрасов и Василий Аксенов, Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, Эрнст Неизвестный и Оскар Рабин; достаточно сказать, что во всех библиотеках, включая научные, из каталогов изымались любые карточки даже таких книг, где какой-либо эмигрант числился соавтором. В конце же тридцатых годов, в самое страшное сталинское лихолетье, я брал в общедоступной библиотеке на Бронной произведения — разумеется, до-революционные — Мережковского, Гиппиус, Философова, не говоря уже о Бунине и Леониде Андрееве, а во время войны в Самарканде читал, совершенно точно помню, расстрелянного Гумилева. Да что там — в Третьяковке на видных местах красовались полотна эмигрантов Репина, Коровина, Бенуа. Концерты из произведений Рахманинова или Гречанинова давались буквально каждую неделю. На кончину Шаляпина так или иначе откликнулись крупнейшие центральные газеты. Те же газеты в самом что ни на есть беспристрастном тоне обсуждали творческие и спортивные достижения таких шахматистов, как Алехин и Боголюбов, а специальные шахматные издания давали восторженные комментарии к их партиям и отдельным комбинациям. Нет, смелость Гайденкова заключалась не в том, что он рисовал красочную, детальную и, главное, полную картину духовных движений той эпохи — поражало лишь то, с каким душевным жаром он старался заразить других собственным горением, собственной убежденностью в несравнимой, неповторимой красоте и ценности этого наследия. Именно для такой страстности тогда, в годы железного господства «социалистического реализма», нужна была немалая смелость.

Уроки Гайденкова открыли мне глаза на истинные истоки, подлинный генезис того поколения мечтателей в жизни и искусстве, среди которого когда-то, в начале двадцатых, прошла молодость моих родителей: небывалое это поколение выросло не из революции, как все полагали, как они сами полагали, как по сей день полагают историки культуры, оно порождено было Серебряным веком, а революция лишь по-своему окрасила, перетолковала, при-

своила эти мечтания, она выхолостила их, оттеснив их высший, общечеловеческий смысл. Революция своими миражами соблазнила поколение и обманула его. Родители же мои были из тех, кто легче всего поддался соблазну, а затем не хотел, не решался признавать обман обманом. Для отца с его прошлым это было естественно — а мать? Она беспрекословно шла у него на поводу, даже после его ареста. Впрочем, что с них взять, если такой гигант, как Маяковский, первейший и чистейший сын Серебряного века, изменил самому себе и самого себя, превратился из революционного поэта в поэта революции, во всеуслышание, с гордостью, с вызовом объявил себя «завербованным» — завербованным не деньгами, а той самой перекрашенной, переименованной, несправедливо отчужденной и присвоенной мечтой!

Впрочем, не только духовными и душевными оказались итоги тех семи или восьми месяцев обучения в вечерней школе. Они имели последствия и непосредственно жизненные, для меня судьбоносные: если бы не эти занятия, а затем экзамены, проводившиеся почему-то уже не вечерами в уютном Гранатном переулке, а днем на шумной улице Герцена, то я в июне 1941 года не поехал бы в Ленинград...

## 54.

Так прошла зима 1939-40 годов, потом лето. И опять зима.

Весь этот отрезок жизни, оставшийся в памяти периодом напряженного внутреннего монолога — монолога, могу сказать, творческого, некоего непрерывного стихийного самопоиска и самоформирования, проходил на фоне сложных и мучительных, но во многом как раз характерных для того времени бытовых перипетий.

Не могу вспомнить, почему, но еще в конце 1939 года я оставил свое временное жилище на Маросейке и переселился, как и мать, к Иде в Грохольский переулок. Мне кажется, что материальное положение наше было не настоль-

ко тяжелым, чтобы вынудить мать на такой шаг. Очевидно, у нее возникла какая-то всеодолевающая, отметающая любые рациональные соображения, сугубо душевная потребность иметь рядом с собой и Иду, и меня. А Ида, должно быть, понимала это и пошла ей навстречу.

Если то, что Ида снимала в одном из полуразвалившихся домов грохольских трущоб, назвать конурой, то это будет грубым оскорблением всех собачников и собакохозяев мира. Каморка эта, величиной приблизительно в пять квадратных метров, была расположена в самом дальнем углу единственного, но, правда, сравнительно обширного этажа деревянного строения, пропахшего всеми мыслимыми зловониями, густо населенного мышами, кошками, клопами и людьми. Более половины каморки занимал довольно широкий диван, на котором ночью спали Ида с Рут, а иногда, если не ошибаюсь, и мать, в то время как мне всегда стелили на полу. Небольшое, благо-разумно зарешеченное окно никуда не выходило — оно упиралось в глухую кирпичную стену, находившуюся от него на расстоянии полуметра, не больше. Впрочем, открывать его так или иначе никто бы не стал, ибо даже через форточку, которую Ида изредка все же приотворяла, тянуло не только и даже не столько гнилыми запахами близкой помойки, сколько невыносимой сыростью. Зато пол дисгармонировал с прочими атрибутами этого уникального помещения: был он не земляной, как можно было ожидать, а дощатый. Впечатление от клетушки этой невольно сводилось в моем уме к напрашивающейся ассоциации: это был раз в два уменьшенный и во много раз ухудшенный вариант того самого первого нашего жилья в «стандартном городке» завода «Шарикоподшипник»...

В такой обстановке тем более бросалось в глаза, какая роскошная, экзотически привлекательная женщина все-таки Ида. Несмотря на все обрушившиеся на нее муки и несчастья, на крайнее обнищание, на бесконечные, самые разнообразные заботы, она поражала спокойным, уверенным видом знающей себе цену красавицы. В убогой комнате у нее бывали гости — сплошь мужчины, среди них и

явно влюбленные. Чаще всех приходил грузный, полупылый усач, неизменно приносивший большую красочную бутылку вина и какие-нибудь вкусные вещи, которые они вдвоем торжественно отправляли в небытие, разрезав каждый кусок аккуратно пополам. Насколько я мог судить, Ида его не слишком близко подпускала к себе, отделяясь ласковыми взглядами, многозначительными улыбками и неоднозначными шутками. Как-то получалось так, что при его посещениях всегда присутствовал, по меньшей мере на соседней кухне, кто-нибудь третий — или Рут, или мать, или даже такой дотошный малый, но отнюдь тогда не домосед, как я. После его ухода она обязательно отпускала на его счет, с сожалением покачивая головой, какие-нибудь пренебрежительные, а то и едко издевательские замечания. Он же все приходил и приходил, и с каждым разом взгляд его как будто не очень умных глаз становился все более глубоким и отчаянным.

Но появлялись и посетители совсем другого рода — бывшие друзья ее и Михаила Гелибтера, вернувшиеся с испанской войны и попавшие к ужасу своему в страну, казавшуюся им полностью переродившейся. Они нередко, переходя на шепот, изливали свою горечь, не останавливаясь перед проклятиями в адрес «руководства» — хотя самого «вождя народов» все же не решались ни в чем обвинять. Это была не трусость, или не только трусость — это была слепота, точнее, суеверное нежелание видеть истинную подоплеку событий, суеверный страх перед правдой. Надежда на непричастность Сталина к чуме 1937 года и на то, что они сами ошибаются в оценке его пакта с Гитлером — это была соломинка, за которую они хватались, чтобы спасти смысл своей собственной жизни. Однако, при всей специфичности этих разговоров, при всей погруженности этих людей в свою и общую беду — некоторые из них, это было очевидно, не избежали электризирующего влияния красоты своей собеседницы. Двое же, еврей-военный — приходивший, конечно, всегда в штатском — и немецкий коммунист по фамилии Кеппен, не скрывали своей страсти — не были в состоянии и не

хотели скрывать ее, но вели себя скромно, отлично владели собой. Иде это несомненно льстило, и она, пусть сдержанно, без эмоциональных всплесков, выказывала каждому из них ответную симпатию — но не более того. При мне, во всяком случае, она в любой момент с большим тактом держала расстояние, и не только в физическом смысле слова. Вместе с тем, когда во второй половине 1945 года, месяцев через пять-шесть после окончания войны, я получил последнюю весточку от нее уже из Германии, у меня после долгих и недоуменных раздумий возникла догадка, что она, наверно, вышла замуж за Кеппена. Другого объяснения у меня и сейчас нет. Кто знает...

А тогда у нее был роман с другим человеком, которого я так ни разу и не увидел, но о котором она любила рассказывать, даже при Рут, чуть ли не часами. Это был некий видный адвокат, не то овдовевший, не то разведенный, живший с двенадцатилетней дочкой в «чудесной (вы бы видели!) комнате», в большой, но тихой коммунальной квартире. Естественно, об интимных сторонах их отношений она не говорила в моем присутствии, зато, глядя на меня в упор, заливалась буквально гимнами в честь его учености и его бесподобного знания поэзии, любви к поэзии, увлечения поэзией не только, «представляешь себе», русской :

— Целый шкаф поэтических переводов, можешь себе представить!

Подлинную зависть мою вызывали ее описания чинных вечеринок, на которых он читал гостям наизусть целые поэмы Лермонтова или Алексея Толстого — как ни странно, я-то обладал, даже в детстве, очень скверной памятью на стихи, а затем мучился этим и стыдился этого всю жизнь. Но известное уважение к новому заочному знакомому мне внушило не столько это похвальное его свойство, сколько выдержка, проявленная им, когда в ресторане какой-то пьяный подошел к их столику и зычным голосом выкрикнул на весь зал:

— Вот они, англо-французские холуи, враги народа, Сталина чествят, сволочи! — , а он спокойно встал, поднес

пьянице рюмку водки и обратился к присутствующим с настоящей адвокатской речью, в которой ставил всем в пример «истинный, бдительный советский патриотизм товарища, который даже в такой привольной обстановке постоянно думает о высших интересах государства», а в заключение объяснил, что они «с женой» говорили, дескать, не об отце народов, а всего лишь о «платье с талией», так что бдительный товарищ самым естественным и простительным образом ослышался, что, однако, не снижает ценности самой его бдительности — речь эта вызвала понимающие, сочувственные улыбки в зале и до слез тронула самого патриота, который аж неуклюже обнял своего неожиданного славопевца за плечо. Тем не менее Ида и ее друг весь вечер с тайной тревогой ждали, что эпизод этот повлечет за собой страшные, необозримые неприятности. Но к их удивлению никто, даже после их выхода из ресторана, не подходил к ним, не останавливал их — каким-то чудом все обошлось.

В такой домашней атмосфере у меня начался отчаянный флирт с Рут. Возникновение его объяснялось более чем просто: когда я поздно вечером приходил домой после целого дня общения с книгами, воспевавшими плотскую любовь, после уроков, на которых холеные молодые женщины тайно перешептывались и хихикали, передавали друг другу записки и опять хихикали, обменивались взглядами и тонко улыбались, после прохождения по улицам, где в темных углах с разной страстностью по-разному обнимались, да езды в метро, где чинные пары одинаково многозначительно прижимались друг к другу, мой взгляд в первое же мгновение падал на шестнадцатилетнюю девочку в ночном халате, оставлявшем открытыми и шею, и нежное пространство над грудями, и ноги значительно выше колен — а для нее я вообще был единственным индивидом мужского пола, с кем она соприкасалась более или менее непринужденно. Наши игры принимали все более шаловливый, а со временем и откровенно «пастушеский» характер, но никогда не переходили в однозначно эротические забавы, не говоря уже о более серьезных сбли-

жениях. В первую очередь такая воздержанность, разумеется, была связана с внешней ситуацией — всегда вертелись вокруг, или вот-вот могли появиться, взрослые; но вместе с тем я, видно, уже страдал той заторможенностью, которая тяготела надо мной затем всю жизнь: я мог сойтись с женщиной только в том случае, к счастью, не столь редком впоследствии, когда она сама явно и активно к этому стремилась — а Рут казалась в то время еще слишком невинным для этого существом! Тем не менее, Ида и мать, судя по всему, смотрели на наши развлечения с возрастающей опаской, и это стало причиной небольшой смены декораций в нашем с матерью быту — по решению «семейного совета» мать воспользовалась случайно выдавшейся возможностью снять комнатку на противоположной стороне того же Грохольского переулка, и осенью мы переехали, хотя и на очень небольшое расстояние, от наших «хозяек».

С тайной мыслью как-то продолжить, пусть в иной форме, наш щекотливый, но стимулировавший и утешавший меня флирт, я в первый же вечер после переезда пригласил Рут в кафе, недалеко от места моей работы, прямо напротив Художественного театра. Мы выбрали очень милый столик на двоих в уютном, затемненном дальнем углу, и я настроился на веселый, с игривыми намеками разговор в духе наших доньнешних отношений. Но беседа вскоре приняла довольно своеобразное, довольно неожиданное направление. С самого начала в глазах ее появилось какое-то непривычно задумчивое, чуть мечтательное выражение, а по мере того, как вино подогревало ее воображение и развязывало ей язык, она стала все более подробно и четко излагать мне свою жизненную стратегию, выработанную, как я тут же заподозрил, не без весомого влияния Иды. А стратегия эта повергла меня в немалое изумление. Заключалась она в нескольких предельно простых, но как будто довольно точно рассчитанных шахматных ходах: как нечто бесповоротно решенное, она в основу всех своих планов клала скорое, или хотя бы и не совсем скорое, замужество Иды («Папу наверно убили, говорит мама, растерзали, расстреляли, кто может знать...»); адвокату же она, Рут,

очень понравилась, он несколько раз об этом говорил, ведь свою собственную дочь он как раз не слишком... да и в самом деле она какая-то не такая, некрасивая, замухрышка... а она, Рут, будет ему настоящей, любимой дочерью... да он это и прямо обещал маме... прямо сказал, что принимает все мамины условия, никогда ни за что не будет вмешиваться в отношения мачехи и падчерицы... конечно, мама добрая, маленькую девочку бить ни в коем случае не станет, но зато уж она, Рут, сумеет взять ее как следует в ежовые рукавицы, потачки давать не будет... а потом отчим выдаст ее, Рут, за какого-нибудь стоящего человека — сынка крупного адвоката, что ли, или кого-нибудь в этом роде... и тогда («Что ты на этот счет думаешь? Только говори честно, смотри мне в глаза!») она обязательно станет моей любовницей, все равно, буду я к тому времени женат или нет. Больше даже, чем это эффектное увенчание комбинации, меня ошеломила сухая логика, пронизывавшая весь этот стройный, по-шахматному «позиционный» план, и я сказал совершенно не к месту:

— Ты прямо настоящий Нимцович!

Она, конечно, не поняла, о чем я, но винные пары избавили ее от потребности понять, и она продолжала вопросительно пялиться мне в лицо. Тогда я, без подобающего энтузиазма, сказал:

— Посмотрим!

Такой равнодушный ответ не мог не разочаровать ее, и она как-то слегка поскучнела.

Лишь придя домой, я попытался вникнуть в корень и смысл этой странно-хитрой исповеди, и теперь-то мне окончательно ясно стало, что все расчеты, замыслы и фантазии Рут берут свое начало в надеждах и намерениях Иды, что они, будь то целееосознанно или невзначай, внушены Идой, и в них отражается тот типичный, глубоко советский менталитет, который пропитал всю психику Иды вопреки острой критичности ее ума и яростной неприимиримости ее души. Особенно же примечательным — именно в этом смысле, а отнюдь не с моральной точки зрения! — мне показалось то, что чуткая в таких делах



Ида, по-видимому, считала нужным успокаивать и обнадеживать расстроенную, по-детски, дочь свою заманчивой перспективой, что я все же когда-нибудь да сделаюсь ее любовником!

Но хотя эта деталь, как ни вертись, льстила моему тщеславию, вся строгая последовательность и логическая выстроенность жизненного проекта Рут произвела на меня, помимо моей воли или сознательной позиции, действие охлаждающее, в чем-то отчуждающее. И в самом деле, мы с этого дня стали несравненно реже видеться, хотя ведь жили неподалеку друг от друга, а в моем новом обиталище могли бы часами оставаться одни.

Когда несколько месяцев спустя, уже где-то весной 1941 года Ида и Рут, после долгого перерыва, пришли к нам в гости, теперь на Малую Грузинскую, я был приятно поражен повзрослевшей, женственной, пикантной внешностью моей бывшей подружки, но никаких волн взаимного притяжения, никаких следов прежнего тайного влечения друг к другу не ощущал. За столом сидели давно и близко знакомые, приятные друг другу, много пережившие вместе люди, у них были какие-то общие интересы, они обсуждали какие-то насущные вопросы, давали друг другу какие-то умные советы — но вот и все.

А когда я 24 октября 1943 года (помню: на вокзале радиоголос Левитана возвестил об освобождении Днепропетровска и Днепродзержинска) приехал в далекий Ленинабад именно к Иде — о чем, надеюсь, еще удастся рассказать подробно —, у меня и в мыслях не было возобновлять какие-либо рискованные отношения с Рут. Правда, это оказалось бы и объективно совершенно нереальным по ползновением, но ведь в момент прибытия я не мог знать, как сложатся обстоятельства.

На протяжении девяти месяцев моего пребывания в этом экзотическом городе никто из нас ни разу и намеком не напомнил о былом...

Сегодня, когда я пишу эти строки, одним из самых читаемых и почитаемых авторов сенсационных исторических книг является Виктор Суворов, самым же популярным его сочинением — «Ледокол», в котором он предпринял попытку доказать обоснованность страхов Гитлера перед возможной агрессией Сталина, страхов, ставших будто бы не только предлогом, но и основной причиной нападения на Советский Союз. По этому поводу сейчас даже не столько в средствах массовой информации, преимущественно поглощенных злобой дня, сколько в обществе, в дружеских интеллигентских кружках, в самых различных ученых и не очень ученых аудиториях происходят бурные дискуссии, но стороны, как правило, остаются при своем мнении.

Хочу сразу подчеркнуть: в душанбинские свои годы я, страстно увлеченный историей второй мировой войны и предшествовавших ей событий, прочитал огромное количество работ по этой теме, в том числе буквально все мемуары немецких генералов и государственных деятелей, имевшиеся в Москве в Библиотеке иностранной литературы (в ту пору библиотека эта перекочевала уже на улицу Разина, на тихое тогда место рядом с Красной площадью и Кремлем, где сейчас находится гостиница «Россия», и при всех своих наездах в Москву я проводил там львиную долю времени). Поэтому могу без малейшего хвастовства сказать, что задолго до новейших полемик и вызванного ими специфического, ажиотажного интереса я уже был действительно основательно, детально осведомлен о всех принципиальных моментах и многих частностях, связанных с тем поистине безумным решением германского диктатора.

Главные выводы, к которым я пришел еще на основании тогдашнего интенсивного чтения, достаточно просты и потому ныне, естественно, составляют костяк аргументации многих, если не большинства критиков и оппонентов Виктора Суворова: общеизвестное, многоцитируемое

письмо Гитлера Муссолини доказывает, что он какое-то время вполне трезво оценивал и позицию, стратегию, непосредственные планы Сталина, и ситуацию внутри советской системы, и соответственно геополитические тенденции и данности — но себя самого он видел в совершенно фантастическом свете, своей миссией он считал установление «нового порядка» в Европе, стремясь превратить именно «европейское пространство» в «жизненное пространство немецкого народа» — отсюда все остальное (решающий этот фактор я неоднократно выделял и акцентировал в печатных, лекционных и радиовыступлениях последних лет в Германии, и там также неизменно с этим соглашались); вследствие такой умонаправленности только естественен, адекватен был замысел его — повернуть изначальные завоевательные вожеления кремлевского единомышленника, сообщника по переделу мира, к югу, на «мягкое подбрюшье» Азии, как сказал бы Черчилль; неудивительно в этой связи, что присоединение Сталиным Прибалтики, с одной стороны, вроде бы получило его официальное одобрение (он даже пошел на то, чтобы «убрать» оттуда немецкое национальное меньшинство), но с другой, породил в нем определенные опасения, сомнения и задние мысли; чрезвычайно неудачный, во всех отношениях, визит Молотова в Берлин, перечеркивавший заветную для Гитлера схему раздела мира, стал толчком к составлению «плана Барбаросса»; неуступчивость Гитлера в отношении частей вермахта в Румынии и других регионах все-таки заставила советское руководство спешно начать сосредоточение войск на западной границе, но именно здесь-то и вступил в свои права главный парадокс — согласно догматической, идеологией внушенной военной доктрине Красная Армия могла вести только наступательную, только «освободительную» войну, и эта установка предопределила весь план и метод развертывания войск, их состав и их построение (тут В. Суворов прав); разумеется, такой характер концентрации советских сил послужил Гитлеру лишь своего рода «историческим оправданием» («Россия — меч Британии на континенте»),

да может быть, подсознательным самооправданием — как показывают однозначно и наиболее ярко дневники Геббельса, главным побудительным моментом было то, что Гитлер совершенно ошибочно оценивал возможности Сталина, в первую очередь, психологическое состояние и психополитические потенции Советского Союза, а вместе с тем, и соотношение сил во всем мире — он считал Россию очень легкой добычей. Таковы факты, объясняющие, на мой взгляд, сходную аберрацию зрения у столь различных людей, как Гитлер и Виктор Суворов.

Чтобы подкрепить свою позицию, я хочу присовокупить здесь ко всем сведениям и соображениям, почерпнутым из книг, свои наблюдения и ощущения 1941 года, которые — по крайней мере меня лично — убеждают в том, что Сталин на самом деле по-прежнему стремился быть верным союзником Гитлера и просто не был в состоянии представить себе, что партнер его, такой, казалось бы, искусный политик, не понимает очевидной выгоды этого альянса, обещающего покорение всего человечества.

Наблюдения и ощущения мои всегда отталкивались при этом от одной непреложной мысли: руководитель страны, подготавливающий выступление — тем более, военное — против другой страны, должен хоть в какой-то мере психологически подготавливать к этому и свой народ, он должен в какой-то мере настраивать его на подобное выступление, иначе ему, какие военные силы бы ни находились в его распоряжении, немислимо рассчитывать на успех.

И вот — этого не было. Не было поворота в пропаганде, не было изменения тона в газетных сообщениях о политической ситуации и военных действиях, главное же, не было повседневного подспудного воздействия на умы, скрытой обработки населения, способной исподволь предрасположить его к резкому изменению политического курса.

Если бы я, утверждая это, стал ссылаться на сохранившиеся «вещественные доказательства» в виде печатных изданий или хроникальных (откровенно агитационных!)

кинолент того времени, то это было бы, пожалуй, не совсем убедительно. И даже описание собственного умостояния могло бы заодно отражать, незаметно для меня самого, позднейшие наслоения пропущенных через мышление воспоминаний, искажающих чистую память. Поэтому, как самый веский довод, привожу реакции — во всем, кроме этого аспекта, сугубо разнохарактерные — знакомых мне людей, реакции, которые я в состоянии, думаю, воспроизвести совершенно объективно, вполне «со стороны», в качестве беспристрастного и памятливого свидетеля.

Не знаю, была ли это прихоть случая или некая интуитивная защита от идейного одиночества — но как раз в это время снова заметно участились встречи наши с Р. А., и было только естественно, что мы подолгу рассуждали все на ту же тему — «во что все это выльется». Р. А. теперь не только под влиянием британской радиопропаганды, но и на основании собственных, впитанных с молоком матери и казавшихся ему неуязвимыми, высокоидеалистичных понятий и постулатов доказывал мне с прямо-таки непоколебимым оптимизмом, что англо-американская коалиция, создание которой неминуемо в самом близком будущем, разобьет и Гитлера, и Сталина «как миленьких». Его экономические, моральные, метафизические и технические аргументы и анализы, как сильно мне самому ни хотелось в них верить, тем не менее всегда оставляли какой-то странный осадок — мне ли было не видеть, что мой друг при всем своем интеллекте уж очень склонен принимать желаемое за сущее. Но каким сверхоптимистом он ни был — ему, насколько помню, ни разу не приходила в голову мысль, что Гитлер и Сталин могут поссориться. Наоборот, он считал, что военное фиаско Гитлера окажется началом конца сталинского режима даже в том случае, если кремлевский «мудрец» к тому моменту не успеет вступить в войну сам — демократические государства, дескать, будут достаточно сильны, чтобы должным образом наказать также и второго главаря мирового заговора против цивилизации и человечества — да, Р. А., обычно такой

трезвый, скептический, рассудительный, переходил на самые что ни на есть патетические формулы-лозунги, когда необходимо было убедить самого себя в собственных убеждениях. Так он создавал для самого себя некий упорядоченный мир, где не должно было, в принципе, оставаться места для случайностей. Мне же представлялось, что в надвигающемся на нас будущем не могут не назреть какие-то неожиданные, закрытые пока туманом неизвестности катастрофы. Но вот двух диктаторов и я видел, во всех вариантах, непременно на одной стороне — тут я и в мыслях никогда с Р. А. не спорил.

Другую разновидность тогдашнего политического мировосприятия представляли доцент Динес и его жена (или любовница?) Голда. У Динеса на дому я учился французскому. Дело было так: когда заведующая книжным фондом Александра посвящала меня в обязанности «детектива» по части заставленных книг, она, явно пораженная моим английским и совсем убитая моим немецким (в виде утешения пришлось рассказать ей в подробностях всю свою биографию), воспрянула духом и даже как-то расцвела, когда оказалось, что я почти совсем не знаю французского. Это задело меня за живое. Я решил, что не я буду, если не сумею ошеломить ее в один прекрасный день беглой французской речью. О внезапно возникшем желании я, разумеется, не без самолюбования известил в первую очередь мать. И вот она как-то зимним вечером, едва я переступил порог, с радостью объявила мне, что через полчаса к ней придет ее знакомая Голда, которую я наверняка уже не помню (я отлично помнил ее, это была красивая черноволосая, одетая всегда в черное и серое, всегда сильно накрашенная женщина лет тридцати, которая несколько раз приходила к нам еще на Шарикоподшипниковую улицу), а она-то, Голда, сейчас живет с доцентом романистики из Института иностранных языков, который ради нее бросил семью — вот у кого я мог бы брать уроки французского, она, мать, об этом уже говорила с Голдой по телефону, и та обещала замолвить слово. Голда, действительно, пришла точно в назначенное время — увидев

меня, она с искренним как будто удивлением стала изливаться в комплиментах по поводу моей возмужалости, назвала меня красавцем из красавцев — в то время я привык к похвалам в честь своей наружности, даже к спонтанным возгласам девушек, но панегирик Голды все-таки показался мне каким-то нарочито-восторженным, преувеличенным, и у меня, пусть лишь на мгновение, невольно даже возникла ассоциация с Таней Орловой; но тут я ошибся, тут уже сыграла роль моя гордыня. Вскоре я понял, что платные уроки для Динеса — основной источник средств к существованию, так как он отдает львиную долю своего оклада семье, и что он будет только рад заполучить в моем лице еще одного ученика... Так я стал дважды в неделю подниматься по торжественно-изысканной лестнице с витыми перилами в старом буржуазном доме, на какой-то весьма высокий этаж, где Динесу с Голдой поистине чудом удалось снять огромную, очень светлую комнату с прекрасным видом на какой-то большой сквер, правда, почти совсем лишенную мебели. Разговоры же, ради которых я у них засиживался, составляли своеобразный противовес тем, слишком уверенным суждениям и предсказаниям Р. А. о положительном исходе мировой схватки — здесь, наоборот, царили самые мрачные оценки и предчувствия, Динес и под его влиянием Голда не видели никакой надежды, ни малейшего шанса для антидиктаторских сил. При этом Динес предугадывал многие феномены советской общественной жизни, многие проявления сталинского режима, которые к тому времени не только еще не обнаруживались явно, но, откровенно говоря, даже мне, как-никак относившемуся к любезной нашей власти чрезвычайно критически, казались немислимыми на фоне идеологических притязаний этой власти. Немалая часть этих точных предвидений Динеса относилась к вопросу о мирном сосуществовании советской правящей касты и советских евреев. Он не сомневался, что Сталин, угождая Гитлеру, очень скоро перейдет к прямому преследованию еврейского населения, и считал, что у нас это преследование примет еще более систематические и орга-

низованные формы (дело было до начала гитлеровского «окончательного решения»). И хотя еврейская психология изначально несовместима с психологией большевистской диктатуры, она всегда, полагал он, была настроена лишь на мирные пути, лишь на косвенное сопротивление, и поэтому евреи теперь будут так же бессильны перед лицом нежданно обрушивающихся на них бед, как это было в 1933 году в Германии. При всем том Динес по природе своей относился к редкому в России типу трагического гедониста — он словно сошел со страниц какой-то повести Анатоля Франса. И если он открыто, вызываясь жил по своему выбору, посвящал весь остаток жизни удовлетворению единого, заполнившего его в такую позднюю пору, радостно-греховного желания, отбросив любые общественные условности и запреты, то в основе этого лежало именно трагическое сознание, что все человеческие ценности, защищаемые этими условностями и запретами, все равно обречены, что плоды любого его труда, на который он мог бы еще отважиться в эти годы, так или иначе пойдут прахом. Его девиз звучал не «После нас хоть потоп», а «Ибо после нас — потоп». Но одно роднило его, тем не менее, с Р. А. — никогда ни на секунду у него не возникала тень мысли, что Гитлер и Сталин могут не до конца действовать сообща. Такая философия отчаянного жизнелюбия и неиспользования чем-то неизъяснимо привлекала меня, однако, я все же внутренне не хотел признавать неизбежности скорого и окончательного триумфа зловещего тандема миропокорителей, точно так, как не был готов согласиться с противоположными, но столь же категорическими и упрощающими тезисами Р. А.

Поэтому мне во время одной из таких бесед, после очередного урока, вдруг пришла в голову несколько вычурная, но довольно забавная мысль — я стал фантазировать насчет возможного, мол, вероятно даже длительного сохранения островков свободы в отдаленных, почему-то именно франкоязычных странах под мощной протекцией США, и чтобы до конца развеять настроение философствующей безысходности, я придумывал какие-то дикие пути и спо-



собы, как нам, конкретно нам четверым (включая, разумеется, мать) бежать при надвигающейся опасности, перебраться туда, в эти далекие, заповедные гавани спасения, в эти воображаемые новые европы. И я при этом чувствовал, что подобной игрой невольно отвечаю на восторги Голды, смутившие меня при недавней встрече — ибо прозрачной ведь была перспектива, что я переживу Динеса, и тогда оправдается та опрометчивая ассоциация с Таней Орловой... Не знаю, ощущала ли Голда какие-либо токи этого тайного подтекста. Но важно здесь другое: какие воздушные замки я ни строил, какие хилиастические картины в некоем втором земном мире ни набрасывал, ведь и я всегда исходил из того, что нашему здешнему, первому миру будет угрожать все тот же союз Сталин — Гитлер.

Другой оттенок толкования и самой ситуации, и намерений властителей выдавали не столь уж случайные, как мне казалось, недоговорки и оговорки нашего историка в вечерней школе, такого выдержанного, вдумчивого, осмотрительного, который не только ведь ненужного слова не скажет, но и необоснованной паузы в речи не сделает. Его версия, как я выстроил ее на основе оброненных им замечаний и намеков, заключалась в том, что и «мы», конечно же, обязательно будем со временем участвовать в изменении мира, раз таковы законы и необходимости истории, но вот финская кампания показала, что мы к этому еще далеко не («не совсем») готовы, и поэтому мы, с очевидного согласия германского руководства, к большому нашему счастью избавлены пока от непосредственного вмешательства в большую войну, и можно только мечтать о том, что «сия чаша» нас минует. Судя по всему, он искренне боялся ужасов войны, но имел в виду лишь войну на стороне Германии. И он надеялся, что Сталин сумеет переждать наиболее опасный период, не захочет пойти на слишком большие, губительные для страны жертвы — а там будет видно.

Особый же случай представляли собой поразительные — хотя не столь экзотические, как я сперва ожидал —

разговоры и речи новых наших хозяев и их гостей на Малой Грузинской...

Еще в самом конце 1940 или начале 1941 года, прожив всего лишь несколько месяцев на второй «грохольской» нашей квартире, мы из-за небольшого, но странного и потенциально небезопасного скандала вынуждены были снова поменять жилье: незадолго до этого и я, и одноклассник мой, сын квартировладельца-поляка (почти совсем обрусевшего — не столько по языку и культуре, сколько по манерам и поведению), были одновременно вызваны в военкомат для «медицинского осмотра» на предмет прохождения срочной службы; кавычки ставлю здесь неслучайно — врачи исполняли свои обязанности чисто формально, причем не из-за равнодушия или лени, а из оправданного, закономерного страха, что начальство может с них в буквальном смысле «голову снять», так что лишь чудо могло уберечь призывника, даже больного, от включения в ряды «славных защитников Советской Отчизны»; я же сумел содействовать именно такому чуду, всячески подчеркивая свою близорукость (очков я пока не носил, но тем эффективнее вышла мизансцена, когда при исследовании глазных кристалликов оказалось, что не лгу, все-таки не лгу), обыгрывая тревожное то обстоятельство, что я — о ужас! — бывал, да не один раз, за границей, заостряя, наконец, внимание на той графе в анкете, где указывалось, что «отец арестован, как враг народа» — так я умудрился с самым наивно-печальным выражением лица принять из рук сочувствующей секретарши книжечку с отметкой «к военной службе негоден»; сын же поляка, несмотря на недвусмысленные признаки вырождения на лице и в фигуре, был как ни в чем не бывало поставлен на учет и должен был («единственный работник в доме!») вот-вот отправиться на призывной пункт, а там, глядишь, и в казарму; разочарованный отец не мог, уж такова природа человеческая, сдержаться, он должен был выместить свою обиду на ком-нибудь, и набросился он на нас, как будто «всякие ваши поганые трюки» и «жидовские штучки», в которых он меня обвинял, не только меня лично выручили,

но и сыну его в чем-то помешали. Слава богу, что он все-таки поддался ласковым уговорам матери, сдобренным платой за три месяца вперед, и никуда пока не пошел с доносом. Но мать, конечно, сочла за благо тут же съехать с этой квартиры.

И вот тут она каким-то неизвестным мне образом узнала, что на Малой Грузинской сдается комната у «очень приличных, совершенно городских, вполне культурных» цыган. Рекомендации эти, полученные ею, видно, от какого-то обоюдного доброжелателя, оказались на удивление справедливыми.

В наши дни, когда центральная часть Москвы так и кишит крикливыми, выпрашивающими милостыню, назойливо предлагающими «погадать», ворующими в одиночку и коллективно цыганками и цыганскими ребятишками (почему-то мужчин почти не видно), большинству москвичей подобная картина кажется неизбежным, неотъемлемым свойством цыганской жизни, цыганской природы. Однако, та семья, у которой нам довелось прожить первую половину рокового 1941 года, ничем, кроме черт лица и цвета кожи, не походила на этих вечных бродяг, своих сородичей. Они были своеобразными тепличными растениями, искусственно возвращенными в оранжерею хваленой «сталинской национальной политики» и предназначенными демонстрировать городу и миру благие плоды «исторических свершений» и «неустанной заботы», за которые собственная пропаганда так неустанно, так витиевато славилась «отца народов». Глава семьи работал на какой-то чиновничьей должности в сфере культуры, жена — мастерицей в близлежащем ателье мод, а дочка, лет 13-15, из всех самая темнокожая, ходила в обычную школу и занималась, насколько я мог судить, очень прилежно. Они были людьми исключительно вежливыми, уживчивыми, благожелательными — и эти качества не выглядели наигранными или наносными, они шли — особенно заметно это было у добряка-отца — из глубины души. К тому же тонкому слою цыганской элиты принадлежали и гости наших хозяев. Изредка собиралось большое общество, преимущественно

артисты, художники и литераторы театра «Ромэн», и тогда бывало шумно, иногда даже стоял, что называется, дым коромыслом — впрочем, странным мне казалось, может быть, по наивности, что почти никогда не пели. Однако, куда чаще приходили одиночки или пары, и я охотно участвовал в спокойных беседах за чашкой чаю, обычно затягивавшихся далеко за полночь. Помню, например, как однажды высокий, импозантный, всем своим обликом значительный старик, с красивой седеющей бородой и такой же гривой, так горячо, так впечатляюще говорил о Василии Розанове, которого я с юных лет не любил и поэтому мало читал, что я на следующий же день добыл все доступные в то время книги этого автора — правда, мнение мое о нем так и не изменилось, но интересен он мне стал. И вот, как раз при одном из таких посетителей, человеке того же элитарного круга, относительно молодом, с пылкими цыганскими глазами и очень миловидной женой-полукровкой, зашел разговор о событии, немало смутившем меня в те дни: Советский Союз с невероятной поспешностью заключил договор о дружбе с правительством Югославии, только что пришедшим к власти после неожиданного переворота, по существу антифашистского, прозападного! Бойкий молодой человек, собственно, и дал толчок к этому разговору, изложив целую концепцию о родственности южнославянских культур цыганскому душевному складу, романтическому, антимещанскому, антибуржуазному — вот почему, дескать, для народов этих стран любой прямой союз с Германией всегда был и останется чем-то противоестественным, чужеродным, и они стихийно отталкивают правительства, готовые идти на такой союз — цыгане, будь у них свое государство, наверняка реагировали бы точно так же, а Гитлеру-то что — ему во всяком случае лучше, если новая югославская власть будет смотреть не в сторону Лондона, а в сторону Москвы. Но тут наш хозяин стал возражать — у него, оказалось, уже давно сложилась собственная трактовка мировых дел, о которой он до этого ни разу при мне не говорил — да и случая не было: Сталин, мол, выжидает,

чтобы со временем, когда немцы при завоевании Англии понесут крупные потери, занять господствующее положение в альянсе и диктовать Гитлеру свои условия. Мне в тот момент, должен признать, именно такая схема замыслов Сталина показалась наиболее правдоподобной, и все же я вставил:

— Что ж, допустим, но только Германия вовсе не ослабевает ведь от такой большой победы — разве не наоборот будет?

Прежде чем хозяин успел привести какой-либо контрдовод, молодая женщина рассмеялась:

— А у нас цыганочки-то недавно гадали, кто кого переживет, наш вождь или ихний. Выходило, Гитлер проживет восемьдесят лет, но Сталин все сто — вот и будет победителем!

Все заулыбались, и тема была исчерпана...

Но хозяин еще не раз, улучив момент, когда мог остаться со мной наедине, возвращался к занимавшему его, видно, всерьез вопросу о вероятных потерях немцев при высадке на британских островах. Я слушал его задумчивые речи всегда внимательно, и постепенно, поддаваясь ему, утвердился-таки во мнении, что от этого фактора и на самом деле зависит все — или почти все...

Однако, самым убедительным, абсолютным свидетельством того невинного психополитического состояния широкой общественности, и моего в частности, которое сложилось к лету 1941 года, является все же мой неотягченный никакими предчувствиями отъезд в Ленинград...

## 56.

Еще за несколько месяцев до экзаменов в вечерней школе мы с матерью стали усиленно обсуждать, как мне дальше быть. В том, что я должен поступить в вуз еще в этом году, сомнений у нас почти не возникало — но в какой? К тому времени мать, по-видимому, зарабатывала уже сравнительно неплохо, и в моем библиотечном окладе

острой нужды не было — все равно ведь я расходовал добрую его половину на уроки французского, а остальное на всякие случайные прихоти. Поэтому зародившаяся было мысль о вечернем институте вскоре была отброшена раз и навсегда — настоящие, полноценные знания, мы полагали, можно приобрести только при настоящей, полноценной учебе в настоящем, дневном учебном заведении. Что касается общих влечений, то меня больше всего тянуло на исторический факультет университета — но это было именно некое чисто абстрактное, романтическое мечтание, ибо, с одной стороны, я отлично понимал, что преподавание там ведется, даже самыми блестящими профессорами, по принудительным, спущенным «сверху» конъюнктурно-идеологическим схемам, а с другой, тут сразу же вставал болезненный вопрос — примут ли на такой «политически важный», идеологически узловой факультет меня, сына «врага народа»? Был момент, когда мне вдруг взбрело в голову попробовать счастья на сценарном факультете Института кинематографии, и я вместе с одним из старших, солидных соучеников, которому моя идея почему-то ужасно понравилась, отправился на разведку в дальний район, только тогда открывшийся мне во всей своей красоте и шире — но в конторах самого института я очень скоро убедился, что мне там делать нечего, и не только из-за рокового пятна в анкете... А вот мой спутник, наоборот, несказанно ободрился, узнав, что прием студентов идет в основном по рекомендациям — он верил если не в себя, то в свои знакомства.

После длительных размышлений и взвешиваний мы с матерью пришли к заключению, что мне при поступлении в вуз, да следовательно и на протяжении всей дальнейшей жизни, необходимо будет скрывать этот страшный изъян своей биографии. Но рассуждать об этом в домашнем уюте было легко, а на деле с такой тактикой ведь неминуемо оказывались связаны нешуточные опасения — а там и реальные опасности с непредсказуемым конечным исходом. В один же из вечеров раннего лета — окно уже было широко открыто и мать говорила поэтому почти шепотом

том — она колеблясь, неуверенно рассказала мне, какой совет ей дал единственный из старых друзей отца, жизненному опыту и осведомленности которого она вполне доверяла: чтобы я под каким-нибудь предлогом — например, исключительный интерес к национальной культуре, или нужда в теплом климате, или материальные затруднения, поступил в какой-нибудь из южных университетов — а оттуда, это он знает точно, никаких запросов в московские «органы» посылать не станут —, с тем, чтобы через год, когда в столичных вузах произойдет неизбежный после первого курса отсев, перевестись уже сюда — в таком варианте это будет, мол, значительно легче и безопаснее. Мне совет этот показался очень уж замысловатым и вымученным, мои сомнения, видно, были написаны на лице, и мать, пожав плечами, оборвала свои и без того не слишком убежденные рассуждения на полуслове. И тем не менее, разговор этот, на первый взгляд совершенно безрезультатный, оказался для меня косвенно судьбоносным.

Ибо недели две или три спустя я натолкнулся в какой-то книге на беглое, достаточно случайное упоминание петербургской Академии Художеств, и вдруг это издавна легендарное, окруженное для меня ореолом с детских лет, звездное наименование сомкнулось в уме с советом того неизвестного мне друга родителей, и нечаянная ассоциация дала мгновенную яркую вспышку, некое вдохновенное и вдохновляющее наитие — вот куда мне идти, там есть знаменитый факультет истории искусств, вот где сходятся все мои интересы, все мои призвания, к тому же я увидел бы наконец город моей мечты, мог бы жить и учиться в нем! И там никто не узнает об отце!

Новая идея сразу же показалась наилучшим решением и матери, и она охотно взялась за подготовку, моральную и бытовую, предстоящей перемены в нашей жизни. Хотя я понимал: ей трудно, очень трудно будет расставаться со мной, на целый год как-никак — а может быть, я сумею приезжать все-таки и в зимние каникулы?

Какие разноречивые чувства и мысли нами ни владели — среди них, об этом могу свидетельствовать совершенно

определенно и однозначно, ни на миг не возникало чувство некоего потенциально трагического шага, ни разу не появлялась зловещая мысль о том, что мой отъезд может разлучить нас навсегда. Если мать с приближением назначенного дня и беспокоилась все сильнее, то лишь по поводу всяких возможных случайностей, ординарных, естественных осложнений, чисто мирных неурядиц. И у меня намек не было на какие-либо тревоги и опасения, связанные с общемировой ситуацией — причем не только в результате собственных моих соображений относительно явной, казалось бы, стратегической выгоды для обоих вождей именно той, реально сложившейся тогда констелляции — нет, решающим, пожалуй, являлось воздействие всей окружавшей меня атмосферы, всех внешних влияний и настроений в городе, в обществе, в любой доступной мне среде. Если бы хоть раз в моем сознании мелькнуло какое-либо самопредостережение, какие-либо предчувствия, я обязательно поделился бы с матерью таким необычным, настораживающим переживанием — и тогда, возможно, вся моя жизнь пошла бы другим путем.

Да ведь никто — ни Ида, ни Р. А., ни Динес с Голдой, ни преподаватель истории (которому я, точно помню, говорил об этом), ни товарищи по вечерней школе, ни квартирные хозяева —, никто не отговаривал меня от поездки... Когда же я десятилетия спустя рассказывал людям более молодым о том периоде своей жизни, выезд в Ленинград большинству представлялся некой чуть ли не безумной, сверхрисканной авантюрой! Ибо они-то читали у авторитетных писателей, будто напряжение в те дни уже достигало предела, катастрофа уже носилась в воздухе, уже явно слышались раскаты надвигающейся военной угрозы!

Подытожу свою точку зрения: Сталина нельзя не винить в упрямом игнорировании бесчисленных донесений разведки — однако, руководствовался он все же логикой, элементарной логикой разбойничьей шайки. Но если бы он, действительно, задумал наступательную войну, в то же время отказываясь хоть в какой-то мере психополитически готовить к ней и собственный народ, то это противоречило



бы уже любой логике, как общечеловеческой, так и криминальной.

57.

В прощании с родным городом есть какое-то неизъяснимое очарование, предвосхищение ностальгии — одухотворяющей, душецелительной ностальгии.

Когда я в июньские дни 1941 года бродил по Пресне, по арбатским переулкам, по бульварам от Петровки и до Пречистенки, ездил в метро по незнакомым линиям, с биением сердца подходил к памятным мне, дорогим местам — помрачневшему школьному зданию на Кропоткинской, изящному дворцу в переулке Стопани, торжественному музею на Волхонке, мощно выгнутому Крымскому мосту и заветному парку за ним, посещал напоследок, уже только читателем, второй свой дом, библиотеку — я впервые так щемяще напряженно, так до боли ясно ощутил сыновнюю любовь к Москве.

Я радовался всему и заранее грустил по всему — по Малой Грузинской с ее обильной тогда зеленью вдоль приземистых деревянных домов и высокого каменного костела, по недавно одевшимся в гранит берегам Москвы-реки, по пестрому, нестройному движению людей и транспорта на пахнущих асфальтом центральных улицах...

Я был отсюда. Это я ощущал всеми фибрами души.

Да, я стремился, очень стремился в Северную Пальмиру, я твердо знал, что жизнь моя пройдет под знаком петербургской идеи, но идея эта, отрицая идею московскую, не подавляла, не заглушала чувства генетической врожденности, чисто эмоционального, ритмического, тонального единства моего с Москвой.

Это было по самой своей сути иное расставание, чем за восемь с половиной лет до того мое легкое, наивно-оптимистичное, самоуверенное прощание с Берлином. Тогдашняя простосердечная вера в ждущие меня райские кущи, естественно, ничего общего не имела со зрелой устремлен-

ностью к «новым берегам», основанной на знании и осознании их духа, истории и наследия — теперь же я, направляясь во вторую столицу России, был одержим волей к личному будущему, посвященному именно духовной петербургизации России — но прежде всего самой моей Москвы златоглавой! В этой воле была и органическая любовь, привязанность, принадлежность к родному городу, и осмысленная вражда к тому, что он собой представлял в контексте русской и европейской цивилизации. Все это отнюдь не означало, что я всю жизнь буду бороться с самим собой — нет, при всей душевной сраченности с Москвой, я знал: я всегда буду петербуржцем до мозга костей.

К такой жизненной роли я и собирался готовиться на духовной своей родине, на Неве. А где потом стану жить, в какой из двух столиц, я и не пытался предугадать — это имело значение лишь для внешней направленности будущей деятельности моей, а не для ее смысла, ее сущности. При любых обстоятельствах, полагал я, такое самопредназначение потребует постоянного странствования между этими двумя полюсами России.

Когда мы с матерью среди столпотворения Ленинградского вокзала в последний раз обнялись, было тяжело на сердце, но ничего похожего на ту отчаянную тревогу, которая в свое время охватила меня при прощании с отцом в Перми, не было и в помине. Как же — предстояла разлука минимум на полгода, может быть, и на год. Хотя мы будем писать друг другу каждую неделю, расставаться больно — но когда-нибудь ведь я должен начать самостоятельную жизнь. Значит, настал срок...

Москву мне суждено было снова увидеть через семь лет, а окончательно вернуться — лишь через двадцать три года.

За полстолетия после окончания войны я, к позору своему, всего четыре раза бывал в Питере, и то жалкими краткосрочными наездами и проездами — от двух до десяти дней.

А вот вечером 19 июня 1941 меня среди десятков пассажиров, выходявших из нашего вагона, узнала, по опи-

санию матери, высокая, несколько неуклюжая в движениях, с открытым, благородным лицом женщина, Эмилия Анатольевна. Она радостно окликнула меня. Это была близкая знакомая матери еще по началу двадцатых годов, вышедшая затем замуж за коренного питерца. Не знаю, каким образом мать теперь восстановила связь с нею, но во всяком случае было договорено, что я буду жить в ее семье, пока не получу место в общежитии Академии. О том, что у Эмилии Анатольевны хорошие связи с некоторыми академическими авторитетами, мать намекнула мне еще в самом начале. Дома у нее меня встретили необыкновенно тепло — муж ее был вообще в восторге, когда оказалось, что я читал «Саломею» Оскара Уайлда, сын восхищенно ахнул, узнав, что у меня первая категория по шахматам, а дочь, девушка приблизительно моих лет, то и дело взглядывала на меня чуть ли не в экстазе. Мы условились, что на следующий день, в пятницу, Эмилия Анатольевна покажет мне Эрмитаж, в субботу — Русский музей, а в воскресенье мы все, впятером, поедem в Петергоф.

Воскресенье выпало на 22 июня. Петергоф, Царское Село, Павловск, Гатчину я увидел в середине семидесятых годов.

В понедельник я с раннего утра отправился в Академию. При этом я совершенно не представлял себе ни общей обстановки, которая могла там царить в такой переломный момент, ни конкретной цели моего первого появления как раз в такой день. Людей — и в здании, и во дворе — оказалось значительно меньше, чем я ожидал, но чувствовалось, что эти немногие представляют здесь какой-то солидный, мощный организм. Мое желание записаться на вступительные экзамены было встречено с некоторой долей недоумения — действительно, уместно ли было именно сейчас спрашивать взбудораженных, нервных при всем внешнем самообладании людей об условиях приема на факультет искусствоведения, когда лучшие студенты основных факультетов спешили оформить свой военный статус, да в большинстве вне стен Академии? Разумеется, мои мысли также куда сильнее были заняты надвигающи-

мися бедствиями войны, чем проблемой записи в студенты — но положение мое в чужом, почти уже прифронтовом городе объективно становилось очень шатким, чреватым всякими недоразумениями, и я должен был как-то включиться в окружающую жизнь, в заботы этого города, в его военные усилия — а для этого мне надо было пристать к какому-нибудь коллективу.

Но нет, людям было не до меня.

Лишь летом 1942 года, в далеком Самарканде, куда Академия эвакуировалась ранней весной того года, мне удалось найти ее, присоединиться к ней, стать ее студентом.

Вихри военного времени разлучили меня с матерью. Из Самарканда, затем из Ленинабада и из Сталинабада я все снова и снова посылал запросы в существовавшие тогда, сначала в Оренбургской области, затем в Москве бюро по розыску потерявшихся в войну родственников, но получал лишь неутешительные стандартные ответы. К тому времени, как я летом 1948 года по пути из Таджикистана в эстонскую столицу наконец-то вновь попал в Москву, я уже давно никаких надежд найти мать в живых не питал. Тем не менее я пытался кое-где, у знакомых и в последнем месте жительства, разузнать что-нибудь о ней, но никто ничего определенного, ничего достоверного сообщить мне не смог.

А что касается Эмилии Анатольевны ... Во время последней поездки моей в окруженном уже почти полностью Ленинграде маршрут проходил мимо ее дома. Дом был разрушен. До основания.



## *Послесловие*

Блокада, военное время, эвакуация и возвращение, послевоенные сталинские кампании, доклад Хрущева, десятилетия за десятилетиями Застоя, потом Перестройка и ее фиаско – все это описано, обобщено, проанализировано тысячами умных, беспристрастных и пристрастных людей, поэтами и романистами, историками и публицистами, да и мемуаристами, в целом и во всех деталях, с общей и с индивидуальной точки зрения. Тем не менее – не все стало известно, не все известное освещено было досконально, не все открывшиеся истины стали общедоступными, не все толкования общеизвестными.

На этом историческом фоне каждая человеческая жизнь протекала по-своему, будь то ярко или тускло, будь то в сугубо индивидуальном ритме или в ногу со временем.

О себе могу сказать, что я никогда не отрывался от действительности, но всегда занимал совершенно особую позицию по отношению к ней. Этому способствовали как те не совсем обычные условия моего становления как личности, что мной изложены в данной, первой части мемуаров, так и целый ряд особенных, иногда поразительных моментов, обстоятельств и встреч, которые описаны во второй их части.

Здесь перечислю наиболее знаменательные факты: в блокадном Ленинграде я наткнулся на нечто невероятное – настоящее, обширное собрание «самиздатовских» манускриптов тридцатых годов большого круга авторов на разнообразнейшие темы; в Самарканде, став студентом Академии художеств, я близко сошелся с Николаем Николаевичем Пуниным, подлинным интеллигентом в исконном значении слова, мыслителем высокого полета, истинным наследником Серебряного века, что привело к типичной для того времени комедии моего исключения из Академии; я перебрался в Ленинабад, куда была эвакуирована Ида, там я подружился с человеком тончайшего ума

и исключительно глубоких знаний, литературоведом Борисом Корманом, а однажды мне довелось посетить квартиру полячки Кристи, в которой были собраны совершенно фантастические богатства в мехах, бриллиантах, а главное, произведениях искусства, накопленные здесь на случай бегства ее любовником, крупным номенклатурщиком советским, впоследствии ставшим послом СССР в одной из важнейших стран Европы; переселившись в августе 1944 в Сталинабад (Душанбе) и поступив на факультет английского языка Пединститута, я на многие годы сделался постоянным спутником одной из самых замечательных и честолюбивых женщин тогдашней Средней Азии, которой, к несчастью народов этого региона мира, так и не удалось стать таджикской Индирой Ганди или Беназир Бхутто – тем не менее, та своеобразная обстановка «обратного колониализма» вспоминалась впоследствии всеми, кто с нею соприкоснулся, как некое «золотое время»; но совершенно особый случай произошел в 1949 году, когда в Душанбе прибыла в качестве военного трофея богатейшая библиотека герцога Мейнингенского и я на 15 лет сделался добровольным ее хранителем – это имело некоторые весьма забавные последствия для меня лично; в 1964 году я вернулся в Москву, стал профессиональным переводчиком, в основном стихов на немецкий язык, одновременно опубликовал две большие работы о немецком писателе Клаусе Манне, и познакомился при этом с некоторыми интересными людьми, в частности, с бывшим личным переводчиком Сталина, Павловым; но вскоре центр тяжести моей деятельности, всей моей жизни переместился на сочинение крупных и более мелких самиздатовских эссе философского, политического и главным образом исторического содержания, которые распространялись некоторыми кружками и некоторыми моими знакомыми по установившимся самиздатовским каналам – этими каналами я никогда не интересовался, но тем больше меня интересовали отклики в различных кругах общества, которые иногда оказывались многочисленными и очень бурными, а в некоторых случаях я узнавал и о сугубо пси-

хополитическом воздействии моих статей, о воздействии, которое, кто знает, могло иметь и самые прямые, в определенном смысле исторические последствия. Содержание некоторых из них, которые не были впоследствии опубликованы, а лишь хранятся в отделах рукописей крупных библиотек, в научных архивах России и Германии, я кратко излагаю и в своих мемуарах.



## **Другие книги автора в том же издательстве (с полной библиографией на немецком языке)**

**МИХАИЛ СОКОЛЬСКИЙ:** Тысячелетний раскол. Россия. История, дух, опасности. Пятнадцать воинствующих эссе. Марбург 1997, 308 стр., 34 полностраничные иллюстрации, из них 5 цветных.

Книга, написанная русским историком Михаилом Сокольским на немецком языке, представляет собой важный шаг как в исследовании конкретных истоков, процессов и поворотов тысячелетней истории России, так и в толковании общего смысла русской истории, как составной части истории человечества, в особенности же Европы. При этом особенный упор делается на извечной борьбе двух самопониманий, двух идентитетов русской народной души - еврурусского и евразийского.

Эта книга - самое острое из существующих возражений против традиционного изложения событий русской истории как в старой па негирической, так и в «государственной» школе прошлого века, как в сталинской, советско-империалистической, так и в «национал-патриотической» (в духе Льва Гумилёва) историографии - против традиционного изложения, исказившего и отравившего историческую память подавляющего большинства самого же русского народа. Отсюда - совершенно новые интерпретации и да леко идущие переоценки решающих событий и главнейших деятелей российского прошлого.

Наряду с углублением некоторых «сенсационных» толкований, проводившихся автором уже в прежних, русскоязычных сочинениях (например, Александр Невский, литовско-русское государство, Пётр III, пожар 1812 года), здесь при помощи убедительных доказательств даются совершенно новые оценки сущности и последствий таких событий, как Куликовская битва, Великая Смута, реформы Петра I, большевистская революция и др. Это книга, которую должен детально знать каждый историк.

\* \* \*

**МИХАИЛ СОКОЛЬСКИЙ:** Тайный дух. («Я пишу самиздат»). Марбург 1999, 160 стр.

(На немецком языке; с большим циклом русских стихотворений). Автор небольшой этой книжки, внесший в свое время существенный вклад в самиздатовскую литературу по проблемам русской истории, философии, политологии и политической лексики, выступивший на немецком языке с исследованием многовековой истории российского Самиздата, описывает здесь жизнь «тайного духа» 70-х годов, как активный ее участник, и дает углубленную оценку возможностей Самиздата в будущем развитии России.



